ВЛАДИМИР РЕКШАН
Ленинградское
ВРЕМЯ
ДИСКОГРАФИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В своей новой книге «Ленинградское время, или Исчезающий город» легендарный рокер Владимир Рекшан вновь возвращается во времена своей молодости – в 60–90-е годы: во времена рок-клуба и Дома писателей, «Сайгона» и квартирников. В его памяти вновь оживают Довлатов, Цой, Ринго Старр, Тропилло, многие другие легендарные персонажи той эпохи. И… город, которого уже нет.

- Владимир Рекшан
  -
  - Брата нашли в капусте
  - Моритури те салютант!
  - Между битлами и Пьером де Кубертеном
  - Виниловый рай у Инженерного замка
  - Ленинградский общепит
  - Город, река и пыточный зал
  - Ленинградские драки
  - Кафе «Сайгон»
  - Хиппари
  - Бутылка Довлатова
  - «Красные бригады» по-ленинградски
  - Книжники
  - Метание малого полена и ленинградские каратисты
  - Тулупы для поляков и Карлос Сантана на Дворцовой
  - Черный Ленин с зеленой головой
  - Сделать литературную карьеру
  - Обезьяна меру знает
  - Ринго Старр на улице Маяковского
  - Брежнев еще жив
  - Ленинградский рок-клуб
  - Дом писателей графа Шереметева
  - Андрей Тропилло-Торопила
  - Делать карьеру в Москве!
  - Дело Кинчева и административный арест
  - Большие советские деньги, «Скорпионы» и Юрий Шевчук
  - «Сарай» и город Бари
  - «Кайф»
  - Про Космического Прыгуна, про ленинградские рестораны
  - Маленькая Земля

○ Эпилог. Исчезающий город

Владимир Рекшан
Ленинградское время, или Исчезающий город

© ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2015

Брата нашли в капусте

Родился я еще при Сталине… Не так много и осталось в памяти. Мог бы и не дожить до эпохи Интернета. Если б умер, объевшись ватрушкой…

Тогда еще жили традиционными семьями, как сейчас на Кавказе. Все знали, кто кому и кем является, и постоянно ездили друг к другу в гости. Наш клан Рекшанов – Бельцовых – Кильвейнов регулярно собирался у деда Северина и бабки Ирины, бабы Иры, на Большом проспекте Петроградской стороны. Они жили в коммунальной квартире на углу с улицей Олега Кошевого. Дед Кильвейн, потомок голландского мастера, приглашенного еще царем Петром, был веселый. Его ранило в 1916 году немецкой шрапнелью, а летом 41-го пробило еще и двумя гитлеровскими осколками. Но Северин выжил – оставалось только радоваться! С бабой Ирой они постоянно украшали комнату, исходя из скудных возможностей пятидесятых годов прошлого столетия: покупали рулоны обоев, переклеивали стены и радовались обновлению. Еще баба Ира мастерски готовила пироги. Этими пирогами порой была заставлена вся комната. Родня съезжалась пробовать. Тогда мне отрезали здоровенный кусок ватрушки. Вкус фантастический! Я ел и ел эту ватрушку. Я затем почувствовал, что начинаю умирать от того, что таинственно называлось заворотом кишок…

Но и я выжил, и теперь вспоминаю, как брата нашли в капусте. Сейчас об этом смешно вспоминать, но мне именно так говорили. Я представлял себе овощной магазин и продавца в клеенчатом фартуке. Тот вынимает розового пищащего уродца из шелушащейся кучи и говорит родителям:

– Ваш мальчик? Вы его потеряли, а я нашел.

Так мне тогда казалось. А в том же году Хрущеву казалось, что XX съезд партии все решит. Много воды и вождей утекло.

Первые одиннадцать лет своей жизни я прожил на улице Салтыкова-Щедрина, которую многие продолжали называть Кирочной. Когда-то здесь построили лютеранскую кирху. Затем в ней работал кинотеатр «Спартак». По выходным родители давали мне десять копеек, и с кем-нибудь из приятелей я отправлялся на детский утренник смотреть кино. С двух сторон к кирхе примыкали здания бывших гимназий, ныне советских школ. В одной из них, в 203-й, я проучился четыре года. Недавно узнал, что в этой школе за десять лет до меня учился и поэт Бродский.

Но до школы еще предстояла вырасти. Мы жили в большой продолговатой комнате: родители, бабушка Альбина-Изабелла

Кришьявна, в юности латышская революционерка, я и появившийся из капусты брат Саша.

Вот еще сцена. Я в комнате один. Рисую. Я любил возиться с цветными карандашами. Пароходам в Советской энциклопедии я пририсовывал оранжевый дым, а Сталина, помню, украсил синей бородой.

Еще прекрасно помню, как первый раз влюбился… Лет пять или шесть мне было, не больше. Я ходил в детский сад на набережной Кутузова. В доме этом когда-то жил Пушкин, а теперь там загс. То есть детей стало меньше, но зато женятся и разводятся чаще… Мы ходили гулять в Летний сад, собирали желуди. Навсегда впечатался в память солнечный осенний день, красно-золотые листья дубов и кленов. Первая любовь моя оказалась неразделенной. Поэтому я до сих пор отношусь к женщинам с подозрением.

Климатическая деталь. Зимы стояли морозные. По замерзшей Неве народ прямиком ходил, срезая путь. Вот отец доводит меня до поворота с Литейного проспекта на Кутузовскую набережную. Я топаю в детский сад самостоятельно, а он спускается с набережной на лед, спешит на работу.

Еще сюжет. В раннем детсадовском возрасте я первый раз отбился от рук. Латышская бабушка взяла меня с собой, и мы пошли на улицу Пестеля, где в большом дворе продавали молоко. Бабушка встала в очередь, а я вернулся на улицу и двинулся к Литейному проспекту. Кажется, весна была или начало осени, но не лето. По безоблачному небу катилось солнце. Было радостно. Радостно я увидел на перекрестке милиционера в сверкающих сапогах и направился к нему, не боясь машин. Да и машины-то почти не ездили, изредка проезжали грузовички. Милиционер размахивал полосатой палочкой, регулируя движение. Следующий фрагмент стерся в памяти. Я вижу себя идущим мимо церкви. Только годы спустя я узнал, что это Спасо-Преображенский собор. Милиционер держит меня за руку, несколько испуганно переспрашивает адрес, а я гордо отвечаю: «Кирочная улица, дом двенадцать, квартира семь».

Через пару недель мы снова пошли с бабушкой за молоком. И я снова свалил. Теперь уже прохожая женщина вела меня к дому. Как-то меня наказали, но как – не помню.

До сих пор мне хочется убежать. Убежать и вернуться.

И еще существенная деталь. Центрального отопления тогда не было, в каждой комнате коммуналки имелась печь. Приходилось запасаться дровами. Дворы старых доходных домов заполняли ряды поленниц, хранились дрова и в подвалах.

«Пора идти за дровами», – говорит отец, и мы начинаем

собираться: топорик, веревка, фонарь.

Мы спускаемся на Кирочную улицу и поворачиваем во двор. После замерзшей улицы в подвале кажется тепло, пахнет сырыми опилками. Отец находит нашу поленницу и светит фонариком. Он связывает дрова и с трудом забрасывает вязанку за спину. У него радикулит, он повредил спину на флоте. В восемнадцать его призвали на флот. Тогда же и война началась. Воевал он сначала на Северном флоте, затем на Дальнем Востоке с Японией. А мама пережила блокаду, в которую ее мама, моя бабушка, умерла от голода.

Всю жизнь я ем, а от еды в памяти почти ничего не осталось. Вот, вспомнил бабушкину ватрушку. И еще вспоминаю, как отец делает бутерброды и режет их на маленькие кусочки.

«Это солдаты», – говорит он.

Почему-то солдат я ем с большим успехом…

Не помню, чтобы людей силой гнали на демонстрации по общенародным праздникам. Я с отцом ходил в колоннах неоднократно.

«Пам-па-пам! Пам-па-па!»

Впереди жарко наяривает оркестр. На мне школьная фуражка, я иду счастливый рядом с отцом и его друзьями под красным флагом. В моих руках портрет Ворошилова. Много людей вокруг – всем тепло и весело, несмотря на ноябрьский ветер. Неподалеку от Дворцового моста отец покупает мне желтый шарик. Мне очень хочется, чтобы шарик оказался водородным. Когда колонна выходит на мост, ветер налетает с утроенной силой, но люди в ответ начинают петь: «Вихри враждебные веют над нами…»

Я подпеваю, не понимая смысла. Ветер вырывает шарики у детей, и почти все шарики, хотя и не сразу, падают в черную воду. Только несколько взлетает вверх. Это водородные шарики. Смотав нитку с пальца, отпускаю свой, и он, подхваченный стихией, устремляется в небо, а после оказывается в Неве. Так и не было у меня водородного шарика, а теперь и не будет. Взрослые же за праздничным столом после демонстрации тревожно говорили про водородные бомбы.

…И еще я старательно собираю марки и жду, когда объявят коммунизм. Тогда я пойду на угол Невского и Литейного – там специализированный магазин «Филателист» – и наберу кучу китайских марок задаром. Я жду, жду, жду и перестаю ждать. Теперь марок у меня нет, потому что коммунизма так и не объявили.

* * *

Радио в нашей комнате работало постоянно. Что-то я понимал, что-то запоминал, заполняя пустоты детской памяти. Точно воссоздаю картину: я в комнате один, в динамике строгий мужской голос всякую фразу заканчивает словами: «И примкнувший к ним Шипилов!» Это для меня вовсе не анекдот. Перед глазами явственно возникает наша вытянутая комната с высоким потолком, изразцовая печь в углу, узкий шкаф, отделявший родительскую кровать от бабушкиной. Кажется, что через десятилетия слышится скрип паркета в коридоре, сырой запах борща на коммунальной кухне. Целый пейзаж, а точнее, натюрморт. Много хороших, теперь навсегда умерших вещей и «примкнувший к ним Шипилов».

Чуть позже появился у нас телевизор с маленьким экраном и большой линзой, которая этот экран увеличивала. Мой дедушка Северин Андреевич придумал приклеивать к линзе цветные прозрачные пленки – телевизор сразу становился цветным.

Меня любили кондуктора автобусов, а в трамваях относились безразлично. Когда я ехал к дедушке с бабушкой на Большой проспект, то брал с собой кляссер с марками и, сев в автобус, показывал новые приобретения кондуктору. За проезд с меня денег не брали… Сколько мне было лет в тот вечер? Лет семь. Не больше. Почему я сел на трамвай? Не знаю… Холодный зимний вечер быстро потушил свет. Скоро я стал понимать, что трамвай катит не туда. Вместо того чтобы свернуть от Финляндского вокзала на Петроградскую, он погнал в сторону Политехнического института. По тем временам этот район – глухая окраина. Я вышел на кольце и побрел вдоль рельс обратно в город, стесняясь сесть в трамвай – денег мне дали на билет в один конец. Стеснительность всю жизнь меня подводит. Шел я долго, превращаясь по пути в ледышку. И все-таки добрался. Родня билась в истерике, когда я появился в квартире на Большом проспекте. Увидев меня, биться перестала и начала смеяться и плакать. Вот сейчас поставлю точку и засмеюсь, а затем заплачу.

Дед Северин учил меня играть в шахматы. Иногда после общего застолья садились играть в лото на деньги. Ставили по копеечке. Случалось, родственники оставались на ночь. И мы укладывались на всякие матрацы: человек десять в одной комнате.

Двенадцатое апреля 1961 года. Звонкий и солнечный день. Я играл в фантики возле кинотеатра «Спартак». Что-то стремительное и яркое случилось вокруг. Народ перебегал с места на место с криками: «Гагарин! Гагарин!» Мои

представления о космосе связаны с детством, и я не верю в то, что он ледяной и безвоздушный.

По соседству с нашим домом номер двенадцать, в «четырке», имелось нечто вроде детской площадки с горкой, фонтанчиком, бомбоубежищем и песочницей. В тупичке двора располагались гаражи, возле которых зимой вырастали снежные крепости. Однажды я подрался там с Мишкой Финкельштейном, главным другом детства. Мы дрались и обзывались: «Латышская свинья!.. Жидовская морда!..»

Отец, узнав о словесном содержании потасовки, выпорол меня морским ремнем, проведя урок интернационального ленинградского воспитания, дав ответ на пресловутый «еврейский вопрос» раз и навсегда. Интересно, кстати, а Мишке родители таким же образом наваляли?..

Через много-много лет, бражничая с литераторами неподалеку, я потащил компанию в «четырку» посидеть и попить вина. Пройдя через арку, подошли к стене – там раньше стояли гаражи и наши снежные крепости. Осталась от всего лишь прогнившая скамейка. Сели на нее и стали балагурить. Вдруг я увидел во дворе на крыше двухэтажного флигеля телекамеру, обращенную прямо на нас. Под телеобъективом выпивать неуютно. Пошли через арку обратно на Кирочную. Медленно и верно камера стала поворачиваться и смотреть нам в спины… И лишь после я догадался, что за кирпичной стеной находится теперь американское консульство. На самом же доме номер двенадцать висит мемориальная доска. Оказывается, в той квартире, где я вырос, весной 1917 года Ульянов-Ленин провел собрание, разъясняя Апрельские тезисы. Ленин и консульство появились недавно. Поэтому детство мое прошло безоблачно.

С полной ответственностью заявляю: в детстве я был лунатиком. Выходил по ночам из коммунальной квартиры на лестницу, старался пробраться на крышу и погулять под луной. Родители установили дежурство и ловили меня.

В нашей квартире жил профессор истории. Он давал мне читать толстые книги. Разные монографии о вотчинном хозяйстве Киевской Руси. Родители восторгались, а мне нравились их похвалы. Видимо, книжек я «перечитал». Мама отвела меня, третьеклассника, к врачу, и тот, поцокав языком, сказал: «У мальчика умственное развитие опережает физическое».

Через год меня отдали заниматься спортом, и я стал в итоге профессиональным спортсменом. Несколько лет даже был молодой звездой мирового класса. Ходить по ночам перестал. И

теперь не хожу. Видимо, физическое развитие сравнялось с умственным. Или даже опередило его.

Иногда мне жалко, что я не лунатик.

Иногда, проходя по Кирочной улице, мне хочется свернуть в какой-либо из дворов и окунуться в детство. Но дворы теперь закрыты – приходится жить сегодняшним днем.

Идет, однако, второе десятилетия нового тысячелетия. Информационное общество кипит в социальных сетях. Пишет вдруг ВКонтакте незнакомый мужчина: «Привет, помнишь, ты учился в четвертом классе, а я в третьем. Встречаешь кого из наших?»

Нет, никого я не встречаю. Для меня ведь это – исчезающий город.

Моритури те салютант!

После полета Гагарина жизнь стала стремительно изменяться.

Стесненность тогдашних жилищных условий мной не ощущалась: другого быта я просто не знал. И тут бабушке дали комнату – она переехала на окраину в район Сосновского парка. Где-то через месяц после ее переезда отец вернулся с работы и, когда мы сели ужинать, сказал маме:

– Мне квартиру предложили. Но, пожалуй, стоит отказаться. Все у нас теперь хорошо.

– Как это? Какую квартиру?

Мама стала отца допрашивать и выяснила, что ему предлагают двухкомнатную квартиру в новом районе. Теперь такие дома презрительно называют «хрущебами». А в начале 60-х это был настоящий бытовой прорыв в жизни Ленинграда. В городе началась серьезная «движуха»: десятки тысяч семей выезжали из коммуналок исторического центра в новые районы.

Когда зашла речь о возможном переезде, я стал сопротивляться: во дворе, мол, друзья, в школе друзья…

В один из майских дней мы с отцом поехали смотреть квартиру. Пришлось добираться на край города, к кинотеатру «Гигант» на Кондратьевском проспекте. Огромный кинотеатр построили перед войной. А сразу после нее на площади перед «Гигантом» вешали пленных фашистских генералов. За кинотеатром начинался район хрущевских пятиэтажек, между ними занимали пространство глубокие лужи. На условно пока обозначенной улице Замшина отец нашел нужный дом, и мы поднялись на третий этаж. Отворили дверь, и я просто обалдел, а может, и остолбенел. Из прихожей стеклянная дверь в большую комнату. За ней находилась вторая комната. Имелась кухня, ванна, балкон… Такие квартиры-«распашонки» нынче не котируются. Тогда же мне, одиннадцатилетнему, квартира показалась огромной! Великолепной! У нас с братом будет своя комната! Я сдался и сказал, что хочу здесь жить.

Район только начали застраивать. В сотне метров от нашего дома располагалось совхозное поле, и где-то неподалеку стоял настоящий цыганский табор. Шатров и кибиток я не видел, но несколько раз наблюдал, как цыгане скакали на лошадях, охраняя засеянное поле от вторжения горожан…

Летом мы переехали, и осенью 1961 года я пошел учиться в пятый класс 126-й школы.

Соседями по дому были сослуживцы отца. Первое время, еще

не отвыкнув от коммунальной жизни, все ходили друг к другу в гости и не только советами помогали обустраиваться на новом месте.

Чтобы приучить сыновей любить природу и животных, сначала родители завели на балконе кроликов. Но кролики успеха не имели. Тогда отец взял меня на Калининский рынок, он и теперь торгует возле «Гиганта». Мы купили аквариум. После я постоянно ходил на рынок, возвращался домой с баночкой, в которой плавали купленные на рынке декоративные рыбки. Гуппи, гурами, меченосцы – это я помню и спустя полвека.

Современному человеку, наверное, сложно представить, что в тогдашнем Ленинграде никаких зоомагазинов со специальными кормами, клетками, аквариумами для домашних животных не существовало. Своей киске купить «вискас» было негде. Калининский рынок являлся единственным местом, где можно было чем-то разжиться. Там даже продавали попугайчиков…

Спустя год мне удалось скопить денег на специальный нагреватель. Дабы рыбки не замерзли, я включил его и отправился в школу… Когда вернулся, увидел картину, полную живодерского кошмара! Нагреватель оказался обычным кипятильником. Вода практически вся превратилась в пар, большая часть рыбок сварилась, а некоторым удалось выпрыгнуть из кипятка, и их окоченевшие тельца лежали на полу…

Я долго плакал. Родители меня успокаивали. Через некоторое время мама привела домой собаку породы боксер. Тогда я утешился. Боксера звали Эрик, был он хотя и благородных кровей, но настоящим другом.

В школе мне запомнилась директриса, строгая сталинистка. Она организовала географический кружок, в который записывала школьников силой. Заседали юные географы у нее в кабинете и очень директрису боялись.

Потом наступил день, когда жизнь моя снова круто изменилась.

К нам на урок физкультуры пришли мужчина и женщина, Семен Максович и Мария Ивановна. Они посмотрели, как бегают школьники, и отобрали некоторых в легкоатлетическую секцию. В том числе и меня. Весь класс записался в разные спортивные секции: кто в бокс, кто в шахматы. Занятия в секциях были нормой для советского школьника. В первый год я занимался два раза в неделю, постепенно вникая в новый мир спортивной романтики. Мы с товарищами доставали брошюры про великих спортсменов, про Олимпийские игры. Родители, поняв серьезность подросткового увлечения, выписали журнал «Легкая атлетика»: в нем соединялись научные статьи и популярные

заметки, парадные фотографии и распечатки киносъемок какого-нибудь выдающегося прыжка или броска… Каждый раз при встрече Семен Максович сжимал своими сильными пальцами мое предплечье и проговаривал несколько латинских фраз. «Моритури те салютант! – говорил он. – Тренируешься? Стараешься? Мы сделаем из тебя настоящего гладиатора!» Семен Максович любил вкраплять в свою речь латинские фразы. И вот что интересно: позднее я поступил на исторический факультет Ленинградского университета и сдавал там курс латинского языка. Но если я помню сейчас что-то по-латыни, так это в первую очередь то, что повторял тогда Семен Максович.

Я уже знал, что принадлежу к ученикам Школы Алексеева, но про самого Алексеева имел представление смутное. И спустя десятилетия помню, как увидел его первый раз. Во время тренировки на Зимнем стадионе Мария Ивановна указала мне на проходившего мужчину: «Обрати внимание. Это и есть Виктор Ильич Алексеев». Первая реакция – разочарование. Вот этот коренастый мужчина с большой головой, залысинами и есть тренер, чьим именем названа знаменитая спортивная школа? Чемпионы мне представлялись античными персонажами, похожими на Геракла с копьем или Давида с пращей. Да я и видел уже на стадионах больших и физически, казалось, совершенных спортсменов, на которых хотел бы походить… Разочарование, однако, длилось недолго. Оказавшись рядом с нами, Алексеев поприветствовал Марию Ивановну. Улыбался он искренне, глаза излучали силу и интерес к жизни. Энергичной и какой-то целенаправленной походкой тренер пошел дальше. Почему-то сразу захотелось проявить себя и, хотя бы в будущем, обратить на себя внимание тренера.

Собственно говоря, занимаясь в легкоатлетической школьной секции, я еще не был полноценным учеником Школы. В начале следующей осени на стадионе «Медик» на Петроградской стороне после детских соревнований Мария Ивановна подвела меня к Алексееву.

– Вот он, – сказала она.

Рядом с тренером стоял большой парень, косая сажень в плечах. Мне стало стыдно за свою худобу.

Алексеев улыбнулся, и я невольно улыбнулся в ответ. Мария Ивановна сказала:

– Не такой уж он робкий. Всех в группе обставил в прыжках.

Алексеев продолжал улыбаться.

– Ну-ка, пробегись.

Я пробежал по виражу стадиона изо всех сил.

– Очень стараешься, – произнес Виктор Ильич. – Надо

свободнее. Видишь камушек? Ну-ка, возьми.

Я поднял камушек, улыбаясь.

– Чего улыбаешься? – Вопрос прозвучал серьезно. – Брось-ка его. Разбегись и брось через футбольное поле. Только ни в кого не попади!

Я разбежался и бросил.

– Резкий парень, – сказал тренер Марии Ивановне, когда камень перелетел поле поперек и застучал по крыше гаражей.

– И рост есть. И скорость! – повторила Мария Ивановна.

– Как учишься? – спросил Алексеев.

– Учусь. – Я опять застеснялся.

– Увлекаешься чем-нибудь? Смелее, не стесняйся.

Алексеев опять улыбался.

– Книжками по истории. Читаю их.

– Теперь у нас будет свой историк! Принеси любимую книжку посмотреть. Да и тренировочный костюм не забудь.

Помню, как, трепеща, шел до «Гиганта», за ним срезал путь, пройдя насквозь территорию ТЭЦ, на улицу Чугунную. Тут и находилось вытянутое кирпичное здание, в котором располагался спортивный зал Государственного оптико-механического завода, Гомза, а также редакция заводской многотиражки «Знамя прогресса». Коридор, раздевалка, сам зал пропитались специфическим запахом трудового пота.

Здесь в промышленной зоне ковалась слава советского спорта. Ученики Алексеева установили несколько десятков мировых рекордов в разных видах легкой атлетики, а с Олимпийских игр постоянно привозили медали.

К тринадцати годам мое увлечение спортом стало носить тотальный характер. Бесконечное количество раз был просмотрен полнометражный документальный фильм про Игры 1960 года в Риме, шедший широким экраном по стране. Фильм сняли западные немцы. Они объективно показали и своего Армина Хари, чемпиона в спринте, говорившего за кадром, что он самый быстрый человек на свете; и наших Шавлакадзе с Брумелем; и великого марафонца из Эфиопии Абебе Бекилу, победно пробежавшего марафон босиком по раскаленному асфальту…

Отец купил мне пудовую гирю и эспандер. Я начал упражняться с ними в свободное от тренировок время. Появился у меня и резиновый бинт, которым я качал бицепсы, привязав его к батарее. Сначала в зал на Чугунной улице я ходил в младшую группу, которая тренировалась за два часа до основной. Тогда приходили чемпионы и те, кто, как нам казалось, вот-вот чемпионами станут.

Постоянные тренировки странным образом только улучшили

успеваемость в школе: спорт приучал рационально относиться ко времени. Сам процесс обучения в школе стерся из памяти. Но я отлично помню подаренную мне десятитомную Детскую энциклопедию оранжевого цвета. Тома по истории и географии я особенно любил…

Пригласили меня первый раз и на летний спортивный сбор клуба в Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова (ЦПКиО) на Елагином острове. Когда-то он был местом отдыха царской семьи. Жили юные спортсмены в деревянном кривоватом двухэтажном домике возле знаменитого дворца, построенного по заказу императора Александра I Карлом Росси в начале XIX века. Это блистательный образец русского классицизма в архитектуре… Из ЦПКиО мы ездили каждый день на стадион «Медик», а кроссы бегали по самому острову.

На следующий год летний юношеский спортивный сбор проходил на базе Ленинградского военного округа в Кавголово. Там тренировались по два раза в день, а по субботам выступали на соревнованиях.

Мои дедушка с бабушкой сняли на лето комнату в ближайшем поселке, куда я приходил подкормиться. Тело росло, постоянно хотелось есть. Отец подарил мне килограммовый диск, и я, найдя полянку в лесу, пробовал его метать, вспоминая, как это делали взрослые.

К пятнадцати годам я уже вымахал ростом под метр девяносто. Постепенно оформилась и мускулатура. К осени 1965 года, тренируясь в зале ГОМЗа во взрослой группе, уже мог похвастаться ловкостью и быстротой. На ближайших юношеских соревнованиях я стал чемпионом Ленинграда…

Юношеский опыт повлиял на всю последующую жизнь. Я и теперь так считаю: любой старательный и честный труд приводит к результату. Этот типичный путь прошли тысячи и тысячи молодых людей, попавших в Школу Алексеева.

Тогда же я стал тренироваться у самого Виктора Ильича.

Через два месяца после перехода в группу Алексеева я стал чемпионом страны среди сверстников. Соревнования проходили на Зимнем стадионе. Соревновались мы в двоеборье: прыжки в высоту и длину. По сумме очков я и стал первым. Дедушка и бабушка сидели на трибуне и волновались. Накануне бабушка Ирина Васильевна старательно пришивала к майке номер, а дедушка Северин Андреевич с не меньшей старательностью укреплял пяточные шипы на прыжковой туфле. Стоит перевести данное сообщение на современный язык. Спортивная амуниция достойного класса была в советские времена большим дефицитом. Кроссовки – роскошью. Прыжковые туфли «адидас»

или «пума» доставались только членам сборной страны. Обычным атлетам приходилось довольствоваться отечественной продукцией. Наши шиповки оказывались непрочными: пришитая фабричным способом пятка с шипами постоянно отрывалась, все время приходилось что-то изобретать, приклеивая и пришивая ее обратно. Несколько лет я носил хлопчатобумажные костюмы, у которых моментально вытягивались коленки. Спортивной роскошью считался шерстяной костюм с молнией на груди. Такой я получил, когда стал кандидатом в сборную страны. В спортклубе ГОМЗа мне выдавали трусы и майки. Чтобы получить новые, следовало старые сдать обратно. Получал я и синие спортивные тапочки. Кому удавалось, доставали китайские кеды. Наши кеды не котировались. Высшим шиком считалось обладание синим шерстяным костюмом с белыми лампасами, в каких ходили только члены сборной Советского Союза. Южане готовы были заплатить за них большие деньги. Тренируясь в Абхазии, мне неоднократно приходилось видеть мужчин вовсе не спортивного вида в подобных костюмах. Особенно ценились значки «Мастер спорта СССР». Когда я стал мастером, у меня такой значок скоро украли. Их также продавали в южных республиках…

Я вдруг стал спортивной знаменитостью, уважаемым человеком в школе и дома. Меня ставили в пример младшему брату. Начали выдавать талоны в столовую Дворца профсоюзов на одноименном бульваре. Туда можно было ездить обедать после тренировок. Но я предпочел иной, более эффективный способ: сдал талоны бабушке, она поехала в столовую, и ей на всю сумму вручили на кухне оковалки масла, сыра, колбасы и прочей провизии. Это называлось «отовариться». При виде сумки с продуктами, добытыми лично мной, я ощущал блаженную гордость. Идеалы любительского спорта Пьера де Кубертена рушились на глазах.

Вне всякого сомнения, спорт в Советском Союзе являлся тем, что сейчас называют социальным лифтом. Спортивные достижения делали человека материально независимым в раннем возрасте. Поездки на соревнования расширяли кругозор, кое-кому удавалось побывать в других странах. Несмотря на все бонусы, которые давал спорт в социальном смысле, ограничения оставались. Очень редко даже у выдающегося спортсмена была возможность заявить о своих правах. Хотя такое случалось…

…В 50–60-х годах прошлого столетия в мировой легкой атлетике появилось множество гермафродитов. Гермафродиты – это люди с некоторыми врожденными генетическими

отклонениями. Внешне женщины, но местами и мужчины. Обычным женщинам на соревнованиях гермафродиты создавали проблемы. В 1958 году на чемпионате страны по легкой атлетике в толкании ядра у женщин победила, как считали многие, женщина-гермафродит. Тогда рекордсменки предыдущих лет Галина Зыбина и Тамара Тышкевич, ученицы Виктора Ильича Алексеева, отказались подняться с победительницей на пьедестал и получить награды. Разразился скандал, женщин поддержали спортсмены-мужчины. Дело дошло до ЦК партии. В итоге почти десятилетней борьбы женщины-спортсменки добились создания на международном уровне медицинской комиссии. Эпоха гермафродитов закончилась…

Между битлами и Пьером де Кубертеном

Надеюсь, что мое повествование представляет этнографический интерес. За последние полвека жизнь в городе на Неве сильно изменилась, и не так уж много людей, живущих в нынешнем Петербурге, имеют представление о том, как обстояло дело в Ленинграде в 60-е прошлого столетия.

Году в 65-м по ленинградскому радио прокрутили несколько песен британского ансамбля «Битлз». Вполне безобидные песенки вызвали массовый энтузиазм среди школьников. Чем-то они нас зацепили. Какой-то позитивной юношеской яростью. Советский диктор представлял битлов как простых рабочих, грузчиков из Ливерпуля. В школу стали приносить мутные черно-белые фотографии битлов с выразительными челками. Записей их песен еще никто толком не слышал, поскольку и катушечных-то магнитофонов никто из моих школьных товарищей не имел.

Эта музыка, которую позже стали называть роком, изменила мою жизнь несколько позже. Я продолжал фанатично тренироваться в легкоатлетической Школе Алексеева, постепенно превращаясь в настоящую спортивную звезду.

Спорт по своей сути – это сублимированная война. По состоянию спорта можно определить состояние дел самого государства. Это особенно справедливо для игровых видов спорта. Сразу после войны московские футболисты поехали в Англию и обыграли несколько лучших команд, включая «Челси». Сказывалось воодушевление, вызванное победой в Отечественной войне. После смерти Сталина в СССР начинается «оттепель», и наша сборная по футболу побеждает на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году. Стартует космическая эпоха, в которой мы на первых порах лидируем. Сборная по футболу становится чемпионом Европы в 1960 году. Относительная крепость государства позволяет нашим футболистам выглядеть прилично в 70-е годы. Энтузиазм перестройки воплощается в «золото» олимпийской медали советских футболистов на играх в Сеуле 1988 года. С падением Советского Союза падает и российский футбол. В нулевые Россия накачала нефтедолларовые мышцы: сборная России по футболу становится третьей на первенстве Европы 2008 года. А петербургский «Зенит» добивается победы в Кубке УЕФА, затем красиво одолевает «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке. Начинается мировой экономический кризис, ударивший по России очень сильно, и мы не попадаем на

чемпионат мира. Политические брожения рубежа 2011–2012 годов говорят о слабости государства: российские футболисты плохо играют на чемпионате Европы в Польше и не выходят из группы… В легкой атлетике у личности больше возможности проявить себя безотносительно к общему состоянию дел, но и в этом главном олимпийском виде спорта выступление национальной команды говорит о многом.

…Свое место в чемпионской иерархии мне известно. На этот счет я иллюзий не питаю. Но все-таки я прошел классический путь от подростка, достаточно случайно попавшего в спортивную секцию, до выступлений на престижных соревнованиях в составе сборной страны. Мой опыт интересен тем, что типичен. Надеюсь, он поможет составить картину прошлого, которую я стараюсь, в меру сил и способностей, воспроизвести.

В самом конце 1966 года мне удалось перелететь планку на высоте 2 метра. Весной 1967-го на Зимнем стадионе я опять выиграл первенство страны и выполнил тогдашний норматив мастера спорта – 2 м 3 см. В газете «Советский спорт» напечатали: «Он был по-настоящему счастлив, этот худощавый паренек…» Ленинградская же газета «Смена» утверждала: «Этот атлетически сложенный юноша…»

Иногда я шучу, что мне до сих пор с собой не разобраться…

Началась подготовка к спартакиаде школьников, соревнованиям тогда очень важным, широко освещаемым в прессе. В апреле сборная Ленинграда поехала тренироваться в Адлер, где всех, для видимости, записали в местную школу. Все-таки мы учились в десятом, тогда выпускном, классе и должны были готовиться к экзаменам. Я жил в Леселидзе, абхазском поселке, недалеко от границы с Россией. Утром ездил в школу, затем возвращался. Постепенно от показухи отказались, затею с посещением уроков местной школы оставили и продолжили просто тренироваться. Тем более прошел слух, что членов сборной города от выпускных экзаменов освободят. Слух подтвердился: участники спартакиады школьников выпускных экзаменов не сдавали. Можете себе представить, каков был уровень значимости надвигающихся состязаний.

Вообще-то, в Леселидзе я приезжал с группой Алексеева, еще учась в девятом классе. Хронология за давностью лет перепуталась, но общее впечатление сохранилось. Жили в частных домах рядом со стадионом, где тренировались разные команды, включая и взрослую сборную. Обеды нам готовила абхазская женщина. В домах было сыро, тренировочная одежда не успевала высохнуть. Днем часто моросил дождь. Усиленные тренировки давались с трудом, но было крайне интересно – ты

как бы изучал, испытывал возможности организма под руководством великого тренера. Будучи действующим спортсменом, мой тренер Виктор Ильич Алексеев постоянно экспериментировал со своим телом. Став тренером большой школы, Алексеев просто продолжил искать идеальные движения в большем количестве физически развитых тел. Теперь я думаю, что путь, поиск, движение к открытию его интересовали больше самого результата, хотя от крупного специалиста, конечно, требовались и места на пьедесталах. И еще мне кажется, Алексеевым двигало самолюбие самоучки, понимающего законы движения чуть ли не на планетарном уровне.

Случился в Леселидзе со мной и курьез, ставший классическим. На спортивной базе, расположенной между стадионом и морем, почти каждый день показывали фильмы. Виктор Ильич ухватил меня как-то за локоть и усадил рядом в кинозале. Олимпийцы и чемпионы, Трусенев и Михайлов, заулыбались, увидев нас рядом. Во время сеанса Виктор Ильич все время поддавал своим локтем мне под ребра, приговаривая: «Смотри! Смотри! Вот это да! Во дает!»

Много позже мне стало известно, что Алексеев, страстный любитель комедии, старается всегда кого-нибудь посадить рядом для, так сказать, сопереживания. Почти все алексеевцы прошли подобную инициацию, старательно избегая ее повторения.

Там же, в Леселидзе, в педагогических целях Виктор Ильич сымпровизировал, и появился знаменитый рассказ. Одна спортсменка, мол, очень хотела выступить на соревнованиях и серьезно готовилась. Она была беременна, боялась, что ее не допустят до соревнований, и поэтому сильно затягивала живот. На соревнованиях после победного прыжка у нее начались схватки, и она родила прямо в прыжковой яме. У Виктора Ильича своих детей не было. Впрочем, история по-своему удалась…

В юности моими конкурентами обычно становились воспитанники Виктора Лонского, тренера из украинского города Бердичева, создавшего свою школу прыгунов. Базой для нее стал зал, оборудованный в местном костеле, где, по преданию, с польской графиней Ганской венчался классик французской литературы Оноре Бальзак. Многое Лонский перенял у Алексеева, добившись феноменальных результатов. Бердичев постоянно поставлял кадры прыгунов не только на пьедесталы молодежных первенств, но и во взрослую сборную.

Из Бердичева приехали Ахметов и Кирнасовский. У первого я выиграл, а второму проиграл, завоевав в итоге второе место.

Мое «серебро» расценивалось всеми как большое достижение. Шеф был рад, а газета «Смена» опубликовала большую

фотографию «серебряного» прыжка.

Скажу честно, вся эта разом нагрянувшая слава не казалась мне неожиданной случайной удачей. За достижениями стояла большая работа и уверенность, привитая Алексеевым. Быть узнаваемым мне нравилось, нравилось то почтение, с которым ко мне стали относиться. Нравилось, когда ко мне на стадионе подходили тренеры, поздравляли или спрашивали о планах на будущее.

После окончания школы я решил поступать на исторический факультет Ленинградского университета. Можно было использовать спортивный блат, но тогда предстояло бы перейти из родного «Зенита» в общество «Буревестник». Предательство и олимпийские идеалы – вещи несовместимые! И тут сказалось освобождение от выпускных экзаменов в школе. К «университетам» я готовился довольно размягченно, читал учебники, сидя на скамейке в Летнем саду. В итоге пролетел по баллам. Меня зачислили на вечернее отделение, а отец сказал: «Вот и отлично! Пора начинать трудовую жизнь!» И отвел к себе в секретный институт, куда меня взяли учеником слесаря.

Три месяца я драил напильником металлические кубики. Великий тренер Алексеев приезжал к родителям спасать олимпийскую надежду, и скоро меня оформили на Государственный оптико-механический завод такелажником третьего разряда. Эта комбинация называется подвеской: я тренируюсь, бегаю, прыгаю в высоту с разбега за маленькие, но деньги.

Мне это очень нравилось. Но именно так начинается профессиональный спорт.

Стоит вспомнить, как была устроена спортивная жизнь в Советском Союзе. Она протекала в клубах. Были армейские клубы, всякие СКА, ЦСКА. Был клуб правоохранительных органов «Динамо». Остальные клубы пестовались профсоюзами. «Спартак», например, это профсоюз торговых работников. «Буревестник» – студенты. А «Зенит», за который выступал я, – спортклуб предприятий оборонной промышленности. И перейти из одного клуба в другой было очень даже непросто…

Весной 1968 года семнадцатилетним первокурсником я выиграл на матче университетских команд у Юрия Тармака, который через четыре года выиграет Олимпиаду в Мюнхене, и у Виктора Большова. Он за восемь лет до матча занял четвертое место на Олимпиаде в Риме. Мой результат – 2 м 10 см – лучший результат среди молодежи в Европе по прыжкам в высоту. В конце года нашел финский каталог. Мой результат – 74-й в мире в этом сезоне среди взрослых. Первый у Дика Фосбери, чемпиона

Мехико, 2 м 24 см. Нет никаких сомнений: великое олимпийское будущее ждет меня впереди.

Нет смысла перечислять бесконечные перелеты из города в город и победы на множестве молодежных соревнований. Спорт давал возможность посмотреть страну, расширял кругозор. За первое место, как правило, кроме грамоты и жетона вручали в качестве приза отечественные часы. Я их раздавал дома направо и налево.

Несколько месяцев я оформлял документы в заграницу. Студент университета, мастер спорта, член сборной СССР! Что еще нужно для счастья в семнадцать лет? Одна проблема – не получались фотографии для анкет. То уха одного не видно, то другого, то галстук забыл надеть, то уголка на фотографии нет. В райкомах и горкомах партии спрашивали о международном положении. Я знал все! И весной 1968 года сделал первую стратегическую ошибку. Меня затребовали в Москве, чтобы отправить в Германию, но я отказался ехать, поскольку на носу зачет по истории Древнего Востока. Амон Ра, понимаешь ли, Гильгамеш! Но в июне все-таки отправился в столицу, где в гостинице стадиона «Лужники» собирали сборную страны для поездки во Францию на матч с тамошней молодежью.

Азарий Семенович Герчиков, человек пожилой и значительный, еле разжимая челюсти, инструктировал:

– Если кого замечу в чем-либо – конец спортивной карьере. И вообще – всему.

Лень ему на нас слова тратить. Азарий Семенович замечает меня. Я как я его не интересую. Его интересуют мои волосы. Они по-битловски почти закрывают уши. Вольнодумство! Герчиков манит меня указательным пальцем:

– Чтобы одна нога здесь. Десять минут. На парикмахерскую. Под полубокс.

Лень ему слова тратить. Но гордый юноша не может перенести такого обращения. А я – гордый.

– К сожалению, я должен отвергнуть ваше предложение и отбыть домой, – произношу вежливо и удаляюсь в номер, начинаю собирать вещи.

Через несколько минут появляется руководитель делегации с уговорами. Дело в том, что от заграницы у нас не отказываются никогда. А тут какой-то щенок, сопляк! Но прыгать в высоту начальники не умеют. Другого юнца за день не оформишь. С начальников же тоже есть кому спросить.

Более всего меня ошарашил тон, с которым ко мне обратились. Я такого обращения просто не знал. Виктор Ильич был всегда вежлив и выдержан, родители, дед с бабкой

относились ко мне дружески, школа была корректна: я вырос в традиционной ленинградской среде в те годы, когда Ленинград считался образцом для страны в целом…

В итоге меня уговорили. Во Францию я съездил. Более меня за рубеж не брали. Второй раз я пересек границу через двадцать один год. И пересекаю ее теперь довольно часто. Сладок лишь запретный плод. В той давней истории вел я себя, конечно, как дурак. Зато теперь есть что вспомнить.

Сборная советских юниоров французам проиграла, хотя могла выиграть запросто. Мы же с Рустамом Ахметовым свои очки принесли в полном объеме, победив соперников. Дело было в городке Доле, из которого победители повезли нас на постоялый двор пить вино. Французская революционная молодежь там нарезалась до неприличия. Странный у них, у французов, обычай: из-за одного стола начинают орать и тыкать пальцами в кого-нибудь за другим столом. Тот, в кого тыкали, поднимается, снимает штаны, поворачивается и показывает публике ягодицы… Затем, помню, играли на гитаре и пели революционные песни битлов. «Мишель, ма бель…» Прямо-таки как в знаменитом фильме «Бал». Шестьдесят восьмой все-таки, бунтующий год.

А в Париже получилось так. Казах, грузин и белорус, русские, одним словом, малолетки привезли с собой по здоровенной банке икры с корыстным намерением ее продать. В те годы спортивно-восточно-европейской контрабандой в Париже занимался один поляк, державший магазинчик где-то в центре. Всю нашу восемнадцатилетнюю шоблу высадили возле Нотр-Дама, и Герчиков произнес:

– Гуляйте два часа. И чтоб! А то конец всему. Вообще.

Мы пошли слоняться. А казах, грузин и белорус тормознули тачку, показали водиле бумажку с адресом и рванули к поляку. Тот их встретил и только начал разглядывать банки, как… С той же целью к магазинчику подъехал автобус с начальниками и массажистом из госбезопасности. «Русские» юноши схватили икру, выскочили на улицу, забежали во двор и спрятали товар во французский помойный бачок.

– Выходи по одному! – раздался в арке знакомый голос «массажиста».

С поднятыми руками юноши вышли. Ситуация сложилась пикантная, и кары не последовало. В тот же вечер команду отпустили погулять. Все разбрелись кто куда, а юноши побежали искать помойку. Нашли и икру, и помойку. Попытались продать и продали за гроши в каком-то кафе, поскольку магазинчик поляка уже закрылся.

Было лето, тепло, и все выглядело, как в цветном фильме. Скоро мы вернулись в черно-белую Россию. Вся жизнь ждала впереди.

Второй курс совпал с познанием богемной студенческой жизни. Появилось множество продвинутых товарищей, научивших вместо посещения публичной, скажем, библиотеки пить крепкий кофе в кафетериях, дискутировать о всякой всячине и меняться западными пластинками. Олимпийские идеалы оставались незыблемыми, но их начали теснить другие интересы.

Помню, летом 1968 года Алексеев сокрушенно сказал мне:

– Эх, года нам, Володька, с тобой не хватило, чтобы подготовиться к мексиканской Олимпиаде.

Тысяча девятьсот шестьдесят девятый год я начал успешно: победил на юниорском первенстве Советского Союза с результатом 2 м 11 см. Волосы у меня отросли уже до плеч. На Зимний стадион специально болеть за меня приходили университетские хиппари.

Отлично помню, как на крупных юниорских соревнованиях в Донецке меня вербовали: предлагали перевод в местный университет на дневное отделение, двухкомнатную квартиру в центре города и стипендию в двести рублей. Следовало лишь уехать из Ленинграда и бросить Шефа.

Дома в университете меня окружали сплошь малоимущие студенты, а я был для своего возраста вполне обеспеченным молодым человеком.

Глядя на мой внешний вид, Алексеев забеспокоился. Таня Кузнецова, с которой мы вместе тренировались в прыжках, со смехом пересказала свой разговор с Шефом.

– Володьку видела? – спросил Виктор Ильич. – Это же хиппи. Я таких встречал в Америке. Они все алкоголики и наркоманы. Поговори с ним.

Рано или поздно что-то должно было произойти. В марте 1970-го я стал вторым на очередном первенстве страны. В апреле на спортивных сборах в Сочи повредил на тренировке одну из связок коленного сустава. Алексеев очень встревожился, а я уверял Шефа, что все образуется. К началу лета колено прошло. После окончания студенческой сессии я с парой приятелей, имевших некоторое спортивное прошлое, поехал на пляж в Сестрорецк. Там с помощью портфеля я стал показывать, как правильно метать диск, и снова повредил колено. На этом моя олимпийская карьера закончилась, хотя в большом спорте я остался еще на много лет.

Виниловый рай у Инженерного замка

В какие бы времена ни жил человек, в юные годы его всегда обуревают жажда познания мира и избыток энергии. А юность автора выпала на 60-е годы прошлого столетия.

Занятия спортом, конечно, доминировали, но увлечение битлами и гитарой все больше давало о себе знать. Могу смело сказать, что музыкальная бит-лихорадка охватила широкие массы учащихся. Заявить о себе на данном поприще становилось эффективным способом самоутвердиться. Мой отец умел неплохо играть на мандолине и научил меня кое-чему. На гитаре же отец играл семиструнной. А для битлака требовалась гитара шестиструнная. На нее можно поставить звукосниматель и включить гитару в приемник. В музыкальном магазине такие звукосниматели продавались по девять рублей штука.

Появление и популяризация нового музыкального жанра, бит-музыки, было, конечно же, связано с техническим прогрессом. Я еще помню, как дед крутил пластинки на патефоне. Пластинка вращалась со скоростью 78 оборотов в минуту и отчаянно шипела. На сторону большой пластинки помещалась только одна песня. Потом стали появляться первые примитивные проигрыватели. На них скорость регулировалась от 78 до 45 и даже 33 оборотов в минуту. Тридцать три – это уже международный стандарт долгоиграющей пластинки, лонг плей. Сначала все пластинки были «моно». Магическое стерео появилось на рубеже 60–70-х годов.

Настоящих электрических гитар в официальной продаже тогда не было вообще. А самодельная «доска» имелась у моего соседа по двору. По праздникам мне давали на ней поиграть. Заодно я старался запоминать аккорды, которые брал сосед. Постепенно начали появляться отечественные гитары: марки «Ленинград» и «Урал». Иногда попадались в магазинах гитары из стран Варшавского договора, болгарские «Орфеи», чешские «Иоланы», гэдээровские «Музимы». Несколько человек в Ленинграде имели инструменты западного производства – эти гитары я видел пару раз издалека.

Где-то в 67 году я дебютировал на рок-сцене в поселке Пери. Рок-сцена – громко сказано. Просто танцы в поселковом клубе. Директора этих культурных заведений, стараясь привлечь публику, разрешали выступать на танцах идеологически сомнительным ансамблям.

Даже не помню, на чем я первый раз играл. Кажется, на барабанах. Гитаристом я еще был никудышным. В зале под мутной лампочкой все время дрались хулиганы из-за местных красавиц.

Мой старый товарищ доктор химических наук Коля Баранов однажды рассказал мне, посмеиваясь, как ездил в поселок Кузьмолово слушать ансамбль под названием «Прохор Харин». Этот «Прохор Харин» звучал похоже на название британской группы «Прокл Харум» и тем привлекал зрителей… На кривую сценку вышел немолодой уже человек с чемоданом. Чемодан состоял из двух половинок, акустических колонок. Человек включил в чемодан микрофон, гитару и объявил прокуренным голосом:

– Ка-ра-ванн!

«О! – подумали Баранов и его студенты-приятели. – Дюк Эллингтон!»

В ответ человек со сцены завыл:

– Вез караван! Кашгарский план!

На второй строчке в зале махач и начался.

Поселки Пери, Васкелово, Ольгино, Саблино, Красное Село, Юкки. Так, сквозь мордобой, наступала на Ленинград битломания.

Но я совсем забыл рассказать про одежду. Ведь молодежь во что-то одевалась. Это важно и теперь, и, понятное дело, было важно тогда. Советские времена в этом смысле особо не баловали. А хотелось принарядиться. Помню, как еще в седьмом классе по школе прошел слух о джинсах. Мол, есть такие штаны особого цвета, которые не нужно гладить. В них, мол, ходили ковбои, а теперь и не только ковбои. О ковбоях мои сверстники имели представление по немногим фильмам, проникшим в Советский Союз. Особенно прославилась «Великолепная семерка» с Юлом Бриннером в главной роли. Такие фильмы крутили в апреле, дабы отвлечь население от православной Пасхи…

Однажды после занятий я долго ходил с приятелем вокруг школы, слушая рассказы о джинсах. Стоят они, мол, двадцать пять рублей, а слаксы стоят пятнадцать.

– Что такое слаксы? – спрашивал я. – Может быть, ты достанешь мне слаксы за пятнадцать? А я попрошу денег у родителей на день рождения.

– Могу узнать, – отвечал тогдашний мой товарищ. – Но я их еще и сам не видел. Но много слышал хорошего…

Знал я и про тонкие синтетические свитера банлоны и рубашки с пуговками на воротнике. Они назывались батниками. Иногда с кем-нибудь из друзей я отправлялся в выходной день на

Невский проспект. Мы шли по солнечной стороне от площади Восстания до Гостиного Двора, с завистью разглядывали проходящих мимо модников, стараясь уловить свежие веянья…

Где-то году в 65-м стали появляться первые клеши. Ширина их становилась все более угрожающей. Такие брюки можно было заказать в ателье, но самые экстремальные по виду шили частные портные на дому.

Когда я поступил в университет, то горизонты мои значительно расширились и в смысле моды. Весной 1968 года мне удалось выменять у приятеля настоящие джинсы: синий почти новый «ранглер». Проявив изрядное красноречие, я сменял культовый предмет на английский свитер, который мама мне достала по случаю.

Накануне восемнадцатилетия я приобрел и первую свою виниловую рок-пластинку. Это оказался сборник фирмы «Айленд» с одной из первых песен группы «Джетро Талл». «Джетры» мне запомнились сразу. Период подростковой битломании проходил. Вокруг полыхало мировое молодежное восстание. Молодежь сплачивалась под рок-знаменами. Те же процессы шли и в Советском Союзе. Чуть локальней и тише, но смысл был тот же. Послевоенное поколение хотело изменить мир. Всякое поколение этого хочет. И у некоторых получается.

Буквально каждую неделю я узнавал о новинках. То кто-нибудь приносил запись группы «Ху», то появлялся музыкальный журнал на английском…

Став в шестнадцать лет мастером спорта, я уже получал некоторые материальные блага, которые в силу молодежного романтизма тех лет тратил в основном по двум сомнительным направлениям. Покупал иностранные пластинки для себя и динамики, микрофоны и гитары для бедных друзей, с которыми начал музицировать.

Западные пластинки, диски, появлялись в Ленинграде по-разному. Привозили советские моряки торгового флота. Однажды я встретил на улице одноклассницу и купил у нее за 60 рублей два первых альбома «Джетро Талл»: «Зыс воз» и «Стенд ап». Ее отец как раз и был таким моряком. Привозили пластинки и иностранцы. Позже, во второй половине 70-х, я стал свидетелем серьезной контрабанды. Один взрослый швед, чуть ли не главный инженер строящейся гостиницы «Прибалтийская», в контейнере с инструментами ввез в Ленинград несколько сот американских джинсов и уйму пластинок. Увидеть сразу сотню дисков группы «Квин» «Найт ат зы Опера» было необычно. Швед женихался с ленинградской студенткой и крутился в одной советской компании. По просьбе коммерчески настроенного товарища он и

организовал доставку. В моей биографии это случилось только один раз. Как правило, музыкальные новинки в Ленинграде появлялись поштучно…

И так к лету 70-го в моей коллекции имелось несколько пластинок «Битлз», несколько виниловых альбомов «Роллинг Стоунз», среди которых выделялся новенький, только что прибывший в Питер по контрабандным каналам «Лет ит блид», еще несколько дисков в том же авангардно-прогрессивном духе. И еще у меня был друг Александр, длинноволосый красавец, тоже мастер и чемпион, родом из Ульяновска. Оглядев коллекцию, Александр заявил:

– Тебе нужен микрофон, а мне новые джинсы. Разбогатеть же можно только на родине Ленина.

– А как? – прозвучал мой наивный, но вполне резонный вопрос.

– Это элементарно! Берем твои диски и едем в Ульяновск «косить». Мой школьный друг Петрович все организует.

– Что мы станем косить? Газоны?

– Мы станем косить твои пластинки. Запись диска – пять рублей. А «Лет ит блид» – за червонец. У тебя есть нормальный кошелек, чтобы складывать деньги?

– Нет.

– Должен достать!

Я достал два здоровенных бумажника, и мы, набрав сколько-то денег, отправились в аэропорт покупать билеты на ближайший самолет до Ульяновска. Тогда, в мирные времена, в кассах паспорт не требовали. Просто называешь фамилию, и продавец вписывает ее с твоих слов в билет. Тогда мы и придумали шутку: Александр, большой любитель роллингов, назвался Джаггером, а я, в большей степени битломан, произнес в окошечко:

– Леннон! Лен-нон.

Самое ценное в моем рассказе это то, что я не вру.

Прилетев на Волгу, сначала мы поселились у Петровича, оказавшегося славным малым, любящим одновременно и уркаганские песни, и битловские. Но свежий «Лет ит блид» поразил его ум, а также умы местной прогрессивной молодежи, которая и стала записывать музыку. К первому вечеру в нашем бумажнике оказались первые деньги. Ко второму сумма уже вызывала уважение. На третий день мы переехали в центральную гостиницу, построенную в стиле иностранного небоскреба сразу возле мемориального ленинского комплекса. Деньги приносили еще дня два, но ситуация стала меняться не в лучшую сторону. Мой спортивный друг Александр, несмотря на свою молодость, оказался попросту алкоголиком. Я и сам отчасти участвовал в

процессе, общаясь с местным молодежным обществом. Но Александр вдруг стал выделывать разные сумасшедшие штуки, которые имели, скорее всего, психиатрическое название. Мы, Джаггер и Леннон, снимали целый пентхауз в советском отеле, угощали девушек, потеряли коммерческие связи, поссорившись с Петровичем…

Александр, заняв денег у бабушки, улетел самолетом, а я, голодный и без единой копейки, возвращался домой в общем вагоне вонючего поезда. Но пластинки были со мной, виниловые Джаггер и Леннон.

Через год с небольшим, когда моя коллекция окончательно оформилась и стала довольно известной в городе, в Питер прибыли Петрович и еще кто-то из ульяновцев-ленинцев. Александр и ленинцы украли коллекцию. Об именном составе банд-группы я узнал намного позже. Сперва я переживал, а потом простил. Джаггер и Леннон укатили обратно к Ленину…

Собирая коллекцию «пластов», я постепенно перезнакомился с такими же дисковыми фанатами. Конечно, среди нас имелись и просто барыги, желавшие простой выгоды, но в основном это были настоящие любители рок-музыки. Барыги обычно кучковались в Апраксином дворе, на Апрашке, кружили возле комиссионного магазина, торговавшего импортными магнитофонами и проигрывателями. Я там появлялся, но чувствовал себя неуютно. На барыг иногда охотились милицейские наряды. Однажды и меня задержали. При мне тогда оказался красный прозрачный диск японского производства. Что за музыка – забыл. Поскольку я ничего противоправного не совершал, то меня отпустили.

Один мой знакомый студент-аферист покупал новенькие, запечатанные модные западные альбомы; затем в магазине «Мелодия» затаривался задешево дисками с речами Леонида Ильича Брежнева; вскрывал западные диски; подменял, допустим, «Дип Перпл» на генерального секретаря, аккуратно запечатывал и старался продать задорого в той же Апрашке заезжим меломанам. Обычно все проходило без последствий. Но однажды его разоблачили и сильно поколотили.

Неофициальный пластиночный рынок открылся возле Инженерного замка. Работал он летом и зимой; в дождь, снег и в зной. Где-то после пяти часов и до восьми вечера на скамеечках чуть в сторонке от памятника Петру Великому по проекту Растрелли собирались энтузиасты. Сюда можно было прийти и без дисков, просто поговорить, узнать что-нибудь о новинках рок-индустрии. Сейчас достаточно пошарить по социальным сетям Интернета, и ты в курсе всего происходящего. В начале 70-х

требовались серьезные физические усилия. Иногда к тем заветным скамеечкам наведывались милицейские наряды, разгоняли собравшуюся молодежь. Но репрессии случались незначительные, и в лучшие времена возле скамеечек собиралось по нескольку десятков человек. Моя коллекция котировалась, и я входил в касту элитных рок-собирателей.

При осмотре выбранной для обмена пластинки следовало соблюдать определенный ритуал: внимательно рассмотреть пакет, затем умело вынуть сам винил, не касаясь пальцами поверхности. Предстояло его обнюхать – иные деятели протирали поверхность одеколоном, стараясь обновить, чем безнадежно портили звуковую дорожку. Сама пластинка разглядывалась под углом – пытались понять ее состояние, заметить царапины. При обмене всегда имелся риск получить испорченный диск. Если учесть, что новый, запечатанный диск стоил от 50 до 60 рублей, а начинающий инженер получал зарплату рублей 120 в месяц, удар по кошельку мог быть значительным. В каком-то смысле в том садике делалась история. Но об этом нынче мало кто помнит или просто знает. После восьми, не наговорившись о любимой музыке, отправлялись в кафе «Сайгон». Но знаменитый «Сайгон» – это отдельная тема.

Одновременно со спортивной карьерой стала выстраиваться и музыкальная.

Поступив на истфак университета, я продолжал поддерживать отношения с бывшими одноклассниками. Илья Нехлюдов и Игорь Горлинский учились на биологическом. Еще в школе мы сделали бит-группу под названием «Корабль дураков», с которой на дне первокурсника биологического факультета в Доме культуры «Маяк» играли в настоящем дворце с большим залом и бархатным занавесом. Мы очень волновались и сыграли плохо. За нами на сцену вышла бит-банда из студентов-индонезийцев. У этих индонезийцев были такие красивые настоящие гитары, что я завидовал черной завистью. Мне уже удалось проникнуть на выступления популярных в городе бит-групп «Садко» и «Аргонавты». Представление о том, как должен звучать электрогитарный ансамбль, у меня имелось…

К осени 1968 года «Корабль дураков» успешно развалился. Тогда же я познакомился с Витей Райтаровским. Он был специалистом по португальскому и испанскому языкам, учился на филфаке. Оказавшись у него в общежитии на Васильевском острове, я спел басом фрагмент популярной тогда в Советском Союзе песни Тома Джонса «Делайла» и был принят в ансамбль без названия, который предполагал выступать перед студентами Ленинградского университета…

Вкусив капитализма с нечеловеческим лицом, как-то по-доброму вспоминается безденежный социализм конца 60-х годов. За квартиру родители платили, но плата была необременительной. Занимался спортом я даром, в спортлагеря отправлялся за копейки. А достигнув высоких результатов, за казенный счет ездил по всей стране и получал талоны на обеды. Проезд в метро и автобусе стоил пять копеек, а в троллейбусе четыре копейки. Трамвай обходился всего в три. Кондукторов почти везде упразднили, заменив их кассами самообслуживания. Пассажиры сами бросали в эти кассы монетки и отрывали билеты. Малоимущие студенты старались экономить. Лишь делали вид, будто кладут в кассу монетку. Для желающих продавались карточки. Если ты покупал карточку за шесть рублей, то мог ездить по городу целый месяц бессчетное количество раз. Войдя в автобус, следовало показать карточку пассажирам. Предполагался народный контроль. А он и был. Везде висели плакатики с призывом: «Показывайте карточку пассажирам!»

Хоть я и имел личные доходы, родители все равно каждый день оставляли мне рубль, а вечером меня гарантированно ждал ужин на сковородке. На рубль можно было вполне прилично прожить день и даже посетить кафетерий.

Ленинградский общепит

Пора вспомнить про ленинградский общепит.

После смерти товарища Сталина в Советском Союзе началась «оттепель». Так назывался исторический период до конца 60-х годов. Почти в каждом квартале ленинградских новостроек строили по двухэтажной «стекляшке», многие из которых до сих пор стоят, проданные под разные народные супермаркеты и иные коммерческие предприятия. А в годы моей юности «стекляшками» пытались приучить советских ленинградцев к публичной жизни. На первом этаже такого сооружения, как правило, располагалась кулинария. Сюда школьники ходили пить вошедшие в моду молочные коктейли. На твоих глазах в металлический стакан миксера укладывали мороженое, наливали сироп. Потом все это вертелось с громким жужжанием. За 11 копеек тебе наливали стаканчик. Вторые этажи «стекляшек» отдавались под кафе. Днем они работали как столовые, а по вечерам там, по идее, должны были собираться молодые физики и лирики и о чем-то страстно спорить. Помню, наша классная руководительница и преподаватель английского языка Нина Николаевна Токачирова несколько раз устраивала для класса посиделки в «стекляшке» на проспекте Металлистов. Однажды это было заседание школьного научного общества, а другой раз – что-то наподобие телевизионного «Голубого огонька». Споры научного общества о параллельных мирах получились натужными, а одноклассники Коля Ставицкий и Слава Ганашек умудрились тайно выпить бутылку портвейна, после чего им стало плохо и пришлось вызывать родителей.

Так можно сказать и про весь Ленинград в целом. Европейские проявления публичной жизни прижились лишь отчасти. Молодежные кафе постепенно превращались в пивные средней захудалости, куда приходили не физики и лирики, а мускулистые работяги после трудового дня.

Чтобы по-настоящему выйти в люди, следовало ехать в центр города. То есть на Невский проспект. В школьные годы я оказывался на Невском проспекте набегами. С кем-нибудь из приятелей мы заходили в тир на Литейном проспекте. Он занимал арку возле «Старой книги». Букинистического магазина давно нет. На его месте то «Адидас», то банк открывают. Сколько платили за пять выстрелов, я не помню, но отлично помню мишени с отверстиями от пулек. Их можно было забрать с собой и, если стрельба удалась, хвастаться перед сверстниками.

В Ленинграде была и уникальная сеть заведений под

странным названием «Кафе-мороженое». Я помню несколько таких на Литейном проспекте, парочку на Владимирском, еще с пяток на Загородном. Их было много. «Кафе-мороженое» предлагало своим клиентам кофе, мороженое, которое накладывали в металлические чашечки. Имелось в ассортименте шампанское и сухое вино. Иногда посетители умудрялись приносить алкоголь с собой. Но притонность не прижилась. В этих местах проводили досуг влюбленные парочки, сюда приводили в выходные детей, вечерами здесь дринкали винцо студенты. Вообще жители Ленинграда отличались любовью к мороженому местного производства. Им гордились больше, чем футбольным клубом «Зенит». Если последний все время болтался где-то в середине турнирной таблицы, то ленинградское мороженое считалось чуть ли не лучшим в стране. Мороженым торговали на всех углах: молочный стаканчик стоил девять копеек. За эскимо на палочке следовало заплатить одиннадцать. Пломбирные стаканчики ценились в тринадцать копеек, а сахарная трубочка стоила пятнадцать. Но вершиной подросткового и студенческого счастья считалась пломбирная трубочка за двадцать восемь копеек. Она была в шоколаде, усыпанная орешками. И эти двадцать восемь копеек еще нужно было накопить. Иногда продавалось мороженое и за семь копеек: в картонном стаканчике, кисленький замороженный сок с водой. То, что в Париже называется «сорбе». Но «сорбе» особой популярностью не пользовался.

Нынешний капитализм, конечно, насытил прилавки бессчетным количеством мороженого всяческих фирм. Но теперь его выпускают, не соблюдая ГОСТов.

…Невский проспект Ленинграда конца 60-х годов прошлого столетия предлагал посетить и заведение высшего уровня. Я имею в виду «Кафе-мороженое» на Невском рядом с Большой Конюшенной. В советские времена она называлась улицей Желябова. Стены в этом роскошном месте были зеленого цвета, за что и прозвали его в народе «лягушатником». Само помещение делилось на уютные отсеки, стулья задрапированы чехлами, к столикам подходили официантки, записывали заказы короткими карандашиками в блокнотики. Пригласить подружку в подобное место равнялось объяснению в любви. Цены здесь были выше, но все-таки в пределах разумного. Цены в советских кафе мало чем отличались от цен в магазинах. Поэтому народ в общепит шел, мест на всех не хватало, очереди выстраивались.

Простонародной роскошью являлись автоматы с газированной водой. Эти автоматы я помню с середины 60-х годов. Первоначально они были какие-то сложные по форме и

содержанию. Можно было выбрать вид сиропа, нажав на кнопку, допустим, «вишневый» или «земляничный». Затем агрегаты как-то упростились. В правом отделе имелось пространство для мытья граненого стаканчика. Ты его переворачивал, нажимал, струя воды омывала поверхность. Сифилис и туберкулез в советскую пору потеряли свои позиции по сравнению с царскими временами, и питье газированной воды из общего стакана считалось делом безопасным. Ты просто бросал трехкопеечную монету в щель, и автомат наливал газированной воды с сиропом. По бедности можно было выпить за одну копейку и стакан простой газировки без сиропа.

Пользовались популярностью разбросанные по всему городу пирожковые и чебуречные. Заслуженную популярность имела пирожковая в полуподвале на Садовой улице, рядом с рестораном «Баку». Огромный пирожок с капустой, «с пылу, с жару», стоил 10 копеек. А чебуречная на Большом проспекте Петроградской стороны работает до сих пор. Но это уже совсем другие чебуреки…

Особой достопримечательностью 60–70-х годов прошлого столетия в бытовой жизни Ленинграда являлись граждане соседней Финляндии, или, как они свою страну называют, Суоми. Эти суомцы (ленинградцы их называли финиками) два десятилетия в значительных количествах являлись на невские берега. Каждый уик-энд сотня автобусов пересекала границу: северные соседи совершали двухдневные алкогольные туры. Финнов было много, и были они в основном людьми среднего достатка. Селились в гостиницы умеренной ценовой группы, вроде «Ленинграда» напротив крейсера «Аврора». Или в «Советской», что возле реки Фонтанки в районе Красноармейских улиц. Или в гостинице «Дружба», находившейся на улице Чапыгина, чуть не доходя до здания, где расположился сейчас Пятый канал телевидения. Финнов не особо интересовали музеи, они приезжали к нам напиваться. В то время правительство Суоми реально боролось с печальной склонностью своего народа к спиртному, и страна жила в условиях если не сухого закона, то близкого к этому состоянию. Двадцать лет финского пьянства привели к заметным результатам. С одной стороны, они в разные «эрмитажи» все-таки захаживали, просвещались. Можно даже сказать, что за время многолетнего пьянства в культурном Ленинграде финны из довольно темного хуторного народа превратились в просвещенную нацию. С другой стороны, многие из пьяных знакомились с местными девушками и даже иногда на них женились. Кроме всего, у некоторых финнов установились и устойчивые преступные связи с ленинградскими фарцовщиками:

в Ленинград поехали чемоданы с разлагающими сознание джинсами и рок-пластинками. Советская казна получала валюту, советская молодежь одевалась на западный лад и слушала капиталистическую музыку.

Когда я учился на первых курсах исторического факультета, на Невском проспекте одним из главных авторитетов среди фарцовщиков считался молодой мужчина по прозвищу Дурдом. Он заседал в кафе «Север» и всеми тамошними фарцовщиками командовал. Мог и морду набить, то есть был полный Дурдом. У него на подхвате состоял юркий кудрявый паренек. Жили Дурдом с оруженосцем припеваючи – рестораны, красотки, деньги… Когда появилась возможность, Дурдом эмигрировал в Италию. Там, говорят, купил себе автобус, стал возить пассажиров с утра до вечера, а тот, кто был на подхвате здесь, работал в автобусе кондуктором…

В это же время в Ленинграде стали открываться коктейль-бары. Это уже была какая-та совсем американская жизнь. Но в этих барах продавались только коктейли. Названия их я забыл напрочь. Если я с приятелями иногда и проникал в них, то, выкладывая за напиток что-нибудь около рубля, мы старались выбрать коньячный коктейль покрепче.

Молодежь потягивала противную жидкость через пластиковые трубочки и курила. Все это, конечно, было чудовищной пародией на западную жизнь. Но коктейль-бары пользовались бешеной популярностью. Попасть в знаменитый бар гостиницы «Октябрьская» без блата было практически невозможно. Можно было простоять в очереди у дверей целый вечер. Иногда не в туристический сезон начинал торговать за рубли валютный бар ресторана «Садко», рядом с гостиницей «Европейская»…

Однако я несколько отвлекся. Быт студента серьезно отличался от жизни советского школьника. Я научился пить черный кофе и пью его до сих пор. Это горький, противный напиток, содержит в себе кофеин – вещество, которое подстегивает психику. Наркотик, одним словом, без которого легко можно обойтись. Но мода, черт возьми! За нее приходилось платить и привыкать к вредному пойлу!

Дома мама иногда кофе заваривала. Но это был долгий и неудобный процесс. Затем появился растворимый кофе. Его я впервые увидел, приехав в гости к деду Северину Андреевичу. Помню, как на глазах у изумленной родни дед открывал серебрящуюся круглую банку, доставал чайной ложкой коричневый порошок, ссыпал его в чашку и заливал кипятком. Порошок мгновенно превращался в напиток, и родня восхищенно

вскрикивала. Кажется, банка растворимого кофе стоила шесть рублей. Довольно дорого.

Уже став студентом, я оказался у приятеля-однокурсника дома. Он поставил запись сложной тогда для моего восприятия пластинки «Битлз» «Сержант Пеппер лонли хатс клаб бэнд» и стал угощать кофе. Насыпал две ложки порошка, добавил ложку сахара. Капнул кипятка. И стал содержимое чашки растирать ложечкой до нужной консистенции.

– Зачем ты это делаешь? – спросил я.

– Сейчас увидишь, – ответил приятель.

Постепенно приготовляемое месиво стало светло-коричневым. Приятель налил в чашку кипяток, и на поверхность всплыла светлая пенка.

Богемная процедура была соблюдена.

Первые агрегаты для заваривания кофе прибыли в Советский Союз из Венгрии. Они сразу завоевали город, появились во многих местах, изменив обычную жизнь населения. Постепенно сформировалась привычка назначать встречи в кафе. Появились и популярные в Ленинграде места со своей внутренней драматургией. Думаю, пришла пора вынуть из памяти то, что осталось от личного прошлого.

В Ленинградском университете, где я учился, было множество общепитовских точек. Там между лекций, а иногда и вместо них кучковались студенты. Имелась кофейня на историческом факультете. Поднявшись на второй этаж, нужно было не сворачивать направо по коридору, а повернуть налево. Там была своеобразная рекреация перед большим амфитеатром, где однажды выступали «Поющие гитары» с молодой Пьехой. Кстати вспомнилось, в самом начале коридора в явно дореволюционной золоченой раме висел портрет Карла Маркса. Им, похоже, заменили кого-то вроде государя императора Николая Второго. В кофейне истфака стояли только высокие столы, тут компании не задерживались. Со всех факультетов парни старались выкроить время и зайти на филфак, где учились университетские первые красавицы. За зданием Двенадцати коллегий главного корпуса имелась студенческая столовая с кофейным залом. Но самым популярным среди продвинутой, так сказать, молодежи местом считалась, несомненно, Академичка.

Столовая Академии наук открывалась рано утром и работала до 17 часов. Старинные и мощные ее двери находились рядом со входом в петровскую Кунсткамеру. Столовая была демократичной, туда заходили перекусить и туристы, насмотревшиеся в соседнем музее на заспиртованных уродцев, купленных в Европе Петром Великим за бешеные деньги;

и учебный люд. В большом зале столовой все сидели вперемешку: преподаватели, студенты, турики. Для профессуры имелся отдельный зальчик. Но знаменита была Академичка своим кофейно-пивным залом слева от входа…

Сколько же стоила чашка кофе? Пытаюсь вспомнить. Вспоминаю. В 1967 году простой маленький кофе стоил всего четыре копейки. За мою кофейную жизнь цена на кофе постоянно росла. К концу советских времен за маленький двойной приходилось платить двадцать восемь копеек – деньги довольно большие.

Будучи студентом вечернего факультета, я иногда ходил на лекции с дневниками. Много времени проводил на биологическом факультете, где учились мои вчерашние одноклассники. А в Академичку я стал захаживать в поисках новых товарищей. И действительно, я много с кем там познакомился. Но не во всякую компанию тебя брали. Особым шиком считалось подружиться со сверстником из профессорской семьи. Эти молодые люди были начитанны, имели широкие финансовые возможности. Излишняя начитанность делала их несколько циничными. Первокурсникам, выросшим в «спальных» районах, такие знакомства казались престижными. В кофейных зальчиках постоянно курили и пили пиво. Вообще, курили во всех зданиях университета, все, и преподаватели, и студенты, и везде. В те далекие годы я еще не пристрастился к никотину, и поэтому табачный запах у меня навсегда ассоциируется с годами учебы.

В Академичке имелся гардероб, в котором царил своеобразный мужчина лет сорока пяти. Он покровительствовал учащимся. Через него передавали записки, учебники. Некоторым он давал в долг. До трех рублей можно было брать смело. В Академичке складывались устойчивые компании, многие в силу собственного разгильдяйства из университета вскоре вылетали. Запомнился мне миловидный Геннадий Григорьев. Уже тогда он пользовался успехом как поэт. По-настоящему я подружился с ним много позже. Здесь же процитирую лишь одно его стихотворение про Академичку тех далеких времен.

Как сладко в час душевного отлива,
забыв, что есть и недруг, и недуг,
пить медленное «Мартовское» пиво
в столовой Академии наук.

В соседнем зале завтракает знать.
Я снова наблюдаю спозаранку
Холшевникова высохшую стать

и Выходцева бравую осанку.

Не принося особого вреда,
здесь кофе пьют бунтарь и примиренец.
Сюда глухая невская вода
врывается во время наводненьиц…

Академичка! Кладбищем надежд
Мальчишеских осталось для кого-то
местечко, расположенное меж
Кунсткамерой и клиникою Отто…

Но не для нас! Пусть полный смысла звук —
залп пушечный – оповестит округу
о том, что время завершило круг.
Очередной.

И вновь пошло – по кругу.
Я здесь, бывало, сиживал с восьми,
А ровно в полдень – двести! – для согрева.
Дверь на себя!
(Сильнее, черт возьми!)
И если вам – к Неве, то вам – налево.

Сейчас на месте Академички находится ресторан «Старая таможня». Он один из самых дорогих в Петербурге. Открыл его нынешний повар президента Владимира Путина…

* * *

В конце данной главы я обязан упомянуть о том, что в первые годы студенчества меня просто потрясло. Речь идет о гомиках, то есть о «голубых». До поступления в университет я о таких странностях просто не слышал. А тут вдруг столько новой информации! Оказывается, есть такие мужчины, которые хотят с тобой сделать то же, что ты бы мечтал сделать с какой-нибудь красавицей с филологического факультета! Как это?! Зачем?! Почему?! Подкарауливают они якобы молодых людей в общественных туалетах! Одним словом, в моей молодой жизни появились новые страхи.

Всякий, кто долго прожил в Питере, знает, что в «Катькином» садике перед Пушкинским театром эти самые гомики и

собираются. По крайней мере, собирались в годы моей юности. Я этому садику не доверяю до сих пор и обхожу стороной. В начале второго курса спешу я как-то на Зимний стадион, вышагиваю мимо ограды садика к пешеходному переходу на Невском. Вдруг со стороны садика ко мне кто-то движется и говорит:

– Здравствуй, здравствуй.

– Пошел ты нах! – инстинктивно отвечаю и тут же узнаю в говорящем тренера молодежной сборной Советского Союза. Смысл моей реплики доходит до него не сразу. Он продолжает, спрашивает:

– Как дела?

– Хорошо, – отвечаю я, краснею и убегаю.

Лет десять подряд я этого человека изредка встречал и прятался. Испытывал чувство вины за грубость. Человек, наверное, так и не понял, за что его малолетка матом покрыл. С другой стороны, непонятно, что он все-таки в садике делал.

Город, река и пыточный зал

В предыдущих главах я с детством и отрочеством разделался довольно ловко. Студенческую жизнь рубежа 60–70-х годов приходится воссоздавать частями. И она, воссозданная, явно займет больше места. Надо б для затравки что-то вспомнить о самом городе, о тех декорациях, в которых проходила жизнь.

В 60-е годы Ленинград значительно разросся. Хотя многие еще продолжали обитать в коммуналках центральных районов, но владельцев отдельных квартир становилось все больше. В начале 70-х «хрущевки» уже не строили, появились более современные серии блочных домов. Расселяясь, так сказать, вширь, ленинградцы отдалялись от Невы.

В годы моей юности горожане к воде были более приближены. Когда река замерзала, по ней прокладывались пешеходные тропы, и люди ходили по льду довольно активно. Нева фактически становилась пешеходной улицей. Летом популярной городской забавой было катание на лодках. Лодочные станции располагались и на Фонтанке, и на канале Грибоедова. Катание стоило копейки, оплата была почасовая. Для аренды лодки требовался паспорт или залог в три рубля.

Высшим пилотажем считалось, прогуливаясь, к примеру, с приятелем в центре города, познакомиться с девушками и позвать их кататься на лодках. В лодку как раз четыре человека и помещалось. Особой популярностью пользовался заплыв по каналу Грибоедова под Невским проспектом. Все звуки города исчезали. Ты оказывался в совершенно глухом, темном месте, где царили эхо, скрип уключин и шлепки весел о воду.

Помню, как году в 69-м я катался по каналу Грибоедова со студентом Мишей Боярским и ленинградским мулатом Лоликом. Я тогда собирал гитарный ансамбль. И Боярский собирал.

«Хочу группу организовать, чтоб как „Битлз“», – говорил Боярский.

И я что-то подобное хотел. Мы катались на лодке долго, страстно обмениваясь своими мечтами, а после поехали ко мне на проспект Металлистов продолжать беседу. Я стал не помню что петь под гитару, и выяснилось, что голос у меня вовсе не тенор. Пол Маккартни из меня не получится… Так ничего у нас с Боярским и не вышло. В итоге я сделал банду, поющую по-русски, под названием «Санкт-Петербург».

А Михаил продолжал создавать «Битлз»! Прошло лет тридцать пять. Смотрю как-то во второй половине 90-х по телевизору музыкальный клип. Вглядываюсь с удивлением. Это

же «Битлз»! И вот узнаю Володю Ермолина. Еще Федорова из бывших «Поющих гитар», а в шляпе, точно, Михаил Боярский. Поют как битлы, прыгают и размахивают гитарами точно как в фильме «Вечер трудового дня».

Я тогда порадовался за Боярского. Слава богу, организовал!

В белые ночи набережные Невы оживали. На скамеечках напротив Адмиралтейства пели под гитару вовсе не барды, а настоящие местные битлаки. Они пели любимых битлов на голоса, и я регулярно ходил завидовать славе «прибрежных» гитаристов. Заодно старался запомнить аккорды, которые они брали. Народу на набережных собирались толпы. Метро в советские времена работало до начала второго ночи, всегда имелся шанс добежать до ближайшей станции и успеть на последний поезд.

Ленинградцы тянулись к Неве еще и потому, что на реке располагалось множество плавучих ресторанов с коктейль-барами. Помню такие напротив Академии наук. Напротив Адмиралтейства. Рядом со стадионом имени Ленина, ныне «Петровским». Почти с каждым из этих общепитовских учреждений связана какая-нибудь занятная история.

Вспомню одну из них. Это уже начало 70-х. Дабы обрести полную свободу, я перевелся на заочное отделение, хотя продолжал иногда ходить на лекции с дневниками. Несколько прогрессивных студентов с волосами до плеч, среди которых я точно помню Олега Савинова, имеют задолженности по летней сессии. И вот в начале июля мы сдаем последний экзамен, получаем на руки зачетки, начинаем, довольные, фланировать по Васильевскому острову в поисках развлечений. Заканчиваем историю в плавучем коктейль-баре напротив Академии наук. После очередного коктейля Олег неожиданно сообщает: «Сегодня же четвертое июля, американский национальный праздник. А я утром видел объявление на столовой, что группа американских студентов-практикантов приглашает всех ленинградских студентов на вечеринку. Кроме нас тут никого. Поддержим честь советского флага».

Нас человек пять. Мы хоть и опасаемся идти на встречу с американцами, но после коктейлей решаемся на вольнодумство. В конце-то концов, звали всех желающих!

Огибаем Двенадцать коллегий и входим в столовую номер четыре. Мы волосатые и джинсовые, как американцы. Никто нас не задержал, и мы на вечеринку проникли. В полумраке столовой под ударные песни группы «Криденс Клиарвотер Ревайвал» вытанцовывало несколько дюжин молодых людей. Узнавались в

гуще и советские студенты. Это были моложавые парни в строгих костюмах, что-то вроде студенческого спецактива-спецназа. Думаю, это танцевало, создавая благожелательный имидж Родине, все нынешнее руководство Российской Федерации. Ведь и Путин, и Патрушев, и много кто еще учились в Ленинградском университете в одно со мной время. Вечеринка проходила предельно демократично. Но когда кто-то из нас заговорил по-русски, либерализм закончился. Спецактив-спецназ нас вычислил и с вечеринки вытурил. Впрочем, без каких-либо последствий.

Замечательная история с еще большим музыкальным содержанием связана с плавучим баром-рестораном «Корюшка». Он, как я уже говорил, располагался напротив Академии художеств. Эта веселая история произошла осенью 1971 года. Возможно, я несколько забегаю вперед в своих воспоминаниях, но, если начал рассказывать про жизнь на Неве, вспомню и ее.

Несмотря на довольно жесткий советский режим, рок-музыка пустила в Ленинграде основательные корни. Образовалось множество музыкальных групп, которые, когда не удавалось играть официально, участвовали в разных полуподпольных концертах.

Мой тогдашний приятель Вова Пинус взялся провести встречу с Марылей Родович, настоящей звездой польского фолк-рока, приехавшей в Советский Союз на гастроли. Ее сопровождала группа «Тест». Этот добрый малый Вова Пинус арендовал на ночь мою группу «Санкт-Петербург», Марылю и «Тест». А заодно и плавучий разухабистый ресторан «Корюшка», успешно несший гастрономическую культуру в широкие народные массы. По ресторанным правилам следовало закусывать. Администрация ресторана предложила Пинусу оплатить сто ресторанных посадочных мест по семь рублей за место. Пинус составил списки и ходил по городу, собирал деньги с желающих. В «Корюшке» на семьсот рублей обещали нарубить салатов, выставить шампанского и вина. Соорудить, одним словом, молодежный банкет.

Молодежь начала съезжаться к одиннадцати, и приехало нечесаных любителей гитарной музыки человек пятьсот. Столы были бесцеремонно отодвинуты, фанаты стали просто рассаживаться на пол. Полякам обустроили специальный кабинет. Для разогрева публики «Санкт-Петербург» грохнул ритм-энд-блюзовой увертюрой, и веселье завертелось. Марыля Родович, звезда все-таки европейского класса, посматривала на валявшихся советских рок-н-ролльщиков с неподдельным интересом, не предполагая, должно быть, увидеть подобное на чопорных невских берегах.

Через некоторое время «Тесту» тоже захотелось покрасоваться, и они после увертюры «Петербурга» ударили по джаз-року. Выдающаяся встреча проходила на втором этаже «Корюшки». Сцена находилась возле лестницы. В начале первого, когда «Тест» уже вовсю шуровал в упругих дебрях джаз-рока, а любители изящного, словно древнеримский легион опившихся наемников, кровожадно кричали в наиболее упругих тактах хромого пятичетвертного ритма… В начале первого по лестнице поднялось с десяток милиционеров. Их командир посредством мегафона предложил, чтобы «Тест», Марыля Родович, местная банда «Петербург» и валявшиеся на полу волосатые фанаты покинули помещение ресторана.

Другими словами, «Корюшка» трудилась по закону до полуночи, и в ресторане, видимо, решили просто присвоить большую часть собранных нами семисот рублей.

Предполагался ночной рок-сейшен. Все собрались к одиннадцати, в двенадцать «Корюшка» закрывалась, и ее умелые работники вызвали наряд, дабы укротить разошедшихся клиентов.

«Ресторан закончил работу. Па-прашу!»

У барабанщика «Теста», который никак не мог съехать с хромого пятичетвертного размера, милиционеры конфисковали барабанные палочки.

Академичка закрывалась в 17.00. Студенты, ищущие светских развлечений и задушевных бесед, волей-неволей оказывались на Невском проспекте.

Что ж, пройдемся по ленинградскому проспекту вместе со мной.

Ближайшим местом для знающих толк в общении оказывался кафетерий, находившийся на углу Невского и улицы Гоголя. Там многие годы в роскошном здании работали кассы «Аэрофлота», а до революции располагался Банкирский торговый дом Вавельбергов. Для него в 1912 году по проекту архитектора Перетятковича построили зал в стиле неоренессанс. Действительно, простой ленинградский покупатель авиабилетов под его сводами ощущал себя если не флорентинцем Лоренцо Медичи, так уж как минимум венецианским дожем.

На втором этаже касс имелось уютное кафе, одно время довольно посещаемое место. Напомню тем, кто забыл: мобильная связь развилась только в последние десять – пятнадцать лет. В годы моей молодости днем или ранним вечером созвониться с кем-нибудь было почти невозможно. Приятелей можно было просто встретить, переходя из одного популярного места в

другое. Кафе «Аэрофлота» просуществовало буквально до наших дней, потеряв, конечно, культовое значение. В середине нулевых я там случайно оказался, удивился, заказал кофе, который варили в аппарате, похожем на тот самый прежний, венгерского производства. Кофе варил мужчина лет пятидесяти. Он мне по-свойски подмигнул и за кофе денег не взял…

Первокурсники о настоящих ресторанах не помышляли и ходили в кафе. Хотя нынешний популярный краевед Лев Лурье, с которым мы в одно время учились в университете, со стипендии, поговаривали тогда, любил посещать ресторан «Кавказский» и смотреть, как вытанцовывают лезгинку пьяные советские капитаны и майоры. «Кавказский» славился своей кухней. Он занимал этаж дома на углу Невского и бывшей улицы Плеханова. Теперь вместо культового ленинградского ресторана магазин «Стокманн». По крайней мере, находился там еще недавно…

Любили и студенты, и бабушки с внучками, и гости Ленинграда пышечную рядом с театром Эстрады на улице Желябова, нынче Большой Конюшенной. Пышечные в буржуазном Петербурге как вид выжили…

За рестораном «Кавказский» открывался вид на Казанский собор. В молодости я считал себя поэтом и вот что написал лет сорок тому назад:

Кутузов, князь Смоленский, указал
Своей рукой на меркнущий закат,
Который миллионами карат
Пытался оживить его глаза…

Фонтан напротив щебетал пустое —
Водопроводный монолог воды.
Фельдмаршал снова, над проспектом стоя,
Считал домов гвардейские ряды.

А справа виден силуэт Барклая,
Он правый фланг держал в Бородино.
Пусть не для славы пал Багратион,
Но жаль, что слева только лишь пивная…

Действительно, на канале Грибоедова, на траверсе двух памятников, в начале 70-х открыли пивной зал, возле дверей которого вечно толклась очередь.

Лично я против того, чтобы нынешней православной церкви передавали здания и соборы, которыми они когда-то управляли. Переходя в собственность конкретного юридического лица, эта

собственность фактически отторгается у населения. Какой прекрасный Музей религии и атеизма работал долгие годы в Казанском соборе. Туда пускали без билетов. Это был целый праздник – всем классом с учительницей приехать в центр с городской окраины. А после музея купить мороженое. И не торопясь возвращаться домой. К самому Казанскому собору можно было всегда подойти вплотную и посидеть на его историческом граните. В садик перед собором публика заходила прямо с проспекта. Перед привычной оградой из цепей, прикованных к столбикам, теперь установили еще один аляповатый заборчик, к фонтану просто так не подойдешь. Да и само здание отгорожено от мирян. В Казанский собор можно зайти лишь с культовыми целями.

Сохранилась в моей памяти занятная история. Она имеет отношение к более позднему периоду, концу 70-х. Но коль уж я вспомнил в программе Казанский собор, то позволю себе некоторый временной скачок.

В группе сокурсников к концу обучения в университете выделилась компания веселых маргиналов. Кое-кто доучился до диплома, у кого-то не получилось. В любом случае, некоторые из моих веселых товарищей не собирались приносить пользу социалистическому отечеству. Если кто и работал, то где попало, осваивая экзотические профессии. В свободное время бывшие коллеги предавались Бахусу. Дабы минимизировать риск попадания в милицию, один из них, назовем его условно О., всегда отправлялся на дружеские попойки с портретом тогдашнего руководителя государства Леонида Брежнева. Если на входе в метро О. излишне шатался и его тормозил милиционер, приятель показывал милиционеру портрет. Объяснял, что работает художником и ему к утру срочно нужно сделать с портрета копию, пририсовав генсеку новую звезду Героя социалистического труда.

Тогдашний лидер Советского Союза, старея и постепенно впадая в маразм, проявлял все большую и большую склонность к наградам. Ему их постоянно и вручали.

У художников всегда имелась работа по перерисовыванию орденов на груди генерального секретаря компартии.

У лжехудожника был приятель, тоже из бывших студентов. Назовем его А. Эти А. и О. вот как отличились.

Сперва молодые люди, знатоки законов Хаммурапи и кодекса Юстиниана, вкалывали трубочистами на Петроградской стороне. Но это оказалась хоть и средневековая, но довольно тяжелая работа. Тогда им удалось устроиться ночными сторожами в дом-музей Александра Пушкина на Мойке. Там они продолжили свои

вакхические бдения. Как-то утром экскурсовод обнаружила на письменном столе гения пустую поллитровку, огурец, а на диване женские трусы. Экскурсантам, шахтерам из Донбасса, экспозиция понравилась. Старушка пушкиновед показывала шахтерам на диван, где скончался поэт.

«„Морошки, морошки“, – просил поэт», – говорила старушка со слезами на глазах.

А туристы стали смеяться над трусами и бутылкой. В итоге историков-хулиганов с работы выгнали.

Вот тогда А. и О. переместились в Музей религии и атеизма. Оформили их на должности сантехников, хотя исполняли они просто подсобные работы. В Казанском соборе имелся замечательный отдел музея, пыточный зал, любимый всеми школьниками Ленинграда. В полуподвале музея собрали коллекцию приспособлений, которыми христианская инквизиция мучила еретиков. Помню всевозможные «испанские сапоги», клещи и железные маски. Они не просто размещались в витринах. В пыточном зале устраивали настоящие реконструкции. Восковой монах в плаще с капюшоном что-то записывал гусиным пером. Над врагом Церкви склонились инквизиторы…

В бытность работы там А. и О. пыточный зал ремонтировали, и экс-студенты облюбовали его для банального пьянства среди бела дня. Однажды к ним примкнул местный сантехник. После возлияний дело закончилось социальным конфликтом. Интеллигенты в третьем поколении надели на трудягу железную маску и стали «пытать», наливая через воронку портвейн. Сантехник радостно заглотал три бутылки, заснул и захрапел. Только тогда классово чуждые элементы оставили сантехника в покое, но через час тот очнулся и стал в ужасе метаться, вскрикивая: «Где я?! Где я?!» Маску заклинило. Сантехник в железной маске выбежал из закрытого для посетителей пыточного зала к мирным туристам. И тут ему стало плохо. Портвейном, закуской и желудочным соком поливал сантехник всех подряд…

Если перейти проспект и пройти по Невскому на восток, то скоро слева можно увидеть полуподвальчик, в котором торгуют пирожными. Это «Север». Название сохранилось с далеких советских времен. Над нынешним подвальчиком в конце 60-х находилось знаменитое кафе. Осенью 69 года я участвовал там в знаковой драке.

Ленинградские драки

И вот я дошел, припеваючи, по Невскому проспекту своей молодости до кафе «Север». И тут мне захотелось рассказать о ленинградских драках. У этого желания есть все основания. Но для сохранения хоть какой-то хронологии я вернусь в ленинградские драки своей подростковой поры.

Советский Союз, несомненно, являлся империей, которая со своей главной задачей до поры до времени справлялась. А задача была такая: безопасность для народов ее населявших. Да, жизнь в советском государстве протекала мирно. Речь идет, конечно, о послевоенном времени. Понятное дело, личностные конфликты происходили, народ норовил иногда дать друг другу по морде, но драки случались обычно с человеческим, так сказать, лицом.

Когда наша семья жила на Кирочной улице, в соседнем дворе, где гуляли дети, и в первых классах 203-й школы, где я учился, актов насилия не случалось. Когда я переехал на улицу Замшина, то первые мои страхи оказались связаны с хождением по выходным на детские утренники в кинотеатр «Гигант». Местное хулиганье подлавливало малолеток возле касс и отнимало ту мелочишку, с которой приходили в кинотеатр школьники. Лично я хулиганов видел лишь издали. И думаю, если б подростковая тирания носила тотальный характер, то родители облапошенных школьников ситуацию бы поправили.

Лично я впервые подрался классе в шестом. Меня постоянно донимал на переменах ученик соседнего класса. Когда он попрал мою гордость ударом своей ноги в район моих ягодиц, кровь, как говорят, ударила в лицо, я стал махать руками и разбил в кровь губу обидчика. До сих пор помню то потрясение: «Я ударил человека!»

На первых летних спортивных сборах, лет в тринадцать, меня достаточно жестоко преследовал один парень. Он был постарше и физически сильнее. В отчаянии я полез с ним в драку и оказался побит. С синяками на следующий день появился на стадионе. Тренеры стали расспрашивать, случился даже некоторый переполох. Имя обидчика я не назвал, но его все равно вычислили и со спортивных сборов изгнали.

Настоящую драку я увидел уже в десятом классе, когда в роли барабанщика я поехал в компании дворовых работяг, составивших коммерческий ансамбль, играть на танцы за город. После я перешел на бас-гитару. Всего в поселке Пери мне выпало музицировать раза три. Вот что я начертал чуть позже, подводя итоги тех поездок:

«Иногда в пригородах бывает совсем плохо. А плохо – это когда бьют музыкантов. В иных местах бьют просто приезжих. В иных – приезжих, которые посмели танцевать с местными девчонками. Практически везде норовят съездить кому-нибудь по зубам. Но бить музыкантов – последнее дело.

В тот раз ровно в восемь, сотворив синкоп, барабанщик пробежался палочками по барабанчикам. Я дернул толстую струну „ми“. В конце такта запела серебряная птица нашего трубача. К девяти часам две сотни ног, послушных заданному ритму, топали по дощатому полу.

В антракте взмыленная толпа поселковой молодежи повалила на улицу курить и приложиться к горлышку. В осенней темноте слышался гогот. Кого-то дубасили, гоняли по чавкающим лужам.

Наш фронтмен, гитарист и певец с лицом, похожим на Муслима Магомаева, сделал стратегическую ошибку, не дав гитару местному заводиле. Тот, здоровый рыжий парень, хотел подняться на сцену и спеть что-нибудь блатное. Рыжий сконфузился и затаил злобу. И еще фронтмен заговорил с местной красавицей, подружкой Рыжего…

В очередном перерыве наш трубач, мужчина довольно пожилой, лет тридцати пяти, продул мундштук, поправил микрофонную стойку и сказал Муслиму:

– Если хочешь получить, то сразу попроси, а то после танцев и нам накостыляют.

– Что же, теперь и поговорить нельзя? – возмутился фронтмен.

Перерыв закончился.

– О, Сюзи Кью! – заголосил наш коммерческий ансамбль. – Бэби, ай лав ю!

Трубач мрачно смотрел, как вокруг сцены роятся дружки Рыжего.

– Я не мальчик, – прохрипел трубач прокуренными связками между песен. – Я приехал сюда получить червонец, а не потерять зубы…

Танцы закончились, и мы стали собираться. Мне было удобнее возвращаться на автобусе. Но на последний автобус я опоздал. Тогда я поспешил на электричку, еще был шанс успеть.

Лампочки на столбах метались от ветра. Моросил дождик. Я бежал по лужам, засунув руки в недра карманов. Гитара, укрытая брезентовым чехлом, была переброшена через плечо и аритмично колотила по позвоночнику.

„…Бэби, ай лав ю! Бэби, ай лав ю!“ – автоматически напевал мозг.

На платформе я и увидел, как местные лениво колотят

Муслима. Трубач был уже повержен, а барабанщик еще отбивался барабанными палочками. Слабо понимая происходящее, я машинально пел про себя „бэби, ай лав ю“.

– Много, падлы, выступали, понтили и выпендривались, – констатировали обвинение верзилы Рыжего.

„О, Сюзи Кью, – подумал я, удивляясь увиденной схватке и не имея сил укротить кипевший в крови после сцены адреналин, перехватил гитару за гриф. – Бэби, ай лав ю!“

Верзил было пятеро, а я один, потому что наш ансамбль сломали и физически, и морально.

Тяжелой доской электрогитары я стал размахивать налево и направо. Верзилы только ойкали. Получив несколько раз по кумполу от хулиганов, я решил покинуть место сражения с помощью спринтерского бега, благо звание мастера спорта позволяло. Потом избитый ансамбль прятался в кустах, поджидая первую электричку до Ленинграда…»

Уже став рок-старом, мне приходилось несколько раз играть на границе, так сказать, города и деревни. Местные всегда старались вычислить городских и отметелить их из чисто сословных предрассудков. Например, в поселке Тярлево в 1971 году прошел мощный для тех лет фестиваль с участием десятка лучших ленинградских групп. Естественно, городские парни и девушки приехали на электричке в большом количестве. По пути от железнодорожной станции к клубу и обратно разворачивались настоящие сражения. Первоначально разрозненных горожан гоняли по свекольному полю, валяя среди ботвы, затем городские, объединившись в батальоны, проделали тоже самое с местными.

Искусство требовало жертв.

Однако вернемся в Ленинград, на его блистательный Невский проспект. На Садовой улице, рядом с нынешней кулинарией «Метрополь» находилось кафе с благозвучным названием «Лакомка». В двух зальчиках с официантками в конце 60-х было модно студентам первых курсов проводить вечера. Получалась такая своеобразная школа светского этикета. Бутылка красного вина стоила три рубля. Подавали курицу с рисом. Короче, ничего выдающегося. Одно время я туда хаживал, поскольку там появлялись мои новые приятели, и я с ними, скажем так, точил лясы. Осенью 1968 года я достал потертое пальто, сшитое из грубой свиной кожи. Настоящий шик! Весило оно килограммов пятьдесят, но вызывало зависть у окружающего пространства. В этом самом пальто я отправляюсь в «Лакомку». Открываю двери и вижу следующую сцену. Моих пьяненьких однокурсников А. и О.

держит за грудки здоровенный детина и стучит их головами по стенам.

– Молодой человек! – вскрикиваю я возмущенно. – Немедленно прекратите безобразие и отпустите моих друзей. Иначе вам придется иметь дело со мной!

– Ага! – реагирует детина и отпускает пленников, которые медленно сползают на пол.

Агрессор приближается. Я вижу, какая у него накачанная шея и широкие плечи. Мгновенно настигает ужас. Я отступаю. Он как бы выдавливает меня в двери на Садовую улицу.

Здоровяк протягивает руку и одним движением отрывает половину моего кожаного пальто. Напрочь забыв о своих выдающихся спортивных результатах, я в ужасе дергаю ногой, проводя мая-гири здоровяку в пах. Это если говорить по-каратистски.

– Ой, – всхлипывает качок и садится на корточки.

В дверях появляются А. и О. Мы как зайцы убегаем в метро…

В начале ноября 1969 года произошла в моей жизни гносеологическая драка, о которой я просто обязан рассказать. Четверо парней, Михаил, Алексей, Саша и я, тренькали на гитарах в гобеленовом зале Высшего промышленного училища имени Веры Мухиной. Если не идти наперекор исторической правде, то гитарным бацаньям в высших учебных заведениях не препятствовали. Наоборот! Каждый студенческий профком хотел, чтобы в его учебном заведении имелся свой ансамбль.

Наша банда еще ничего не умела. Да и названия не имела. А тут на репетиции я настоял, чтобы назваться поп-группой «Санкт-Петербург». В итоге все согласились, и после репетиции наша четверка отправилась на Невский проспект в кафе «Север» отпраздновать выбор названия и обсудить славное будущее. Да! Еще с Лешей была невеста.

Мы расположились в кафе, заказали бутылку шампанского и стали обсуждать несомненные перспективы своего ансамбля, который, впитав все лучшее у битлов и роллингов, поразит, конечно же, воображение окружающего мира. Из-за соседних столиков на нас хмуро посматривали завсегдатаи. То есть фарцовщики и «грузины». Кстати, всех состоятельных выходцев из южных республик называли почему-то грузинами. Завсегдатаи с аккуратными прическами носили пиджаки в клеточку и разноцветные рубашки. А мы бросались в глаза своей неухоженной лохматостью. Семиотическое неприятие нашего появления обернулось вот чем. На выходе в гардеробе начали получать одежонку. Воспитанный Леша стал ухаживать за невестой. Подал пальто. Вокруг собралась, демонстративно

матерясь, компания фарцовщиков и грузин.

– Вы не могли бы перестать браниться? – произнес вежливый Леша.

– Ах, браниться, – раздалось со стороны компании, и она стала надвигаться.

Опыт страха у меня уже имелся. Я с разворота ударил ближнего и бросился в гущу наступавших. Вокруг мелькали руки и ноги. На мне висело человек пять. Я отмахивался гитарой «Иолана» и вопил как берсерк. Леша так и стоял с пальто в руках. Саша методично бил фарцовщиков по зубам. А Михаил даже не успел ничего предпринять, как сражение закончилось нашей рок-победой. В начальной стадии в «Санкт-Петербурге» играло несколько моих приятелей по легкоатлетической сборной. Одно время на басе подвизался метатель молота Юра Баландин, теперь заслуженный тренер России.

Мы выскочили на Невский проспект разодранные, но счастливые. Славное будущее было окроплено хотя и не нашей, но кровью.

Помню схватку возле пивного бара «Жигули» на Владимирском проспекте. Случилось как-то мордобойное дело у дверей кафетерия на углу Литейного проспекта и улицы Некрасова. Каждый раз мне помогала отбиваться от антагонистов гитара «Иолана». Эту чешскую электрическую доску за сто тридцать пять рублей в специализированном магазине у метро «Маяковская» мне купила мама. Так она поддержала увлечение сына.

Окружающий мир нападал на меня из-за моего внешнего вида. Смешно, но это именно так.

И еще раз была доказана аксиома мужских взаимоотношений, выраженная в уличном лозунге «Бей длинного!». Обладая довольно высоким ростом, в котором, собственно говоря, виноват не я, а мой гипофиз, я имел и имею постоянно проблемы с мужским окружением…

А вот что мне рассказал при встрече знаменитый байкер из Пскова Александр Бушуев.

«Я учился в Ленинградском речном училище в начале 80-х. Массовые драки были чуть ли не еженедельным событием. В основном дрались у ДК моряков на Двинской в двухстах метрах от училища. Обычно в пятницу-субботу вечером после отбоя в роту заваливал какой-нибудь побитый браток с воплем: „Наших бьют!“ И все, кто не в увольнении, бежали, наматывая ремни на кулак и застегивая штаны… Дрались в основном со „шмонькой“. Так называлось соседнее училище, где обучались будущие матросы и мотористы. В „шмоньке“ обитали взрослые парни,

прошедшие службу в армии. А наши все – недавние школьники. Силовой перевес был на их стороне. За год до моего поступления случилась очень мощная драка в ДК им. Горького. В Доме культуры билось около тысячи морячков. Кончилось тем, что, отступая в сторону Автово, наши курсанты перевернули трамвай и несколько милицейских „бобиков“. Британское Би-би-си назвало это событие „восстанием черных кадетов“. Начальник училища на следующий день построил всех на плацу, дал команду „На первый-второй рассчитайсь!“ и уволил каждого второго…»

В те годы мы дрались каждые выходные на танцах в ДК работников связи. Отбивали пространство и барышень у студентов Лесгафта и курсантов Военного училища им. Попова… Изредка приходили за «угощением» студенты ЛГУ… С ними было проще всего.

А вот история Ольги Покуновой. В годы правления Михаила Горбачева она пела в бэк-вокальной части рок-банды «Санкт-Петербург».

«Может, кто-то помнит, как в начале 80-х появился в Ленинграде так называемый Отряд активного действия, ОАД. Среди прогрессивной молодежи ходили страшные слухи: тут кого-то побили, там кому-то волосы обрезали. Лютовали вообще как подмосковные любера. Короче, иду я однажды по Невскому с двумя сайгоновскими приятелями Тони и Горой. Ни к хиппи, ни к панкам мы не относились. То есть свой альтернативный взгляд на жизнь внешне проявляли слабо. Тони – красавчик типа „хеллоу, Элвис“, а Гора просто здоровенный и добрый детина. Я же – блондинка эстонского типа, у меня и кличка имелась Хельга. И только мы начали обсуждать тему ОАДа, как видим – нам навстречу идут парни, на рукавах красные повязки, а на них белым написано не ДНД (Добровольная народная дружина), как обычно, а это самое странное ОАД. И получилось, что не они нас, а мы их затормозили. Тони своим прекрасным баритоном вежливо так спрашивает:

– Ребята, а кто это вы такие и что это у вас за повязки?

Ребята отвечают:

– Мы члены Отряда активного действия, очищаем любимый город от всякой дряни.

– А от какой такой дряни? И как вы его очищаете? – не унимается Тони.

– А мы, – говорят, – ловим и бьем всяких там хиппи и панков.

Тут Гора берет их обоих за шкирки и тянет в подворотню со словами:

– А мы, ребята, и есть хиппи и панки. А ну пойдем нас бить.

Меня, как девочку, снаружи на стреме оставили. Поэтому я только и видела, как сначала из подворотни выбежал один ОАД, а минут через пятнадцать второй. Оказывается, они сначала возмутились, что силы не равны, и пригрозили позвать подмогу. Первого сразу за подмогой и отпустили. А второй просто сел на асфальт и заплакал. Пришлось и его отпустить с миром. Вот такая странная история про драку, но без драки…»

Бытовые традиции советских драк еще никто и нигде не описывал. Будем надеяться, что этот краткий экскурс подтолкнет краеведов. В заключение скажу, что:

1. Драться нехорошо.

2. Без драк, хоть в минимальном объеме, ни одна молодость не проходит.

3. Драки в ленинградское время проходили без смертоубийств. Потому что народ был добрее и потому что оружия на руках не имел.

Кафе «Сайгон»

Прошло столько лет. Мне уже и не стыдно, что в середине 70-х я считал себя поэтом.

Я иду через Аничков мост.
Вдоль гранитов щербатых.
Скоро кофе мне пить.
Невский толпами плотно забит.
Букинист разложил свои книги.
И хозяйки толпятся у лавок.
Пересуды, улыбки и крики.

На изгибах стены
Ветер треплет случайные блики.
Ремонтируют дом.
И афиши вопят о гастролях.
Мне навстречу идет старичок.
Он сердит и расстроен.
Плачет внук,
И трясутся у дедушки руки.
Обгоняя, спешит
Представитель советской науки.

Скоро шесть.
Стрелок жесть. Словно жезл – восклицательный знак.
Угловые дома
Смотрят в блюдо настенных часов.
Сам проспект как удар восклицаний.
Вой сирен, град шагов, скрип рессор.
Многотысячных лиц кинокадр.
Это жизнь!
Синих джинс пляшут старые клеши.
Скоро шесть.
Разговоров незримая сеть.
Пыль, как сто паутин, на домах.
Говорят, говорят о делах,
О вещах, не имеющих смысла.
О картинах, стихах и квартирах,
О прошедших веках.
О неоне, который не вечен
И похож на огромные свечи,
На растопленный воск…

Всевозможные слышатся речи.
Я иду через Аничков мост!

Что за странное, присущее лишь бывшей имперской столице место, кафетерий при ресторане «Москва», получивший народное название «Сайгон»! Явно в честь американо-вьетнамской войны, разразившейся в 60-е годы прошлого столетия. Открылся кафетерий осенью 1964 года и стал кульминацией кофейной революции в Ленинграде.

В городе, живущем на параллелях и перпендикулярах, на угол Невского и Владимирского проспектов вы попадете почти всегда. По делам ли стремительно рыщете или праздно гуляете в одиночестве. «Сайгон» являлся, собственно, частью ресторана «Москва», который занимал сразу три этажа углового дома. Со дня открытия «Сайгон» стал местом сборища всякой артистической публики. Хрущевская «оттепель» еще не растратила своего сладостного демократизма, хотя самого Никиту Сергеевича в октябре 64-го отправили в отставку.

«Сайгон» являлся довольно объемным и коридорообразным пространством. Одной стороной сквозь большие окна он смотрел на Владимирский проспект. Противоположная стена первоначально была расписана какими-то озорными петухами в народном стиле. Перед петухами располагалась стойка с кофеварками. В дальнем конце заведения продавали люля-кебабы. У входа же имелся бар, где наливали коньяк. При входе на стене висел телефонный аппарат, как правило, не работающий.

О феномене «Сайгона» можно долго говорить и проводить конференции. С моей же точки зрения, причина появления такого необычного места связана с отсутствием светской жизни в городе на Неве. Ее, собственно говоря, и сейчас нет. В какие общественные места можно было заявиться молодому человеку, студенту, где у него имелся бы шанс пообщаться со сверстниками или более старшими товарищами или послушать какого-нибудь интересного гостя?

Имелись, конечно, разные Дома писателей, актеров, архитекторов и журналистов. Там что-то иногда происходило за закрытыми дверями, но в недостаточном все-таки объеме.

А тут – абсолютно бесцензурная территория в центре города.

В кафетерии появилась уйма молодых поэтов, всклокоченных ниспровергателей, и художников, заново осваивающих умерщвленный, казалось, русский авангард. Явились доморощенные философы, нервные и бледные. Богема, одним словом, сходилась на главном перекрестке за чашкой кофе. Тогда

еще особо не пьянствовали, хотя это можно было сделать легко – на перекрестке работало сразу два гастронома с винными отделами…

Про «Сайгон» уже написано много, снимались телепередачи. Поэтому я стану придерживаться личных воспоминаний.

Первый мой заход туда состоялся поздней осенью 1967 года. Став первокурсником, я завел в университете новых друзей. Как-то после закрытия академической столовой, где я часто проводил время, сокурсник предложил мне съездить в одно место.

– Что за место такое? – поинтересовался я.

– Сам увидишь, – ответил студент. – Там ужас что говорят!

До главного перекрестка мы добрались минут через пятнадцать. Запомнилась толкучка и бесконечная очередь, в которой нам пришлось постоять. Приятель тут же влез в беседу тех, кто стоял перед нами. Они говорили про иконы, произносили слово «онтологический». Нас, семнадцатилетних, вежливо, но настойчиво отшили.

Вокруг происходило что-то необычное. Таких типажей в таком количестве и в одном месте я еще не видел. Место я запомнил и стал туда наведываться регулярно. Рядом на Фонтанке находились учебные залы Публичной библиотеки, где мне приходилось готовиться к экзаменам или корпеть над курсовыми. Часто я тренировался и выступал на соревнованиях, проходивших на Зимнем стадионе – тоже рукой подать до «Сайгона». Да и возраст подталкивал к поискам новых впечатлений.

Где-то в 1968 году у меня началось хроническое хиппование. Группа таких как я, подружившихся в «Сайгоне», после девяти вечера, когда кафетерий закрывался, отправлялась в салон мадам Клары. Девушка с таким именем работала дворником в доме на Литейном проспекте, ближе к улице Пестеля, и имела служебную комнату. Там сидели и болтали до последних трамваев. Не помню уж и о чем. В доинтернетную пору всякие новости доходили в виде устных рассказов и сплетен. У Клары имелась гитара, и я что-то на ней сыграл, сорвав аплодисменты. Это был, кажется, хипповый международный хит того года «Иф ю гоуинг ту Сан-Франциско…».

В далеком таинственном недостижимом Сан-Франциско в конце 60-х все хиппи и тусовались.

Короче, будучи человеком социально вполне успешным, я с головой ушел фактически в маргинальную среду.

Скажу еще раз: «Сайгон» поражал людьми, которые там толклись.

Посещение заведения складывалось, как правило, из трех

главных фаз. Первым делом следовало встать в очередь к кофейному агрегату. В ней можно было простоять бесконечно долго. Постоянно подходили люди к тем, кто находился перед вами, протягивали мелочь и просили взять маленький двойной. Цена на кофе медленно поднималась, достигнув ко второй половине 70-х своего максимума – 28 копеек за маленький двойной. Кроме кофе тут продавались и пирожные, но для постоянной публики есть пирожные считалось не комильфо.

Получив кофе, следовало пристроиться за столик. Первое время «Сайгон» заполняли обычные столики со стульями. Борясь с постоянной публикой, столики со стульями убрали, заменив их на высокие столы без стульев. Отдельные персонажи проводили в кафетерии по нескольку часов стоя. Когда освобождалось место на низеньком подоконнике, садились на подоконник. Но иногда с чашкой кофе просто выходили на улицу.

Потолкавшись в «Сайгоне», следовало прибиться к какой-либо компании и отправиться в интересные гости, на вечер поэзии или просто в садик выпивать с друзьями.

Вот типичная сцена из внутреннего быта кафетерия.

За столиком расположилась парочка, влюбленные альтруисты-второкурсники. Друг на друга им не надышаться, рука в руке, улыбаются, словно идиоты. Шаркая полиомиелитными ногами, к столу подбирается Витя Колесников по прозвищу Луноход или Колесо, раскосый заика, прохиндей и профессиональный побирушка. В церковные праздники он напяливает подрясник и у Никольского собора просит милостыню, набирает мешок мелочи, пропивает набранное. А в будние дни побирается в «Сайгоне», но уже с видом хозяина и завсегдатая, спекулируя на чувствах влюбленных альтруистов.

«На-на кофе не ба-а-агаты?» – спрашивает Луноход у студентов.

Альтруист механическим движением свободной от объятий руки достает из кармана куртки горсть всех своих нехитрых накоплений и протягивает Луноходу ладонь, полную мелочи. Возьми, мол, сколько надо. Хромуша медлит, шаркает возле стола, двадцати восьми копеек на чашку двойного не берет, но поступает как истинный профессионал, владеющий основами психологии. Он протягивает руку ладонью вверх и останавливает ее вровень с ладонью, полной мелочи. После мгновения нерешительности альтруист начинает медленно пересыпать мелочь Луноходу и пересыпает всю под счастливым взором влюбленной альтруистки, оставаясь без единой копейки, но сохраняя бодрый идиотический вид.

До 1970-го я мало с кем из местных знаменитостей мог

общаться. Но хорошо запомнил поэта Константина Кузьминского. Такой лохматый и бородатый дядька, несколько сутулый, с огромным посохом в руке. Переехав позднее жить за океан, Кузьминский издал многотомную антологию неофициальной ленинградской поэзии под названием «Голубая лагуна», в которой положительно отозвался и о песнях моей рок-банды «Санкт-Петербург». Оказывается, он несколько раз приходил на наши выступления и внимательно вслушивался в песни.

Показали мне и другого поэта – тонкого, ухоженного, с восточным лицом, ходившего не с посохом, а с тонкой тросточкой. Его звали Виктор Ширали. Был поэт несколько надменен, прихватывал девушек всех подряд.

Познакомился и много беседовал я с человеком, который представлялся как Славко Словенов. Довольно высокого роста, худой, с вытянутым лицом, носивший шляпу и куривший сигареты через мундштук.

Славко переводил рубаи Омара Хайяма: чем-то ему уже существовавшие переводы не нравились.

В те юные годы я выпивкой не интересовался, популярным гитаристом до осени 1970-го не был и поэтому для более старших сайгонавтов интереса не представлял.

Но сложилась группа сверстников – с ними я по-настоящему дружил. Выделялся в ней Миша Генделев, студент медицинского института, человек импульсивный, постоянно читавший свои стихи. И написавший на тот момент даже поэму. Было нам лет по восемнадцать-девятнадцать. Роста Генделев небольшого, вечно нападал на меня, дылду, с вопросом: «Скажи, скажи! Как правильно пишется – экзистенциализм? Или экзистенционализм?»

Он так тогда меня запутал, что я и теперь не знаю.

После пути наши разошлись. Генделев отправился в Палестину, где ему пришлось побывать санитаром в танковом батальоне. Я его не видел несколько пятилеток. Встретились мы, когда страной уже управлял Михаил Горбачев. Была весна. Я стою во дворе Ленинградского рок-клуба на улице Рубинштейна и греюсь на солнышке. Вдруг из арки появляется фигура в желтых штанах. Человек подходит и останавливается. Я разглядываю темное лицо с узкой бородкой, узнаю в подошедшем старого приятеля и не нахожу ничего лучшего, как произнести глупость: «Ну ты и загорел!..»

Бродил по «Сайгону» неопрятно одетый и небритый человек, ну типичный уголовник. Подходил ко мне, заводил разговоры. Я от него уворачивался как мог. Казалось, еще чуть-чуть и что-нибудь украдет. Позже я узнал, что это поэт по фамилии

Безродный.

Постоянно я видел в «Сайгоне» и крепыша с усами Геру Григорьева. Он сочинял исторические драмы в стихах, но этих драм никто не видел. Жил Гера не поймешь где, фактически бомжевал.

В значительной степени называться поэтом оказывалось своеобразным оправданием перед собой и миром за бесцельное существование. Большинство из таких поэтов ничего не создали. Хотя, конечно, в «Сайгоне» появлялись и фигуры в будущем мировой известности. Иосиф Бродский хотя бы. Живший неподалеку писатель-алкоголик Сергей Довлатов заходил сюда. Впрочем, не рассуждать о литературе. А просто выпить.

Поэтическая элита облюбовала другое место – кафетерий на Малой Садовой. Если свернуть с Невского проспекта за Елисеевским магазином и пройти метров пятьдесят, то вы окажетесь у здания, где ковалась литературная история. От того кафетерия, а точнее, кулинарии не осталось и следа. Там выделялся поэт Владимир Эрль, высокий худощавый человек с крупными чертами лица и висячими усами. Я его знал только в лицо. Говорили, будто он работает продавцом в газетном киоске. И действительно я видел его в киоске возле гостиницы «Европейская».

Понятное дело, публику «Сайгона» составляли не только поэты. Сюда заходили прохожие или туристы просто перекусить. Тут появлялись всякие прелестницы в надежде познакомиться, и у многих это получалось. Здесь же встречались в алкогольных целях всякие веселые компании без особых поэтических поползновений. Вокруг молодых пьяниц из профессорско-академических семей, таких как Коля Черниговский и Леон Карамян, складывались компании. Яшугин, Чарный, Ставицкий, Чежин… Всех не назовешь.

Следует назвать, конечно, Боба Кошелохова, разнорабочего, философа и художника. Боб носил волосы длины неимоверной, наверное до копчика. Он жил напротив и мог зайти в «Сайгон» в домашних тапочках. Кошелохов демонстрировал особый шик перед изумленной, так сказать, публикой кафетерия. Подойдя к кофеварщице Стэлле, понятное дело, без очереди, произносил классическую фразу: «Мне, милая, маленький четверной кофе. И воды поменьше».

Если как-то классифицировать идеологию места под названием «Сайгон», то 60-е годы я бы назвал периодом битников. 70-е – временем хиппарства. А 80-е годы «Сайгона» – это уже нашествие панков.

Битниками можно назвать Виктора Кривулина, Владимира

Эрля, Словенова, Безродного. Всех их отличала какая-то помятость и безвкусица внешнего облика. Какие-то немыслимые шляпы, длинные, будто с чужого плеча, пальто, шляпы, банты, дурацкие бороды.

Хиппари, например, за собой следили. Наличие настоящих американских джинсов было обязательным. Доставай где хочешь! Нет джинсов – ты не хиппи.

Запомнилась молодая женщина по фамилии Саламандра.

В «Сайгоне» постоянно шушукались насчет стукачей. То есть таких людей, которые втираются в компании, подслушивают и доносят в какой-нибудь Комитет государственной безопасности. На здании напротив, где нынче ресторан «Палкин», висели большие часы. Прошел слух, что в часы вмонтирована кинокамера, она всех снимает. Называли стукачом Колесникова – этот хромуша действительно подходил ко всем, заводил, заикаясь, разговоры.

Было бы неправильным называть тот советский режим совсем уж безобидным. Если ты нарушал правила, то мог и пострадать. По крайней мере, оказаться под пристальным вниманием. Тот же Боб Кошелохов вот как вспоминает:

«Я читал философскую литературу, в основном экзистенциалистов. С Таней Горичевой и с другими ребятами с философского факультета мы делали подстрочники, переводили. Когда гэбэшники спрашивали, что я делаю в „Сайгоне“, то отвечал им по-шоферски грубовато: „Бабу ищу“. Я тогда действительно шофером вкалывал. Спрашивали: „Что читаешь?“ – „Как что читаю? Мопассана!“ – „А почему?“ – „Так надо ж с бабой как-то разговаривать. Сам-то я не умею…“»

Не всем удавалось отделаться шутками. Тех, кто упорствовал, прессовали. Для большинства сайгонских активистов, которые не впали в пьянство, дело закончилось эмиграцией. Возможно, они именно этого и хотели.

Хиппари

В большей или меньшей степени автор данного текста наблюдал за жизнью «Сайгона» с осени 1967-го по 1989 год прошлого столетия. Двадцать пять лет! Есть чем поделиться!

…Кто такие хиппи в понимании моих товарищей-студентов? Речь, напомню, идет о конце 60-х – начале 70-х советских годов. Это такие длинноволосые парни и девушки, носящие джинсы, всякие пестрые рубашки, а зимой наряжающиеся в тулупы из овчины. Они любят рок-музыку, группы «Дорз» и «Аэроплан Джефферсона». Они мэйк лав и нот во. Они постоянно куда-то ездят автостопом и протягивают прохожим цветочки.

«Дорз» я любил. Частенько, опоздав на последний троллейбус и возвращаясь ночью из центра пешком домой на проспект Металлистов сквозь осеннее ненастье, напевал, дабы скоротать дорогу: «О шоу ми зы вэй ту зы некст виски бар. Ай донт аск вай, ай донт аск вай…»

Мы перенимали чисто внешние признаки. И никакого виски, заметьте! И любителей наркотиков до поры я вокруг не наблюдал.

Итак, я буду говорить о лете 71 года. Теперь у меня имелись белые вельветовые джинсы. К тому времени группа «Санкт-Петербург», в которой я являлся фронтменом, поднялась в звездные выси питерского андеграунда, отчасти и создавая его своим разбойничьим имиджем. Рыжие брательники Лемеховы, Вова и Серега, купались в славе и крепленом португальском вине. А нас с Мишкой Марским, клавишником и красавцем, терзало качество звучания. Потому что звучание было хреновое! Поганые динамики, поганые усилители и провода! К славе за полгода мы уже успели привыкнуть, и хотелось теперь блаженных звуков.

Был Марский, была Одна Девушка, был я. Имелся у Марского загадочный приятель Пресняков, постоянный посетитель «Сайгона», художник. У него бабушка проживала в ярославской глубинке. Почему-то, не помню почему, приятель Пресняков начертил план глубинки и уговорил Марского отправиться в глубинку к бабушке и взять сколько-то там икон, собранных ею для приятеля. Марский по договору привозил иконы, получал за это деньги, и мы покупали музыкальные агрегаты. Такова была идея. Марский уговорил Одну Девушку ехать с ним, та проболталась, и я влез в компанию. Марский скрипел сердцем, но мы все-таки отправились втроем. Перед отъездом выполнили последнюю волю Преснякова: купили бабушке килограмм сладких подушечек, конфет таких, и торт «Полярный».

Москва… Ярославль…

От Ярославля доехали до Данилова, после до Путятина, а может, и наоборот. Потом автобусом до городка Середа, затем, счастливые, пешком побрели по пыльной жаркой дороге с оставшимися пятью рублями на троих.

Ночь провели в поле, в безмерных соломенных развалах. А утром солнце будит ранним и вполне жгучим прикосновением. Марский через солнце счастливо закричал:

– Стенд-ап делаем! И вперед вокинг зе дог, как у роллингов бродячая собака!

– Давайте лучше шампанское, – предложила Одна Девушка. – И на речку хипповать. Ведь пять рублей еще есть.

– Ты совсем того! Это же Русь! Срединная Русь!

На Летающем Суставе (так звали Марского за худобу и подвижность) были синие «ранглеры», на Одной Девушке «левиса», видавшие виды, на мне – хипповый улет, белые в дым, как пепловский «Смок он зы вота», вельветовый шик девяностопроцентного износа. Мы сделали «вокинг зе дог» по хромой русской дороге и через час добрались до безымянного для нас поселения. На отшибе посреди поля стоял лабаз. В нем мы обнаружили только баранки и шампанское брют на всех полках. Девушка у нас хоть была и Одна, зато своя как до мажор, врубалась в Джима Моррисона и курила травку. Но шампанского брют мы ей не взяли. После баранок у нас на него и денег-то не оставалось.

– Как мы отсюда станем выбираться с тремя рублями? Михаил, короче, где тут твои золотые горы?

Летающий Сустав достал план и ткнул в него музыкальными пальцами:

– Дорога тут одна. Километров двадцать.

День становился жарким. Солнце, словно ненормальный зайчик, слепило глаза. Мы шли целый день, а когда светило из золотого стало медным, добрались, уставшие, до означенной деревушки. Кроме поношенных джинсов мы с Мишкой, напомню, носили еще на головах и длинные лохмы хипповой ботвы. В деревнях, да и в городах, народ тогда стригся коротко, под полубокс или канадку. Прохожая старушенция при нашем появлении стала быстро креститься. Михаил спросил у нее про гражданку Преснякову, то есть бабушку приятеля.

– Такой нетути, – прошамкала старушенция.

Мы пошли спрашивать дальше, но и последующие редкие селяне отвечали так же испуганно и так же отрицательно. За деревней возле реки мы разделись, упали в воду, вспомнили, что впереди еще вся жизнь, сели мокрые на берегу, достали план.

– План-то правильный, – сказал Мишка.

– Точный, – подтвердила Одна Девушка. – Ты не расстраивайся.

– Вот дорога тут поворачивает, – ткнул в бумажку Мишка.

– Точно так поворачивала.

– И название у деревни, как в плане, Мхи.

– Название-то Мхи. Бабки только нет.

Мы помолчали, а после Одна Девушка сказала:

– Надо было шампанского взять. Шампанское брют в деревне Мхи. Звучит!

В затяжном полете солнце падало на горизонт в тяжелую кучевую буханку. За речкой к малахитовой роще катилось поле. Из рощи прилетел ветер, и стало совсем хорошо.

Мы перешли речку и, расположившись возле стога, съели вафельный торт. Помолчали, пока не стемнело. Было тепло. Небо заволакивало. Стали зарываться в колючее сено. В нем шуршали и ползали живые существа. Сквозь первый слой сна уже долетали капли дождя. После этого из неба ударило, и мы проснулись. Молнии слепили даже сквозь сено, а ливень пробивал его насквозь. Мы выползли в стихию. В ней не было очертаний. Сквозь мрак пролетали толстые заряды электричества. После грохотало и бил ливень.

– Вокинг зы дог делаем в деревню! – прокричал Мишка.

Мы сбились с поля в месиво дороги, и я упал, поскользнувшись, а когда поднялся, то почувствовал приятную легкость в коленях. Это лопнули мои вельветовые американские штаны.

С трудом пробились мы сквозь бурю к деревушке и стали стучаться в первый домик. Словно через вечность спросил старый голос:

– Кто там?

– Туристы из Ленинграда!

Средневековая дверь отворилась, на нас посмотрели как на марсиан, приняли явление спокойно и уложили на печь.

Утро пришло тихое и контрастное. Горшок картошки и молоко – спасибо принявшим нас селянам.

Теперь о джинсах – они лопнули навсегда. Я не стану рассказывать, как мы хипповали еще день, и как нашли брошенную церковь с полным иконостасом, и как довезли-таки до Питера четыре большие иконы отличной работы, и как с коммерцией ничего не получилось, и как эта история неожиданно продолжилась с авантюрным уклоном через десять лет. Все это пища для повести…

Я буду о джинсах!

Босиком, в драных джинсах и с иконами мы добрались до

Ярославля и переночевали на вокзале прямо на полу, подложив под голову иконы, завернутые в дырявую простынь. А утром нашли копеечку и выпили газированной воды. Мы захипповали на ярославском пляже, а есть было совершенно нечего. Одна Девушка приглядела местного хиппаря, и тот купил у нее футболку с надписью «Ангелы ада» за пятнадцать рублей. Девушка слегка задекорировала прелести полотенцем. Денег хватило на три литра молока, три горячих батона и на то, чтобы как-то добраться до Москвы. И на заплатки! Одна Девушка купила дециметр ядовито-оранжевого вельвета и пришила на мои колени.

– Полный атас! – сказал Мишка.

Даже я засомневался.

– М-да. – Даже Одна Девушка засомневалась.

– За такое бьют, – сказал Мишка.

– Может, натереть мелом? – спросил я.

– Не поможет, – сказал Мишка.

И не помогло.

Но я пронес эти два оранжевых солнца на коленях, они и теперь есть во мне через столько лет, как и есть эта Русь в моей памяти, такая странная и безлюдная. Сермяжно-джинсовая страна.

О нас говорить проще. Мы любили друг друга, но теперь Мишка в Нью-Йорке, а Одна Девушка неизвестно где…

А в фильме «Беспечный ездок» за непривычно-волосатый образ главного героя, которого блистательно сыграл Денис Хоппер, американские провинциальные водилы просто пристрелили.

Это я рассказал вам, так сказать, славянофильско-хипповый сюжет. Ровно через год, летом 72-го, мой приятель Коля Зарубин, постоянный слушатель песен рок-банды «Санкт-Петербург», убедил составить ему компанию для хипповой поездки в Латвию.

Опять наступило лето, и началось оно дикой жарой. В СССР приехал Никсон. Назревала разрядка и совместный полет в космос. Юра Олейник, джазмен и рокер, все шутил по телефону, что живет на трассе американского визита и заготовил по такому случаю, как Освальд в Далласе, винтовку с оптическим прицелом. Юра, понятное дело, трепался. Но к нему приехали и на время никсоновского гостевания уединили на всякий случай в правоохранительной камере. А потом отпустили.

Пока Юра сидел в узилище, я лежал в больнице.

В апреле семьдесят второго я уехал в Сухуми на спортивные сборы, а вернувшись в Ленинград, заболел инфекционным

гепатитом, желтухой, и чуть не сдох от ее сложной асцитной формы в Боткинских «бараках» за Московским вокзалом. То есть началась водянка. Кто-то из врачей все же догадался назначить мне специальные таблетки. После них я выписал за сутки ведро и побелел обратно.

В первые дни, мучаясь от боли, я читал бодрые записочки, присылаемые друзьями-товарищами по хиппарству. Валека Черкасов, хиппарь первостатейный, помню, прислал открытку с текстом приблизительно такого содержания: «Говорят, ты совсем желтый. И говорят, ты вот-вот сдохнешь. Нет, ты, пожалуйста, не сдыхай. Ты ведь, желтый-желтый, обещал поменять моего Джими на твой „Сатаник“. Так что давай сперва поменяемся, а после подохнешь. С японским приветом, Жора!»

Женя Останин приносил в больницу книги по технике рисования, в которой я и упражнялся, лежа под капельницей. А когда я, прописавшийся и побелевший обратно, стал выходить на улицу, мы с Женей гуляли по территории больницы, подглядывая в полуподвальчик прозекторской, где прозекторы потрошили недавних пациентов. За деревянным забором, отделенные от аристократов-гепатитчиков, весело жили в деревянных домиках дизентерийщики. Аристократы относились к ним с презрением и называли нехорошим словом «засранцы».

Тогда же я без всяких на то оправданий написал рассказ. И назвал его «Люси с алмазами в облаках». Самое удивительное, что рассказ сохранился. Там всякий неясный сюр, как тогда было можно.

Жара установилась еще в мае, а в июне вокруг Ленинграда начались пожары, которые тушили с помощью населения. Зато к началу лета у ленинградских садоводов поспела клубника.

После выздоровления мне прописали щадящий режим и кашу. Спортивный сезон оказался потерян. Мы отправились с Зарубиным в Ригу, думая оттуда добраться до Таллина. А насладившись джинсовым Таллином, вернуться в Ленинград. Мы просто прихватили бонги, дудочку, немного денег и уехали в Ригу, нашу тогдашнюю Европу, где изображали из себя неизвестно кого с этими бонгами и дудочкой. Из Риги решили махнуть в Таллин автостопом: сжал кулак, большой палец вверх, и тебя якобы везут добрые водилы, которым скучно в дороге.

Последней электричкой доезжаем зачем-то до Саулкрасты, курортного поселка, последней станции, и попадаем под дождик. Где-то здесь дача моей дальней родственницы, материнской тетки, Александры Бельцовой-Сута, художницы. Но мы с Николаем не ищем цивильного ночлега, а просто бредем в мокрой ночи по мокрому саду. И в саду том натыкаемся на

дощатую эстраду с крышей. И ложимся спать, мокрые, на доски под крышу, где вдруг сладко засыпаем. А когда просыпаемся, то видим вокруг утро накануне первого солнца, в котором поют птицы, в котором сухо опять, в котором хочется дышать и жить. А в сотне метров оказывается море. И на диком пляже в лучах свершившегося солнца Коля Зарубин легонько пробегает пальцами по бонгам, кожа на бонгах откликается приятным невесомым звуком, а я как дурак свищу на дудочке то, чего не умею, и так хорошо, как никогда. И думает мы, что так все и надо.

Так это выглядело внешне. А по содержанию ленинградское хиппование не особо-то отличалось от хиппования сан-францисского. Советский Союз был страной милитаризированной. Американцы влезли во Вьетнам. За ошибки старшего поколения предстояло платить молодым. Некоторая часть этих молодых не хотела ни воевать, ни просто служить. В Штатах призывники жгли повестки, у нас от армии косили. До сих пор существует такой народный термин. Но кто мог вести хипповый образ жизни? Как правило, доморощенными хиппи становились деклассированные студенты – те, кто бросил учебу или приостановил ее. Ведь над студентами дамокловым мечом висела военная кафедра.

Социологическим исследованием мы заниматься не станем. Удовлетворимся и тем, что вспомнили данную разновидность ленинградской жизни начала 70-х годов.

Бутылка Довлатова

В 1968 году армии Варшавского договора вошли в Чехословакию. Так называемая Пражская весна закончилась. А вместе с ней сладостный демократизм 60-х пошел на убыль и в Советском Союзе. Тут-то наша богема и начала попивать. Это я опять вышел на знаменитый перекресток Невского и Владимирского проспектов, в кафетерий ресторана «Москва» – в «Сайгон». Попивать, горюя о тяжелой доле Дубчека, стали и рудокопы, и аспиранты, и промышленные рабочие, и крестьяне. Говаривали, что за плотно запертыми дверями бражничали и носители высших государственных регалий. У советского пьянства были разные психологические причины. Значительная часть общества прикладывалась к бутылочке по причинам иногда противоположным. Годы сталинской тирании забывались, страна после войны давно восстановилась, а благосостояние населения постоянно росло. Думаю, что в начале 70-х качество жизни в Ленинграде стало вполне сравнимым с некоторыми буржуазными соседями. Зайти в ресторан и выпить не являлось каким-либо запредельным шиком. Жилищный голод еще наблюдался, но все-таки население переезжало в отдельные квартиры. Практически все семьи обзавелись холодильниками и стиральными машинами. Скоро и цветные телевизоры перестали поражать потребительское воображение. Вдруг резко возрос интерес к домашним библиотекам. Народ потянулся в книжные магазины, и к середине 70-х в Ленинграде начался настоящий книжный бум.

Не отставала от страны и сайгонская богема. Постепенно, к середине 70-х, «Сайгон» приобрел сомнительную репутацию. Кофейная богема чувствовала безысходность. Чтение стихов друг друга и квартирные выставки картин уже не устраивали. Хотелось социального признания, а властям формальные изыски были ни к чему.

Самое время рассказать одну занятную историю из 1971 года.

Где-то в том же году мой приятель по занятиям спортом, чемпион Универсиады Саша Бакуменко сказал, будто бы решил стать писателем и что-то, мол, он уже пишет юмористическое.

«Тогда и я стану писателем», – пришлось мне ему ответить.

Но что писать – этого я не знал.

Спортивный зал, куда я ходил тренироваться, находился на Чугунной улице в промзоне за Финляндским вокзалом и принадлежал ЛОМО (Ленинградскому оптико-механическому объединению). В сером кирпичном здании напротив заводского стадиончика, кроме спортзала, располагалась и редакция

заводского еженедельника «Знамя прогресса». Вполне приличной для советских времен многостраничной газеты. Детали уже стерлись из памяти, но, помню, меня как-то вычислила молодая женщина из редакции. В 1971 году великой легкоатлетической Школе Алексеева исполнялось 35 лет, и логичным было б ученику великого тренера, то есть мне, написать что-то вроде очерка. Собирающемуся стать писателем оставалось только согласиться.

Проявив выдержку, я изваял довольно большой текст под названием «Преданный королеве». Легкую атлетику называли «королевой спорта». Несколько раз пришлось заходить в редакцию, выслушивать замечания от женщины-журналистки и вносить исправления. В редакции я обратил внимание на здоровенного мужчину с большой головой, черной, впрочем коротко подстриженной бородой и широкими плечами дискобола. Сперва подумалось, что мужчина сам выходец из спортклуба ЛОМО.

Он несколько раз говорил, не отрывая глаз от странички с текстом:

– Где ты, Аполлинария Гермогеновна, только таких графоманов находишь?

– Хватит, Довлатов, проявлять снобистское презрение к работникам нашего объединения. И не зови меня так, – отмахивалась журналистка.

– С другой стороны, – ответит тот, кого назвали Довлатовым, – сочинение стихов ко Дню военно-морского флота намного лучше, чем пьяный дебош. Поскольку у нас выпускают оптику, то и метафоризируют ею! Вот талантливая рифма: телескоп – микроскоп. А вот и бацилла модернизма: линз – клизм!..

Когда я зашел в редакцию, чтобы получить несколько экземпляров с вышедшим очерком, то человек по фамилии Довлатов оторвал глаза от рукописи, произнес:

– Прыжки, говоришь, в высоту с разбега? – и опять углубился в чтение.

Конечно, я был горд опубликованным очерком. Ходил по городу Ленинграду и всем показывал газету.

– Молодец, Володька, – сказал тренер Виктор Ильич Алексеев, – большое тебе спасибо.

И дома меня хвалили. Газета с публикацией постоянно находилась при мне.

А теперь про «Сайгон». Собиравшаяся там публика физически была довольно тщедушной. Поэтому запомнились мне трое мужчин двухметрового роста, возникавшие там эпизодически.

Про одного говорили, будто он из отставных баскетболистов и жена у него финка из-за соседнего кордона. Второй верзила работал вроде журналистом в «Ленинградской правде». Выглядел он всегда как-то уныло. А третьим был Довлатов. В один из осенних вечеров того же года, успешно выменяв себе в коллекцию возле Инженерного замка виниловый альбом «Дежа вю» группы «Кросби, Стил, Нэш энд Янг» я зашел в кафетерий. Никого из знакомых меломанов не увидел. Но заметил экс-баскетболиста, стоявшего неподалеку от барной стойки в начале кафетерия. Там, где наливали коньяк. С ним беседовал тот самый Довлатов из «Знамени прогресса». В руке Довлатов держал авоську. Баскетболист выделялся совершенно фантастическим плащом из лайковой кожи. Журналист, одетый в неказистый плащ местного производства, в этом сильно товарищу уступал. Они выпили, и баскетболист ушел. Тут же возник верзила из «Ленинградской правды». Верзила держал под мышкой портфель. Довлатов увлек верзилу в дальний конец вытянутого кафетерия. Проходя мимо столика, возле которого я стоял, Довлатов, не обращавший на меня внимания, вдруг произнес заговорщицкую фразу:

– Следуй за нами, не оборачивайся.

Честно сказать, я обрадовался – меня, скромного автора, дебютанта, запомнили. И я проследовал, не оборачиваясь. Мне велели держать место у последнего столика. За ним, чуть отгороженный от посетителей, начинался посудомоечный отсек. Верзилы ловко пробились к буфетчице без очереди и через мгновение вернулись за стол с тремя тарелками, в которых призывно пахли люля-кебабы с рисом. Да еще и политые кетчупом.

– Это вполне себе еще молодой человек… – начал Довлатов представлять меня Унылому. – Напомни свое наименование. – Это уже мне.

– Владимир.

– Этот Владимир не графоман.

Унылый пожал мою руку и назвался Константином.

Бабушка-посудомойка принесла три чашечки.

– У меня завтра тренировка, – отказался я.

– А у нас сегодня, – ответил журналист из «Правды».

– И прямо сейчас, – добавил журналист из «Прогресса». – Тогда просто будешь нас загораживать.

– За что пьем? – Это Унылый.

– Как за что? За граждан города Кале! Тост сезона, – сострил Довлатов.

После я этот тост слышал во множестве компаний. Интересно, кто его придумал?

– А ты, мин хер, – сказал Довлатов Унылому, после того как они выпили по чашечке вина, – самый натуральный графоман и есть. Таких еще поискать!

– Это работа, Сережа, – коротко ответил Унылый и стал есть.

С люля-кебабом расправились мгновенно. Вино верзилы допили.

– Нашел я тебе, Вован, полезное дело, – обратился ко мне будущий классик. – Походи-ка ты в подмастерьях! Возьми авоську, храни ее до особых указаний. И никому не отдавай. А теперь мы все вместе отправляемся в «Соломон»!

Перешли Невский проспект. По соседству с Домом актера, большим светло-желтым дворцом с колоннами, располагался полуподвальчик-разливуха. По неясным причинам называли заведение библейским именем Соломон. Забегала туда публика самая разношерстная. От бродяг до полковников ракетных войск. Там не задерживались. Брали сто на сто, в сто граммов коньяка буфетчица наливала сто граммов шампанского. И конфеткой закусывали. Таких мест в Ленинграде имелось множество…

Вот мы в «Соломоне».

– Хохмишь все, – произнесла «Правда». – Я хоть деньги загребаю. Приходится, конечно, писать больше про совхозы Ленинградской области.

– И в это время настоящие события проходят мимо. – Довлатов зашуршал, разворачивая конфетку.

– Что ты имеешь в виду? – спросила «Правда».

– Вчера у токаря пятого разряда на Ленинградском металлическом заводе сорвало резец. Резец пробил оконное стекло и долетел до середины Невы.

– Редкий резец долетит до середины Невы… – хмыкнул Константин в ответ.

– Так точно… Но по Неве плыл прогулочный теплоходик. Резец пронзил сердце гражданке Кудимовой, которая оказалась работницей того же предприятия, знакомая, а ходят слухи – и бывшая возлюбленная токаря. Заведено уголовное дело!

Унылый задумался, а затем спросил:

– Что ты этим хотел сказать?

– Хотел тебе подкинуть сюжет. Твоя выпивка – сюжеты мои.

– Это не для «Ленинградской правды», а для Би-би-си, – хохотнул Константин.

– Тогда я сам проведу расследование. Пойдем со мной…

Наша высокорослая компашка поднялась из «Соломона» на Невский.

– А ты стой, охраняй авоську, – отдал Довлатов мне приказание, увлекая Унылого Константина в сторону Литейного

проспекта.

Слушать необычный диалог Сергея и Константина было интересно. А стоять на улице – не очень. Я бы ушел, но с чужой бутылкой уходить казалось неприличным.

Моросил холодный октябрьский дождичек, дул ветер. Впрочем, я не мерз: год назад с большими финансовыми потерями мне удалось приобрести теплую оранжевую куртку на молнии с высоким воротником. Изготовили ее старательные японские мастера, а продал мне ее чуть ли не за сто рублей один знакомый певец. Он голосил в разных ресторанах и занимался спекуляцией.

Через минут десять журналист Довлатов появился. Он прошел мимо в компании низенького сайгонского уголовника – тот выделялся из вечерней толпы калошами, надетыми на босу ногу. И еще с ними шла очень красивая девушка. Довлатов галантно держал над девушкой зонтик.

Поняв, что Сергею не до меня, я сделал шаг навстречу, пытаясь вернуть авоську.

– Стой! Не расхолаживайся. Скоро ты появишься в кадре, как Лино Вентура, – опередил меня журналист и заговорщицки подмигнул.

«Какой еще Вентура? И в каком кадре?» Я постарался вспомнить, где слышал фамилию Вентура. Так прошло еще сколько-то времени. Довлатов вернулся. Теперь он шагал, разрезая вечер как дредноут. И шел он окруженный группой каких-то по виду туристов с фотоаппаратами.

Я сделал решительно движение, но и на этот раз журналист опередил.

– Скоро! – сказал, словно выстрелил.

И вдруг мне стало интересно. Я уже слышал про театр абсурда и даже прочитал в журнале «Иностранная литература» пьесу Эжена Ионеско «Носорог». Все в ней было непонятно, но тем не менее все что-то значило.

Я продолжал терпеливо ждать с авоськой. По сырому проспекту катили машины. Прохожие спешили – погода не располагала к променаду.

И тут ко мне подходит некто по прозвищу Полковник.

– Отдай бутылку. Серега сказал – она у тебя.

– Я ее охраняю.

С начала 70-х в «Сайгоне» стали появляться бандиты – в наколках и шрамах, в компании пропитых поблекших женщин. Лично мне приходилось быть свидетелем сцен безобразных! Однажды два одноногих уголовника дрались костылями, падали, роняли столы, пугая богему и случайную публику, зашедшую

нечаянно перекусить. Водился в «Сайгоне» внушительного образа детина по кличке Полковник, огромноголовый, с кулаками как пивные кружки, занимавшийся покровительством тех, кто похлипче, взимавший за покровительство по рублю, по полтине, во сколько удавалось оценить пивные кулаки. Но ближе к московской Олимпиаде бандиты куда-то подевались.

Полковник был не чужд изящной словесности, мог поддержать беседу. В чем заключалась его уголовная деятельность, я не знаю. Ко мне, как к человеку вида спортивного, он не приставал.

К тому моменту, как Полковник появился, абсурдом я уже насладился вполне, и ситуация мне порядком надоела.

Вид у меня был, видимо, свирепый.

– Серега с Помидором сейчас в «зеркалах». Бутылка Сереге нужна как аргумент, – пробурчал Полковник.

«Зеркалами» назывался ближайший гастроном на углу Невского и Литейного проспектов. В оконные рамы кто-то догадался вмонтировать зеркала, и, проходя мимо, народ на себя любовался.

– Я стою здесь еще пять минут. Время пошло!

Полковник плюнул и отчалил. Мне недавно исполнился двадцать один год. Чувствовал я себя совершенно взрослым человеком и ничего по молодости не боялся.

Прождав пять минут, я направился в сторону Литейного. Дойдя до гастронома, в него заглянул. Ни Полковника, ни Довлатова там не было. Уже со спокойной совестью добежал до остановки третьего троллейбуса, успел в подошедший троллейбус запрыгнуть и поехал домой. Дома я разглядел содержимое авоськи. В ней находилась бутылка крепленого вина под названием «Улыбка». Изображенная на этикетке блондинка криво улыбалась. Что стало с бутылкой и блондинкой, не помню. Думаю, она нашла себе достойное применение. А авоська еще долго висела в прихожей.

Алкоголя я почти не пил. Но иногда мог. Где-то за месяц-полтора до абсурдной истории с бутылкой «Улыбка» я закрыл спортивный сезон. В 1971 году из-за травмы коленного сустава он у меня фактически не состоялся. Но я постоянно приходил на стадион, обозначая свое присутствие. Забыл уже, как мы с товарищем Сашей Бакуменко, нагруженные спортивными сумками, оказались возле метро «Петроградская» в кафе с народным названием «Рим». Кафе занимало первый этаж торца большого серого здания недавней постройки. Что тут завсегдатаи нашли римского, сложно сказать. Античного величия не просматривалось, хотя некоторая помпезность колонн, больших

окон и высоких потолков напоминала итальянскую архитектуру времен Муссолини. Одно время это кафе пользовалось успехом у студентов Первого медицинского института, расположенного неподалеку. Но постепенно «Рим» стал сборищем окрестных наркоманов…

Мы с Сашей выпили несколько бутылок сухого вина в «Риме» и в сквере напротив. Посреди сквера и сейчас стоит полнофигурный памятник изобретателю радио Попову. На соседних скамеечках тогда всегда поддавали. Где-то на этих скамеечках мы с Сашей Бакуменко и потеряли друг друга. Заодно я лишился и спортивной сумки со всей амуницией. А это летний спортивный костюм германского производства, майка сборной Франции. Я ее обменял на майку сборной Советского Союза, когда защищал честь державы на матче с французами в Сочи в 1969 году. Исчезли кроссовки финской фирмы «Кярху». Но главное – в сумке были мои специальные прыжковые туфли. Левая, с пяточными шипами, фирмы «Адидас». Правая, без пяточных шипов, фирмы «Пума». Сейчас моей тогдашней драмы не понять. Ну накопил денег, пошел в спортивный магазин и купил все, что надо. Напомню, тогда хорошее снаряжение можно было достать с большим трудом… Конечно, я горевал. И вот вскоре после описанной выше встречи в «Сайгоне» с Сергеем Довлатовым я снова оказываюсь на Петроградской стороне. Стою, помнится, в телефонной будке возле ДК Ленсовета, куда-то звоню. Помню, дул омерзительный ветер и привычно моросил дождь. Вдруг я вижу низенького субъекта, шаркающего по лужам. На нем мой германский спортивный костюм, впрочем уже потерявший вид, на ногах кроссовки «Кярху». Кроссовки субъекту велики размера на три, вид клоунский.

Я выскакиваю из будки и устремляюсь к алкашу.

– Эй, любезный, где это вы взяли? – спрашиваю, касаясь рукава спортивного костюма.

«Любезный» смотрит на меня несколько осоловело и на ходу отвечает:

– А что?

– Так это моя вещь! И обувь…

– Я это в карты выиграл. Все честно, – отвечает «любезный».

– А не было ли там таких спортивных туфель с шипами?

Алкаш отвечает охотно:

– Были. Но я в них попробовал ходить – неудобно. Об асфальт шкрябают. Да и цвета разного.

– А нельзя ли мне их назад получить?

– Можно за бутылку.

Мы как раз останавливаемся у моста через Карповку возле

магазина с винным отделом.

– Приходи сюда через час. Я их тебе принесу, – предлагает забулдыга.

Загаженные костюм и кроссовки мне не нужны, но шиповки! Одним словом, через час я пришел, а алкаш не явился. Стоило его сразу придушить, но тогда я проявлял избыточный гуманизм.

Сколько всего вмещает в молодости один год жизни! Довлатова я еще несколько раз в «Сайгоне» встречал. Еще б на одну историю воспоминаний хватило. Но не стану спекулировать на имени прославленного литератора. А лучше расскажу о том, как пересекся с ним относительно недавно. Это уже петербургские времена, но предыдущая история требует логического завершения.

В нашем городе выходит журнал «Звезда». Этот журнал ежегодно присуждает Довлатовскую премию за рассказ или цикл рассказов. В 2000 году я опубликовал небольшую книгу коротких автобиографических историй под названием «Сестра таланта». На премию выдвигают книги те, кто эту премию уже получал. Вот меня и номинировали поэт и, как он сам говорил, учитель Бродского Владимир Уфлянд и прозаик Валерий Попов, соратник и приятель Довлатова. Попов мне позвонил и сказал, что следует принести пару экземпляров книжки главному редактору журнала Андрею Арьеву, что тот станет ждать меня на гражданской панихиде выдающегося нашего драматурга Александра Володина в БДТ. Уже это попахивало довлатовским абсурдом. Володин на днях скончался, и в театре выставили его тело, чтобы почитатели смогли прийти и попрощаться. Я принес книжку и передал ее возле гроба. Думаю, и Александр Володин, остроумный и парадоксальный человек, оценил бы мизансцену по достоинству.

Все процедуры соблюдены, осталось надеть приличный костюм и прийти в редакцию через неделю за наградой. Но!..

В то время я по пятницам выпускал в газете «Смена» рецензии на новые книги. Очередная вышла о книжке, в которой упоминалась история короткой любовной связи великой поэтессы Анна Ахматовой с одним заезжим англичанином. Собственно, ту историю подробно разбирал автор. Я просто откликался на книгу. В тексте рецензии я как-то сгоряча употребил не совсем те слова, а редактор их пропустил.

После выхода рецензии началась истерия. В Союз писателей пришла телеграмма из Законодательного собрания с требованием защитить имя поэтессы от поругания.

Не присудить мне премии было нельзя. А вручить – невозможно. В тот год ее в последний момент просто отменили. Эта Ахматова мне аукается и по сей день. Но, думаю, самому

Довлатову история бы понравилась. Да и Володину тоже.

«Красные бригады» по-ленинградски

Жизнь моя протекала в советском Ленинграде в состоянии полной социальной свободы. От армии имелось освобождение. Учиться я перевелся на заочное отделение, там не было военной кафедры – то есть длину своей хипповой прически я регулировал сам. Получив весной 1970-го серьезную травму колена, я волею обстоятельств освободился не только от олимпийской карьеры, но и от тяжелого физического труда на стадионе. Семьи я еще не завел, а значит, жил без мучительных бытовых тягот.

К лету 71 года рок-банда «Санкт-Петербург», в которой я занимал позицию фронтмена, добилась максимальной популярности.

Для полной гармонии с окружающим миром следовало иметь американские джинсы – а они у меня имелись. В спортивной среде всегда были те, кто занимался спекуляцией. Или сами привозили тряпки из поездок в идеологически враждебные страны, или скупали барахлишко у таковых для перепродажи. Апофеозом советско-спортивной спекуляции оказался период бешенной популярности так называемых плащей болонья. Эти неказистые с виду, но очень легкие синтетические изделия стоили рублей пятьдесят или даже более. Постепенно появились и болоньи отечественного производства. Но итальянские считались высшим шиком, как и белые нейлоновые рубашки иностранного производства. Свернутая болонья занимала совсем мало места. И в спортивную сумку входило штук сто. Стоили такие плащи в буржуазной Европе копейки. Прибыль у спортивных барыг получалась запредельная. По негласной договоренности на таможнях всего мира спортивные делегации не досматривали. Скандал случился в 72 году, когда на границе тряханули возвращавшуюся из США команду наших баскетболистов. Нападающий Жармухамедов пытался провести пистолет. После инцидента спортсменов стали проверять, наоборот, особенно старательно.

В начале 70-х хиппарю кроме джинсов желательно было носить какую-нибудь пеструю рубашку. Местные умельцы рубашки шили. Помню одну такую на себе, ситцевую с красными цветами. Рубашка, как принято, была без ворота. Летом на босу ногу надевались сандалии или кеды. Иногда удавалось достать кеды китайского производства. Они в разы по качеству превосходили отечественные. На запястье я носил некую металлическую пластину на цепочке. Ее называли анцером. Якобы гонщики на случай аварии гравируют на металлической

плоскости группу крови. Это был особый мужественный шик. Я на что-то выменял такой анцер и очень гордился. Тогда же барабанщик группы «Санкт-Петербург» Володя Лемехов привел знакомого, желавшего продать вещь, ставшую частью меня года на три. Куртка цвета хаки на отстегивающейся подкладке. Настоящая, военная. Представлялись в ней какие-нибудь марширующие десантники доблестной Голландии. Для ленинградской зимы куртка оказалась легковатой: я мерз, но терпел. А летом эту куртку я часто надевал без подкладки. Обошлась мне вещица в двадцать пять рублей. У куртки имелся капюшон, что избавляло от необходимости носить шапку! Было принято меняться одеждой. Помню, я очень завидовал коричневой кожаной куртке Мишки Марского. И как-то он дал мне ее поносить…

К третьему курсу у меня и моих сверстников пушок на скулах превратился в первые бородки. А некоторые старались отпустить бакенбарды, как у Джона Леннона на обложке пластинки «Лет ит би».

Иногда разыгрывались целые драмы или, точнее, трагикомедии! Однажды я обменял свой концертный свитерок на диск группы «Крим». Свитерок был синтетический, оранжевый. Ножницами я разрезал рукава, получилась модная бахрома. Продукт отечественной легкой промышленности не представлял никакой материальной ценности, но это была часть артистического имиджа лучшей на тот момент в Ленинграде рок-банды «Санкт-Петербург». Дело случилось в кафе «Сайгон». Свидетелями обмена являлись Кира Земляков и Коля Баранов. Имя того, с кем менялся, забыл. Тогда я очень веселился и радовался удачной сделке, но сейчас, пожалуй, вернул бы свитер обратно.

Музыкальный фанатизм моего поколения зашкаливал. Расскажу еще одну принципиально важную историю. Она о том, как я добывал себе новую музыку. Лето. Воскресенье. Пустынный город. На мне джинсовая куртка «ранглер», взятая поносить у студента биофака Славы Гулина. В джинсовой сумке, сшитой из старых штанов, несколько пластинок. Я иду меняться к одному жуликоватому приятелю. Он живет на Литейном проспекте рядом с лекторием. Захожу, раскладываю товар. У парня странного вида диск. Изучаю картонную обложку.

– Что это?

– Это суперновая группа! Психоделика! Группа «Спуки Туз», альбом «Церемония».

Начинаем прослушивание. Какие-то странные звуки. А затем бесконечно продолжается: «Пи-пи, пи-пи-пи!»

– Но я этот «Спуки Туз» ни за что тебе не отдам! – говорит приятель.

Да и чем я могу его удивить? У меня битловский «Сержант». Но «Сержантов» в Ленинграде завались. И остальные диски не представляют интереса. Но я закусил удила, решил, что не уйду без «Церемонии». Я приложил к «Сержанту» альбом группы «Трогз». Не сработало. Я доложил к «Трогз» диск с мюзиклом «Волосы». Ноль реакции. Я безуспешно выстраивал разные комбинации из дисков, но знакомый, гад, посмеивался и не поддавался. Тогда я снял джинсовую куртку «Ранглер» и положил на диски. Это было все равно что взорвать атомную бомбу. Со «Спуки Туз» я тем же вечером отправился в гости к другому приятелю-меломану. Мы пили сухое вино, бесконечно повторяя композицию: «пи-пи, пи-пи-пи». В результате прослушивания диск пострадал. Мы его поцарапали. Я брел домой под дождем и плакал. За джинсовую куртку я рассчитывался со студентом Гулиным долго.

Все процессы, которые проходили в большом мире, имели место быть и в Ленинграде тех лет. Первое послевоенное поколение заявило о своих правах, встав под знамена рок-музыки. Развился этот новый музыкальный жанр и в Советском Союзе. Доказывая закон диалектики о единстве и борьбе противоположностей, хипповая масса, провозгласившая, словно ранние христиане, любовь своей основной заповедью, породила проявления крайнего радикализма. Европейские «красные бригады» взрывали бомбы и захватывали заложников. В Америке террористические организации создавали черные. Зародыш чего-то подобного образовался и в Ленинграде…

Некто Коля Васин, известный в Ленинграде битломан, поздравил 9 октября 1970 года Джона Леннона с тридцатилетием, а благодарный Джон Леннон прислал Коле Васину пластинку с записью концерта в Торонто. Там Джон исполнил знаменитую песню «Дайте миру шанс». «Коле Васину от Джона Леннона с приветом» – такой автограф на невских берегах не имел цены. В реальной жизни все случилось несколько иначе, но теперь нет смысла переиначивать сложившуюся мифологию.

И вот Васин приглашает меня к себе домой по важному делу. Жил Николай тогда на Ржевке. Помню, было холодно, весна только начиналась. Я долго ехал в трамвае. В этом несуразном районе деревянные частные дома соседствовали с застройками времен сталинской диктатуры. Найдя дом, я поднялся по лестнице и позвонил. Мне открыл Коля Васин. Он был одет в широкую рубаху навыпуск и домашние тапочки. Мы прошли в комнату. На стенах висели фотографии битлов, особенно Джона,

стеллажи были заставлены коробками с магнитофонными пленками, тут же стояли магнитофон и колонки, проигрыватель.

Коля Васин сказал:

– Сейчас придет человек и все расскажет, а пока извини, старик, я поставлю Джона.

Он поставил Джона, закрыл глаза и, сидя в кресле, стал раскачиваться под музыку и даже подозрительно постанывать. Скоро появился худощавый белокурый молодой мужчина с нервным лицом и прозрачными глазами, одетый в серый костюм, светлую рубашку и галстук. На лацкане пиджака поблескивал комсомольский значок. И не просто значок, а с золотой веточкой. Такой значок говорил об особых полномочиях.

– Артемьев, – представился мужчина.

Артемьев начал говорить, изредка бросая на меня короткие взгляды:

– Есть идея организовать некое сообщество людей, объединенных одними интересами. Есть мнение, которое я представляю, что стоит попробовать и объединить их, и сбить нездоровый ажиотаж, который только вредит музыкантам, и дать рост наиболее талантливым.

– «Санкт-Петербург» – самая крутая команда в городе! – Это Коля Васин включился в разговор.

Артемьев посмотрел на меня внимательно и продолжил:

– Но и много, естественно, противников. Поэтому мы должны сперва организоваться, представить программу действий, провести ряд мероприятий и поставить противников перед фактом. Стоит подумать и приобрести общую клубную аппаратуру и тем гарантировать профессиональное звучание каждого выступления.

– Уже согласились «Аргонавты», «Белые стрелы», «Славяне» и даже «Фламинго»! Ви шел оверкам! – воскликнул Коля Васин.

Через пару недель меня с клавишником Мишкой Марским вызвали к Медному всаднику. Большая группа волосатиков по велению Артемьева также явилась к памятнику Петру Великому.

Восторженный голос Коли Васина слышался издалека. Он был в кожанке времен Пролеткульта, кепке-восьмиклинке, сшитой из потертой джинсовой ткани. На лацкане кожанки круглый значок «Imagine». Раздалась команда, мы двинулись к дебаркадеру, что стоял у парапета, и, к общему удивлению, погрузились на речной трамвайчик, который тут же и отплыл.

Во время заплыва по Неве Артемьев проговорил развернуто то, что я уже слышал на Ржевке, и предложил проект Устава создаваемой организации. Говорили много глупостей. Артемьев конкретизировал и поправлял. Несколько раз речной трамвайчик

причаливал к берегу, и музыканты бегали за вином. В итоге был принят довольно жесткий устав, постановили скинуться по двадцать рублей в кассу Поп-федерации.

Прошло еще сколько-то времени. Стало совсем тепло. По сложной системе конспиративных звонков узнаю: ночью в школе на улице Восстания произойдет встреча наших рокеров с польской рок-группой «Скальды», приехавшей в СССР на гастроли. Всем велено иметь при себе три рубля на организационные расходы. Играют с нашей стороны «Фламинго» и «Санкт-Петербург».

Эта школа, бывшая гимназия, – тяжелое, мертвое, без света в окнах здание. Теперь его отремонтировали и напротив, в скверике, поставили памятник Анне Ахматовой. А надо бы еще и мемориальную доску о первом подпольном рок-сейшене в Ленинграде повесить!

В гимназии народу мало, все знакомые. Знакомят со «Скальдами». Братаны Зелинские, Анджей и Яцек, взрослые и, соответственно, пьяные славяне. Артемьев тут же и Васин. Мероприятие имело фантастический успех.

Теперь за мной закреплена группа потенциальных слушателей.

Наступает лето 71 года. Белые ночи, тополиный пух. По системе конспиративных звонков узнаю время и место следующего концерта. Обзваниваю закрепленных за мной и договариваюсь о встрече возле Финляндского вокзала. Конспирация все-таки у нас плохая. Все конспиративные группы договариваются о встрече там же. Человек где-то пятьсот джинсовых волосатиков набиваются в трамваи и едут в ночи, пугая случайных пассажиров. Собираю со своих по три рубля, после я сдам собранное Артемьеву.

Новая подпольная акция проходит под видом съемок фильма о протестующей западной молодежи. Опять в Ленинграде на гастролях «Скальды», опять они после официального концерта приехали поиграть с нами.

Сейшен проходит на пять с плюсом. Затем осенью того же года еще несколько. Оказавшись в лирических отношениях с одной барышней, приближенной к Артемьеву, я узнал вот что:

– Вы просто солдаты, а я уже лейтенант.

– Какой еще лейтенант?

– А такой. У нас жесткая организация. Артемьев – генерал, Коля – полковник. И еще несколько лейтенантов.

– Это еще зачем? – удивился я.

– А затем! На этих сейшенах будут собираться средства для свержения советской власти!

Честно говоря, я не поверил и лишь отмахнулся. Но сомнения зародились. Стал я ими делиться с музыкантами из других групп. В итоге получил приглашение на съезд федерации. Мы с Марским приехали в пивной бар «Медведь», находившийся напротив Таврического сада. Кроме участников съезда никого более в «Медведь» не впускали. На съезде разбирали мое персональное дело и просили покаяться. Я Артемьева послал. В ответ рок-группу «Санкт-Петербург» приговорили к остракизму. Более мы на сейшенах Поп-федерации не выступали, ходили как зрители. Как сообщила подружка-лейтенант, один из подпольных приемов выглядел так: Артемьев звонил в какой-нибудь райком комсомола, представлялся директором картины о бунтующей западной молодежи, который снимается на «Ленфильме». Просил помочь подобрать зал. Комсомол помогал. Никто ни разу не пытался проверить информацию. Поздней осенью Артемьева арестовали.

Каждый из музыкантов Поп-федерации получил повестку на улицу Каляева. Там, в следственном отделе, мы сидели в длинном коридоре, поджидая своей очереди.

Выяснилось, что Артемьев носил значок не по праву, и в смысле значка он, собственно говоря, не являлся никем. Усталый человек из следственного отдела механически задавал вопросы: был ли там-то и там-то? Сдавал ли трешницы и сколько? И про речной трамвайчик, и про «Скальдов». Прочтите, распишитесь, свободны.

Судили его весело. Это походило на сейшен. В тесном вольерчике на скамейке сидел Артемьев.

Его белокурая подруга сидела в первом ряду и живо реагировала на действия суда. Прокурор сказала, но неуверенно: «В десятом классе подсудимый создал группировку школьников, в которой имел звание фюрера…»

Суду прокурор смогла предъявить лишь два подделанных Артемьевым бюллетеня, и за это Артемьев после покаянного слова получил год исправительных работ на стройках страны. А белокурая подруга, также проходившая по делу о бюллетенях, получила год условно. Про деньги, передаваемые нами обвиняемому, речь вообще не шла. Билеты на сейшены не продавали, а то, что я и такие как я собирали трешницы и сдавали их в липовую Поп-федерацию, так то – частные пожертвования, которые не запрещены. Да и о свержении советской власти на суде не заикались.

Кстати, Борис Гребенщиков одну свою знаменитую песню начинает так: «Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой…»

Надо будет при случае его спросить: может быть, и он был в курсе военной структуры Поп-федерации?

Вот так в маргинальной среде советских хиппарей тлела искра вахабизма.

Книжники

Начиная писать воспоминания о Ленинграде, я предполагал быстро проскочить 70-е годы и более подробно рассказать о том, как работал в Ленинградском рок-клубе на улице Рубинштейна и видел всех: юного Цоя в жабо, Кинчева в пиджачке, Шевчука, только что приехавшего из Башкирии… Но все-таки стану придерживаться исторической справедливости и задержусь на 70-х годах – ведь столько важного и удивительного случилось тогда. А вдруг, кроме меня, об этом поведать будет некому.

Несмотря на гонку вооружений, космический проект и негибкость плановой системы ведения хозяйства в производстве товаров общественного потребления, жизненный уровень населения продолжал расти. Строили новые «спальные» районы, открывались новые станции метро, страна разрабатывала всякие месторождения… На бытовом уровне это выражалось в увеличении денежной массы, которая давила на потребительский рынок, создавая дефицит товаров. Собственно, об этом и без меня постоянно говорят буржуазные экономисты.

Еще в 60-е стало популярным подписываться на собрания сочинений. Светло-коричневый Паустовский, голубенький Пушкин, синий Жюль Верн, бордово-черный Фейхтвангер. До сих пор на книжных полках во многих квартирах стоят книги, приобретенные дедушками и бабушками нынешних обитателей. Помню разговоры родителей о том, что нужно идти в «Подписные издания» (такой магазин только несколько лет тому назад закрылся на Литейном проспекте) и выкупать тома. Несколько раз меня отец брал с собой. Мы выстаивали длинную очередь, затем отец протягивал листки купонов. От них отрезали талоны на вышедшие тома, выдавали новинки. Мы гордо возвращались домой. Над таким приобретательством можно, конечно, посмеяться, но все-таки детство и юность моего поколения прошло в окружении книг. И эти книги мы в итоге прочли.

Когда в 67-м я поступил на истфак университета, отец привел меня в «Академкнигу», находившуюся на Литейном проспекте, метров сто не доходя до Невского, и купил первокурснику соловьевскую «Историю России с древнейших времен». За четырнадцать толстенных томов пришлось заплатить чуть более двадцати семи рублей. Буквально через несколько лет история Соловьева у перекупщиков стоила уже бешеных денег. Где-то на втором курсе в «Старой книге», занимавшей бельэтаж соседнего с «Академкнигой» дома, я постоянно покупал уцененные до пятидесяти копеек книги античных авторов. Книги в годы моего

студенчества стоили чуть меньше или чуть больше рубля. До начала 70-х серьезного книжного черного рынка не существовало, но затем он сформировался стремительно. Тогда же резко выросли цены, к примеру, на джинсы. Если в 70 году я купил почти новые «супер райфл» за пятьдесят, то к середине семидесятых такое удовольствие уже стоило сто пятьдесят и более рублей.

Так ощущался в Советском Союзе товарный голод.

В «Старую книгу» я заходил постоянно. Все сливки, конечно, снимали чернокнижники, вечно толпившиеся у скупки. Те, кто хотел сдать книги и получить тут же на руки деньги, проходили двором в помещение, где книги принимали. В арке, во дворе, перед дверью скупки постоянно терлись мужчины неприметной внешности с бегающими глазами, говорившие проникновенным шепотом: «Можно посмотреть, что вы сдаете?» Глаза у них бегали, с одной стороны, от страха: их периодически ловила милиция; с другой стороны, от умственного напряжения: им предстояло мгновенно оценить человека с книгами, найти подход, уговорить на сделку до того, как он войдет в помещение и займет очередь к оценщику. У особо талантливых чернокнижников хватало изворотливости устроиться в очередь и шепотом донимать клиентов «Старой книги». У некоторых имелись коррупционные связи с оценщиками. Смех смехом, но иногда можно было выловить в куче копеечной ерунды редкое и, соответственно, дорогое издание. Речь идет, понятное дело, об изданиях дореволюционных. Если человек понес в скупку что-то антикварное, это уже говорило о его неосведомленности. Чернокнижник предлагает рубль, в крайнем случае три. А получает продукт с рыночной стоимостью двадцать пять, пятьдесят, сто рублей. Но наивного продавца еще предстояло выследить.

…Когда я стал интересоваться книгами, то первые мои действия, как водится, привели к потерям. «Историю» Соловьева я отдал одному сайгоновскому знакомому в обмен на кучу ерунды. А она уже стоила под сто пятьдесят рублей. Но постепенно, по мере погружения в мир книжников, я начинал ориентироваться в ценах и приемах барыжничества. Благо опыт собирания виниловых пластинок у меня имелся. Кстати, на пару американских дисков я выменял себе Четьи минеи, жития святых. В кожаном переплете, на церковнославянском языке. Издание было не очень старое и не особо ценное, но выглядело убедительно. Мою маму жития очень раздражали. А я постоянно выходил с каким-либо томом на кухню и начинал читать. Благо на истфаке я курс древнерусского языка прошел. Мне нравилась

мистическая напевность языка. Мама, атеистка, раздраженно отмахивалась. Делал я это нарочно, и теперь мне стыдно…

Если раньше я ходил в кафе «Сайгон» для того, чтобы обменяться мнениями о новых пластинках, то теперь наша компания говорила уже и о книгах. В определенном смысле меня подталкивали собирательские успехи приятеля-битломана Коли Баранова. Он постоянно показывал редкие издания Зощенко, Аверченко и Тэффи, хвалился какими-то западными детективами, о которых я и не слыхивал. Вообще, воздух ленинградского общения был пропитан разговорами о литературе и кино. Друг Никита Лызлов каждое лето собирал компанию для поездки на Московский международный кинофестиваль, потом возвращался полный впечатлений. Я все собирался поехать с ним, но так и не собрался. Все следили за новинками журнала «Иностранная литература», выходившего тиражом в сто тысяч экземпляров. Как только там появился роман Маркеса «Сто лет одиночества», так его сразу все прочитали и начали обсуждать. Думаю, не только в Ленинграде. Огромная страна от Калининграда до Владивостока обменивалась мнениями. Не успели там же опубликовать элитарного Питера Хандке, как мои товарищи Коля Зарубин и Женя Степанов принесли сочинения этого австрияка и стали рекомендовать как сюрреалистическую рок-прозу. И я старательно пытался понять, что означает повесть «Вратарь в ожидании одиннадцатиметрового удара». Этим, замечу, создавалось единое интеллектуальное поле Советского государства. Цензура отечественная оказалась во сто крат слабее цензуры западной. В Советском Союзе переводили все новинки, в которых не имелось выпадов против коммунистического режима. Чего стоит только пятидесятитомная «Библиотека США» – от Вашингтона Ирвинга до Курта Воннегута!

На Западе советских авторов практически не издавали. Там высоко ценили русскую классику да продвигали некоторых диссидентов типа Солженицына.

Дух же народа проявляется именно в литературе. Когда железный занавес рухнул, то эта начитанность сыграла с нами злую шутку. Мы пошли к американцам навстречу, думая, что они, как хемингуэевский «Старик и море», а они были как бывшие советские в виде Шварценеггера с «калашниковым». Кстати, до сих пор такими и остались. Потому что современной нашей литературы, а значит, и нас, не знают… Но это я соскользнул уже в иные времена.

Одним словом, нахватавшись приемов, я сделал несколько приобретений. Однажды по дороге из университета я решил сдать ненужные учебники. Имелся букинистический магазин и на улице

Герцена перед аркой Генерального штаба. Сел в очередь, она еле двигалась. Увидел в сумке соседа старые переплеты. Сосед бурчал, что куда-то опаздывает. Я посмотрел книги и выкупил у него пять томов по пять рублей, хотя, став семейным человеком, уже столкнулся с финансовыми проблемами. Это были тома собрания Мережковского, издание Вольфа 1911 года. Я их потом, честно признаться, продавал задорого и поштучно, серьезно пополняя семейный бюджет.

Оказавшись по спортивным делам в городе Баку, заглянул в местный книжный магазин. Тут книги покупал прямо продавец. Пока его не было, я приобрел у местного жителя за один всего рубль шикарное издание 1928 года. В роскошной обложке, на прекрасной слегка пожелтевшей бумаге, со множеством гравюр. Некий американец Бен Хект «1001 день в Чикаго». Из содержания книги я узнал: Хект был дружен с Шервудом Андерсеном, а Шервуд являлся старым товарищем Эрнеста Хемингуэя, а Хема мое поколение читало и любило.

Пока я выискивал старые книжки, страна начала впадать в книжную истерию. Началась эпопея со сдачей макулатуры в обмен на талоны. Сдал двадцать килограммов старых, допустим, газет – получи право на приобретение дефицитной книги. Такими тиражами «Королеву Марго» Дюма, «Лунный камень» Коллинза или исторические романы Дрюона никогда и нигде на земном шаре не издавали. Теперь эти когда-то массово вожделенные книги ничего не стоят.

Книжный бум развился стремительно. Никита Лызлов году в 73-м вытащил меня в субботу на улицу Карла Маркса. Там имелся обширный сквер, и в этом сквере по правилам политэкономии капитализма трудился книжный рынок. Сюда приносили и книги для интеллектуалов, и всякую «попсу». Меня зрелище этого изобилия просто потрясло. И главное, потрясли люди – сотни людей! Они раскладывали товар на скамейках, на газонах, держали в руках. Отчаянно торговались, спорили, били по руками, уходили и возвращались.

Милицию я в сквере не видел. Места там уже не хватало, и через некоторое время рынок переехал к «трубе». «Трубы» было две. Одна окаймляла город с севера: там собирался книжно-пластиночный рынок. «Труба» была и на юге, в Дачном. По виду это были такие огромные трубы, через которые прокачивали, видимо, газ. За ними начиналась «ничья» территория. На этих свободных землях по выходным царил капитализм. Помню, мы туда отправились с тем же Колей Барановым и Сергеем Курехиным. Последний интересовался такими заумными авторами, о которых я и не слышал. Честно говоря, мне возле

«труб» не понравилось – там было шумно и грязно. Ходить по книжным магазинам в центре города – совсем другое дело. А после стоять в «Сайгоне» и глазеть по сторонам. Собирались в «Сайгоне» и разные экономические жулики. У них действовала своя табель о рангах: от, как говорится, антикварно-иконной крутежки и переправки народного достояния за кордон до пятерочных книжных спекуляций. Одного из крутых звали Распылителем. Получил он такое прозвище за случайный, как говорили, и плевый для него проигрыш в карты пятидесяти тысяч рублей, что по ценам черного рынка равнялось, наверное, 10–12 тысячам крепких долларов середины 70-х. Я видел Распылителя несколько раз, но он не часто наведывался в «Сайгон», лишь по особой надобности. Был он скромен телом, сероват лицом, носил бородку клинышком и не бросался в глаза. О нем говорили, будто он одним из первых прошелся по деревням и неприметно так, учтиво собрал икон в серебре и складней на целый миллион баксов.

Деловые посетители «Сайгона» носили плащи и пальто из лайковой кожи и собирались между двумя и тремя часами пополудни перед открытием букинистических, антикварных и комиссионных магазинов. В три же открывалась на Рубинштейна скупка драгоценных металлов, куда частенько несли как лом произведения настоящих ювелиров. Перед скупкой простодушных горожан перехватывали «лайковые плащи» и делали свои состояния. А после в «Сайгоне» играли в «шмен», примитивную карточную игру, открыто, несмотря на социализм и госбезопасность, передавали из рук в руки тысячи. Бедная богема, кто поприличнее, отводила глаза, а потерявшие стыд старались втюхать какому-нибудь «лайковому плащу» зряшную книжицу, чтобы выпить, а вечером стоять возле кафетерия, размахивать руками, курить и философствовать.

Мама моя работала в типографии, дослужившись до должности директора. Они печатали техническую литературу. Но иногда маме дарили дефицитные книжки директора других типографий. Так в моих руках оказались выпущенные тогда малым тиражом «Голый год» Пильняка, том Булгакова, синенький томик «Библиотеки поэта» со стихами Мандельштама. Удалось мне выменять себе и настоящий дефицит – том Бориса Пастернака в той же «Библиотеке поэта». Применив все известные приемы гипноза и зубозаговаривания, я отдал за редкую и дорогую книгу красивую, но не имевшую рыночной цены книжку сказок. Позже, впав в бедность, мне пришлось Пастернака продать. За девяносто, между прочим, рублей! Это месячная зарплата сторожа.

Свел я дружбу и с хозяином конторы, куда сдавали макулатуру. Он допускал меня к газетным кучам. Я там даже рылся какое-то время, рассчитывая найти россыпи антикварных изданий. Но ничего не нашел.

Но и рок-н-ролл из ленинградской жизни никуда не делся! После падения Поп-федерации в городе начался спонтанный процесс подпольного концертирования. В Ленинграде сложилась инфраструктура: были организаторы и зрители, а также преступные связи с владельцами разных залов. Славную историю подпольной жизни рок-банды «Санкт-Петербург» я в свое время написал. Роман «Кайф» выдержал уже шесть изданий. Так что про себя не буду.

Частенько на наши выступления приходили юноши из начинающей группы «Аквариум». Помню, осенью 72-го мы играли фантастический по напору и своевременности концерт на химфаке университета. В силу сложившихся обстоятельств пришлось помогать Гребенщикову и Гуницкому пролезть внутрь через какое-то служебное окно. Встречал я Боба и в «Сайгоне», иногда мы беседовали. «Аквариум» тех лет – это вежливые ребята, ходившие одной волосатой компанией, как хиппи. Что они играли, я не знал, да и по глупости не интересовался.

После окончания университета в 74-м мне пришлось послужить год в армии. В силу спортивного мастерства я жил дома, тренировался и прыгал в высоту с разбега за спортклуб противовоздушной обороны. Чтобы как-то свести концы с концами, мы с Никитой Лызловым решили восстановить рок-группу, которая от излишнего молодежного максимализма умудрилась развалиться. Помню, Никита договорился выступить за деньги в общаге кораблестроительного института в Автово. Банда предполагала выйти на сцену в обновленном составе. И я совсем забыл, кто играл тогда на басу. Этот басист полез в трансформаторную налаживать электричество. Парня ударило током в 380 вольт, рука, можно сказать, обгорела. Парень замотал руку бинтом, и мы все-таки в общаге выступили. Кроме студентов, нас пришел послушать и «Аквариум» в полном составе. Сыграли мы так себе. Борис подошел и сказал:

– Как-то вы сегодня не очень.

– Да вот, – показал я на забинтованного басиста. – В человека фактически молния попала.

Положение звезды на молодежном небосводе казалось мне незыблемым. На самом же деле начиналась эпоха «Аквариума». Юный Вова Сорокин, будущий маргинальный модернист, показывал мне в «Сайгоне» фотографии, говорил, что «Аквариум» – это круто. На фотках Борис был со странного вида бородой.

Однажды меня привели на выступление «Аквариума» на матмех. Или физмат. Что-то из точных наук. Здание находилось рядом со Смольным собором. В большой аудитории собралась маленькая толпа. Все сидели замерев, внимали Бориным песням и виолончели Гаккеля. Я был не совсем трезв, все это мне показалось каким-то не рок-н-роллом. И в паузе я совершил хамство – полез к микрофону. Боб уступил место, дал гитару. И я запел. Мне казалось, что я сейчас покажу класс и всем все станет ясно. В тот период я активно осваивал губную гармошку и акустическую гитару. Мои песнопения на квартирных посиделках пользовались серьезным успехом. Но тут дело не пошло – публика не разразилась овациями. После двух композиций я с этим бизнесом завязал, гитару Бобу вернул, и «Аквариум» продолжил выступление, набирая очки популярности.

В моем импровизационном повествовании не следует ждать точной последовательности событий. Моя задача – постараться передать дух ленинградского времени, коснуться злободневных для моего поколения событий. И в первую очередь – не быть скучным.

В кафе «Сайгон» я познакомился с разными театролюбами. Толя Гуницкий свел меня с Сергеем Берзиным. Тот был человеком эмоциональным, остроумным, начитанным. Ему вдруг захотелось стать режиссером. Он носился с текстом Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Эту иносказательную повесть, опубликованную в «иностранке», прочитали все. Она стала, как теперь говорят, культовой в студенческой среде, вдохновляющей на хипповые дзен-подвиги. А Сергей Берзин увидел в ней рок-оперу. Я – наполовину этнический прибалт. И не просто прибалт, а латгалец. По отцовской линии мои предки жили в диких лесах, у речек и озер. Были они трудолюбивы, прямодушны и наивны. Постоянные страстные кофейные монологи Сергея я принял за чистую монету. Мы встречались в «Сайгоне», затем переходили из одной мороженицы в другую, выпивали сухое вино. Сергея обычно слушало несколько человек. Скоро я уехал на спортивные сборы к Черному морю. Я очень опасался конкурентов, боясь по возвращении застать Сергея с уже готовой рок-оперой. Первая половина дня уходила на тренировку, вторая проходила в поэтических грезах. В итоге я вернулся в Ленинград с почти готовым либретто. Но Берзин уже, как говорят спортсмены, перегорел, сетовал – никто, мол, его не поддерживает, ничего не получится. Осталось только передать ему отпечатанные на машинке листки, и мы тут же несостоявшуюся оперу весело отпраздновали. Кажется, это шел уже 76 год. Тогда же Берзин познакомил меня с Витей Резниковым. Он тоже активно

занимался спортом, играл в футбол и хоккей. А еще он сочинял очень мелодичные песни, сыграл мне несколько на пианино. Я предложил ему либретто про «Чайку», и мы стали встречаться. Несколько композиций он набросал в течение недели. А тем временем Сергей Берзин от своего режиссерства отказался окончательно. И вроде как мои тексты оказались без дела. Но с Виктором мы созванивались. Однажды при встрече он говорит:

– Я пишу песню для Аллы Пугачевой. Хочешь слова сочинить?

Пугачева тогда была фигурой уважаемой.

– А про что надо? – спрашиваю.

– Надо про женскую тоску, – отвечает Резников.

Получалось не творчество, а комедия. Помню, бегаю по дорожке стадиона, тягаю штангу и все сочиняю, сочиняю. Руки-ноги устали, болят, сил нет. А в голове женская тоска. Какие-то слова бормочу про дождь, про картину и свечи, кто-то ушел и не пришел… Ничего и из этой затеи не получилось. Я решил, что у меня и своей тоски невпроворот, и пытаться перевоплощаться в Пугачеву отказался. Тем более Витя на встречи в Москву с заказчицей меня не брал.

В 76-м прославленной бит-группе «Аргонавты» исполнялось десять лет. Для тех времен юбилей нешуточный. «Аргонавты» играли в основном западные песни, а тут вдруг решили разродиться рок-оперой собственного сочинения. После знаменитого «Иисуса Христа – суперзвезды» многих и у нас потянуло на фундаментальное творчество. Старый хипповый товарищ и барабанщик «Аргонавтов» Володя Калинин позвал меня в гости, а когда я приехал к нему куда-то на Гражданку, протянул страницы с машинописными поэтическими строчками.

– Посмотри, – сказал Владимир, – может, что-то посоветуешь. Это наш новый гитарист и певец сочинил. Опера так и будет называться – «Аргонавты».

Я пробежал глазами строчки.

– И как тебе? – поинтересовался Калинин.

– Вроде нормально. Только фамилия у автора странная – Розенбаум.

В определенном смысле богемно-артистическая жизнь била в советском Ленинграде ключом. Но богема – это понятие условное. Что-то вроде отстойника или спецраспределителя. Из нее кто-то пробивался в официоз и начинал вращаться в иных социальных плоскостях, а кто-то просто пропадал. История искусства – это огромное кладбище нереализованных ожиданий.

Говоря о Ленинграде, я невольно сбиваюсь на события собственной жизни. Возможно, воспоминания этим и ценны: свидетельством современника описываемых событий и их

участника.

Метание малого полена и ленинградские каратисты

Смею утверждать, «Ленинградское время» необходимо и тем, кто по возрасту уже перешел в разряд уважаемых старейшин: им будет полезно вспомнить юность и взбодриться, а более молодые пользователи данной книги улучшат свое историческое знание.

В очередной раз я оказался на перепутье. Или устремиться мне вперед, рассказывая истории из богемного ленинградского прошлого, или все-таки не гоняться за дешевой популярностью… Одним словом, я решил закончить с ленинградским спортом, чтобы уже после на него не отвлекаться. Попытаюсь я рассказать о том, как решил стать каратистом!

Спорт в ленинградском прошлом был важной частью бытовой жизни. За футбольный «Зенит» и тогда болел весь город. Но поскольку телевидение в 50–70 годы минувшего века не имело еще технических ресурсов для перехода в тотальное наступление на человечество, то для конкретного проявления своих симпатий народу приходилось ездить на стадион имени Кирова в Приморский парк. Сейчас туда легко добраться на метро. А тогда на футбол приходилось ездить в битком забитых трамваях. Несколько раз меня отец брал с собой, а после перестал – слишком сложно. Спортом в городе занимались все школьники, взрослые зимой почти поголовно катались на лыжах. Всякое крупное предприятие имело лыжную базу, расположенную обычно на территории ведомственного летнего пионерского лагеря.

Занятия спортом лично на мою жизнь повлияли принципиально. Расскажу я сегодня кое-что про своего учителя, великого спортивного педагога Виктора Ильича Алексеева. Я его уже вспоминал, но не представил должным образом. Начнем, короче, с легкой атлетики, а закончим карате!

Итак: Виктор Алексеев. Родился в 1914 году. Ушел из жизни в 1977-м.

Шестикратный чемпион СССР в метании копья и метании гранаты. В 1936 году создал детскую спортивную школу. Ученики Школы установили более 50 мировых рекордов. Со всех послевоенных Олимпиад его воспитанники привозили в Ленинград золотые, серебряные и бронзовые медали.

Алексеев первым в стране получил звание заслуженного тренера СССР. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и «Знаком Почета». Алексеев также

первым из тренеров получил золотую медаль Крупской от Академии педагогических наук СССР.

Похоронен тренер на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Многие годы я был его учеником. Здесь не место вспоминать особенности его тренерской работы – все-таки это не научное сочинение, а развлекательное. В данном контексте уместны бытовые истории, своеобразные байки из жизни великого человека.

Сам Виктор Ильич очень любил рассказывать дидактические истории. Он много поездил в своей жизни, но особенно Алексеева поразил и восхитил Китай. Европейским, пусть и русским умом этого было не понять. Советская спортивная делегация оказалась в Китае перед «великим скачком» во времена тотальной, воистину всенародной гимнастической подготовки тамошних граждан. Однажды делегация ехала в поезде, а в определенный час все пассажиры, даже старики и старушки, плюс проводники начали делать гимнастику. Серьезно, добросовестно и с душевной отдачей. Поезд шел по степи. Алексеев увидел, как стрелочник возле одинокой фанерной будки наклоняется и приседает, не глядя на проносящийся поезд.

В Пекине советскую делегацию разместили в гостинице при стадионе. Однажды Алексеева попросили провести показательную тренировку с китайскими спортсменами. Алексеев провел с удовольствием. В конце тренировки он показал двум жилистым рослым китайцам имитационные упражнения для метания копья, упражнения на технику, когда само копье заменяет покрышка от волейбольного мяча. Алексеев ушел со стадиона, делегацию отвезли на радио, еще куда-то, они вернулись поздно. Проходя через стадион, он увидел тех двух китайцев, продолжавших делать упражнения и чуть живых от усталости. «Уходя, – пояснил мне Алексеев, – я не сказал, сколько делать, и они бы умерли, наверное, но не остановились без приказа».

Изумительный случай произошел с другим членом делегации, молотобойцем Кривоносовым. После показательных выступлений, вызвавших восторг у зрителей, у молотобойца спросили, нравится ли ему стадион. Тот сказал, что нравится. Только под Киевом лучше, зелень такая сочная, глаза, глядя на траву, отдыхают. Китайские товарищи понимающе кивнули. На следующий день площадка для метания, сто на пятьдесят метров, была выложена дерном – так пожелал русский товарищ. Всего-то несколько сотен человек бросили резать, везти, укладывать дерн!

Как-то в начале 70-х Виктор Ильич вызвал к себе в кабинет своего ученика тренера Жору Узлова, тоже заслуженного

специалиста, и спросил:

– Ты знаешь, что такое камерная музыка?

– Знаю, – ответил Узлов. Школьника Жору во время войны угнали на работу немцы. В Германии он тяжело трудился, а в короткие паузы умудрился научиться играть на аккордеоне.

– Подготовь мне, пожалуйста, материалы. Кто играет, на чем, что и зачем.

Жора исполнил просьбу, а через неделю читает в газете «Советский спорт» интервью с Виктором Ильичом. В нем на вопрос о хобби великий тренер отвечает: «Люблю камерную музыку».

Виктор Ильич искал талантливую молодежь по всей стране. В Хакассии, сообщила газета, на спортивно-религиозном празднике юноша метнул дротик дальше ста метров. Послали специалиста посмотреть на талант. Выяснилось – метали дротик с горы. А однажды пришло письмо из провинции. Некая девушка сообщала результаты в метании полена и малого полена, кирпича и полкирпича…

Жена Алексеева, финка Хильда Оскаровна, вызвала как-то того же Узлова и говорит: «Виктор Ильич потерял покой. Он сейчас на стадионе топор метает! Больше двадцати пяти метров не получается! Вот тебе деньги и командировка, сегодня же вылетай в Салехард и разберись. Там местный учитель физкультуры метнул топор на сто шестьдесят метров!» Долетел Узлов до Салехарда. Нашел учителя. При Узлове тамошний учитель метнул топор на сто сорок пять метров! Только топор такой легкий, плоский. Вращается и планирует, как бумеранг аборигенов.

Как-то в 70-е я зашел в кабинет к Алексееву… Входит Семен Максович, воспитанник еще первой довоенной группы, и говорит: «Нам не дали икры. Говорят, всю забрала футбольная команда „Зенит“». Надо напомнить слушателям исторический факт: советская страна разносолами не баловалась. Даже в таком культурно-промышленном центре, как Ленинград, случались перебои с продовольствием. Алексеев тут же набирает номер председателя горисполкома. У того совещание. Алексеев почти кричит в трубку секретарю: «Пусть перезвонит, как можно быстрее!» Через несколько минут городской начальник перезванивает… Алексеев в трубку: «Нам не нужна ваша черная икра. Не нужна красная. Жрите! Нам нужна баклажанная! В ней много калия. Без калия спортсмены не могут метать копье, ядро и диск! Что это за футбольный клуб „Зенит“?! Болтается внизу турнирной таблицы! Разберитесь, в конце-то концов!»… На плечах Алексеева лежало все. На всякую ерунду приходилось

тратить нервную энергию именно ему.

Моя олимпийская карьера прервалась весной 70-го в Сочи, надорвал связку, через месяц повредил еще раз. Но еще много лет я выступал на мастерском уровне, совмещая спорт с рок-н-роллом. Хотя Алексеев понимал мою бесперспективность в олимпийском плане, он продолжал тратить на меня свое драгоценное время и здоровье. Для большей увлекательности повествования вспомню, как в 26 лет я стал уродом. Уродом физическим, а не моральным. В конце марта на Зимнем стадионе проходят соревнования на призы финнского президента Урхо Кекконена. Это уже я оказался в середине 70-х. Этот расположенный в центре города напротив Дома радио бывший гвардейский манеж пользовался у горожан успехом. Трибуны всегда заполнялись даже на рядовых соревнованиях. В тот вечер мне повезло: прыжковую яму установили очень неудобно, а мне от этого неудобства, наоборот, хорошо. У моего главного конкурента Вити Кащеева результат в сезоне выше 2 м 20 см. Мне его не одолеть. Но в плохих условиях можно постараться. К высоте 2.10 мы остаемся в прыжковом секторе одни. Остальные уже закончили соревнования… Я разбегаюсь, лечу, ныряю за планку. Планка не шелохнулась. Только дикая боль взорвалась под ребрами! Выползаю на карачках, думаю: «Дернул межреберные мышцы! Черт!» И Кащеев берет 2.10. Ставят 2.12. Ковыляю к началу разбега, держась за левый бок. Разбегаюсь, отталкиваюсь, как могу, и… теряю сознание от болевого шока. И так вот, в бессознательном состоянии, перелетаю 2.12. А Кащеев не берет. Победа за мной. Почти ползу домой, лежу две недели с горячей болью в боку. Становится легче, отправляюсь к врачу, и врач ставит диагноз: «У вас перелом. Был! Но теперь заросло. Образовалась костная мозоль».

Если меня пощупать, то в боку легко обнаружится костная аномалия.

Когда перелетаешь планку «перекидным» брумелевским способом, то правая рука тянется вдоль маховой ноги, а левая уходит вдоль бока или прижимается к ребрам. Я умудрился попасть себе в ребро локтем и сломать его! И все это в безопорной фазе, в полете. Мысленно я уже внес себя в Книгу рекордов Гиннесса.

При мне в начале 70-х началась эпоха допинга. Принимали всякие препараты, стимулирующие возможности организма, и раньше, но именно в 70-е употребление допинга стало массовым явлением. К примеру, ритоболил – запрещенный анаболический стероид. Тогда ритоболил поступал из Венгрии. Одна ампула стоила три рубля. Предназначались ампулы больным,

перенесшим тяжелые операции. Ослабленным людям, одним словом.

Здоровенные парни, лучшие тела нации, штангисты и метатели, бегуны и прыгуны, скупали ритоболил на корню. В больших городах его уже было не найти. Приезжает, допустим, команда в провинцию – сразу все метатели отправляются по аптекам за ритоболилом. Я и сам хотел вмазаться. И никакие бы олимпийские идеалы меня не остановили. Десять уколов всего, по уколу в день, то в левую ягодицу, то в правую. Атлет или атлетка начинают после уколов рыть землю, словно озверевший конь или кобыла. А еще пользовались популярностью таблетки метандринестеналона – в любой аптеке банка таблеток за копейки. У меня уже олимпийских шансов никаких в спорте нет, но я готов совершить удар по организму лишь для того, чтобы закончить карьеру с результатом на несколько сантиметров выше. Не 2 метра 15 сантиметров, а, допустим, 2.21. Недаром Лесгафт, чьим именем назван в нашем городе знаменитый институт физкультуры, приравнивал спорт к азартным играм, наркомании и почему-то к проституции.

Кстати, алкоголь – это тоже допинг. Хорошо выступать на соревнованиях после небольшого возлияния накануне. Имею положительный опыт.

С ритоболилом же у меня в жизни романа так и не состоялось. А жаль.

Понятное дело, я лишь обозначил тему. Но я счастлив, что появилась возможность хотя бы вспомнить Виктора Ильича.

…Если говорить серьезно, то фигура Алексеева – часть национальной истории, которой мы имеем право гордиться. На Олимпиаде в Риме в 1960 году Школу Алексеева представляли девять человек. Они принесли сборной Советского Союза 22 очка в неофициальном зачете. Если бы Алексеев выставил личную команду, то обошел бы команды Италии, Венгрии, Швеции, Франции и Финляндии. А через четыре года в Токио алексеевцы выступили еще лучше. Назову лишь нескольких алексеевских воспитанников: Галина Зыбина, Тамара Тышкивич, сестры Пресс, Анатолий Михайлов, Владимир Трусенев, Александр Барышников. И еще сотни, даже тысячи молодых людей, хотя и не ставших великими атлетами, но получивших закалку на всю жизнь.

За спортивные достижения Школе Алексеева государство построило крытый манеж на Светлановском проспекте напротив Сосновского парка. Он там очень хорошо виден в низинке. После ухода тренера его ученики, многие из которых тоже стали выдающимися специалистами, продолжили дело. Знаменитый

боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев начинал, кстати говоря, в Школе. В Школе несколько лет тренировался и заслуженный актер Константин Райкин. Последнего я хорошо помню.

Школы уже не существует. Слава богу, что стадион уцелел, а не превратился в какой-нибудь торговый центр.

А теперь начнем про карате. Я был еще школьником, когда в кинотеатрах прошел японский фильм «Гений дзюдо». В одном из эпизодов фильма возник человек со свирепой рожей. Он пробежал по стене и ногой пробил потолок. В школе на переменах мы делились впечатлениями от увиденного. Тогда и пошел по Ленинграду слух о таинственном карате. Каждый человек склонен верить в чудеса. Вот и мои сверстники поверили в это экзотическое, покрытое флером таинственности боевое искусство. Бокс на фоне карате выглядел как-то простовато. Помню, как в абхазском поселке Леселидзе году этак в 67-м, находясь на спортивном сборе, мы заспорили с тренером Алексеевым: кто победит при боевой встрече – боксер или каратист? Виктор Ильич, известный спорщик, доказывал несомненное преимущество бокса. Тогда прошла информация о том, что будто бы знаменитый американский боксер Мохаммед Али собирается сразиться с чемпионом по карате японским мастером Оямой. И действительно – бой состоялся. По телевидению его не показывали. Но осталось описание.

После первого раунда японский мастер лег на спину и все оставшиеся 14 раундов, лежа на спине, отбивался ногами от подходов Али. Бойцы были обязаны вести схватку каждый по своим правилам. Ногами, одним словом, боксер бить не имел права. В целом, судя по газетным публикациям о поединке, зрелище вызвало возмущение и гнев зрителей, бросавших в бойцов различные предметы, поскольку схватки практически не было. Коммерция и обман в чистом виде.

Тем не менее популярность карате набирала обороты. Тут я не стану перечислять известные факты, а просто вспомню свой каратистский опыт. У меня был знакомый, приятель даже. Мы учились в соседних классах. Еще он тренировался в прыжках с шестом, но успеха не добился. Затем этот приятель Николай поступил в институт физкультуры. Как-то я его встретил, году в 73-м, и узнал, что в городе существуют секции карате, куда он готов меня пригласить. Я радостно согласился, да и брата Александра взял. Занятия стоили рублей 30 в месяц, но с нас Николай по старой дружбе денег брать не стал. Собирались в спортивном зале средней школы неподалеку от станции метро

«Нарвская». На дверях висел бумажный лист с надписью: «Занятия по общефизической подготовке». Таким способом секция маскировалась. В нашей группе было человек двадцать. Надев кимоно, мы скакали по занозистому деревянному полу босиком и на корточках. Отжимались от пола на кулаках. Совершали всевозможные балетные пируэты – назывались они катами. Когда ты не один, а целой группой в едином ритме повторяешь определенный набор движений, который складывается из шагов в низкой стойке, имитаций ударов и блоков, криков, то возникает яркое ощущение причастности к тайнам мира…

Могу смело сказать, к середине 70-х Ленинград находился в состояние каратистского исступления. Как когда-то еще в школьные годы можно было отличить в толпе прохожих юного битломана, так и теперь, спускаясь, к примеру, по эскалатору метро, ты видел то тут, то там сосредоточенное молодое лицо, гордую посадку головы и ладонь, которую каратист набивал ребром о поручни… Думаю, это великая русская способность впитывать чужое и делать своим.

Карате мгновенно стало коммерческим предприятием. Групп по Ленинграду тренировалось много. Зачастую тренеры не обладали высокой квалификацией, но тренирующиеся исправно платили. Да еще и покупали кимоно в большом количестве. Их шили по домам и продавали в обход социалистического государства. Было и у меня белое, купленное рублей за 35. Всего я ходил на подпольные занятия года три. Но в соревнованиях не участвовал, боясь получить травму. Все-таки за прыжки в высоту я получал деньги и содержал на эти деньги семью. А холостой брат Саша на соревнования как-то отправился. Наша группа, занимавшаяся бесконтактным стилем, встретилась с теми, кто по-настоящему бил в морду. Против брата Саши вышел уже довольно умелый каратист. Хотя соревнования предполагалось проводить в бесконтактном стиле, но на татами закипела настоящая драка. После пропущенных ударов брат принял боевое кибо-даци и провел мая-гири сопернику прямо в промежность. Поверженный противник стал прыгать на корточках и вскрикивать «Ой-ей-ей!».

А брата Сашу с соревнования сняли на нарушение правил.

Самым известным в Ленинграде каратистским объединением к середине 70-х стал клуб «Олимп». Им руководил Владимир Илларионов. Звали его просто Ларин. Чуть позднее Ларин несколько раз выигрывал первенства Советского Союза. А затем оказался осужденным по уголовной статье. Я с ним однажды пересекся. Тренер Коля, когда я его спросил, где в городе есть что-нибудь классом повыше, отвел меня к Илларионову. Помню

помещение где-то в районе цирка на Фонтанке. Мой тренер, приняв восточную позу покорности, подошел к Ларину, который даже не обернулся, и что-то сказал. Ларин ответил короткими рычащими фразами, чуть ли не по-японски… Когда мы оказались на улице, тренер Коля сказал мне, что шеф «Олимпа» готов принять мастера спорта по легкой атлетике Рекшана в группу при условии своевременной оплаты занятий. Я от предложения отказался, и скоро заниматься карате перестал. Но некоторые знакомства сохранил. Помню Колю Федорова – с ним я познакомился через брата, известного барда Витю Федорова. В августе 81-го в Ленинграде прошел сенсационный матч местных каратистов с мастерами из Осаки. Ленинградцы японцев, насколько я помню, победили. Выступал на том матче и Николай Федоров. Как-то мы с ним пытались проводить спарринг после возлияния. Сухое вино все-таки нарушило координацию мастера карате, и он, хотя и летал по воздуху, как герой компьютерной игры, в меня не попал.

В 1983 году карате в Советском Союзе запретили. Оказывается, боевики Леха Валенсы, лидера польской «Солидарности», состояли из членов секций карате и успешно бились с тамошней полицией.

Расцвет воинских искусств наступил в VI веке нашей эры. Китаец Бодхидхарма, в Японии известный как Бодай-Дарума, соединил существовавшие до него приемы борьбы с техникой и философией йоги и постулатами дзен-буддизма. Само карате как система сложилось на японском острове Окинава в XIV–XVIII веках. Поскольку местные власти постоянно вводили запреты на ношение оружия, население нашло способ самозащиты с помощью карате.

Кинофильмы и появление таких медийных фигур, как Брюс Ли, сделали карате всемирно известным и популярным. Но это все-таки результат распространившейся моды.

А Европа – это неразделимый организм, выросший из системы миропонимания, заложенного еще в античной Греции. А Греция – это, ко всему прочему, и Олимпийские игры. Удивительно, но мы знаем имя первого олимпийского чемпиона и дату, когда произошло это событие. Оно случилось в 776 году до нашей эры в религиозном центре Греции – Олимпии. Тогда соревновались лишь в беге на одну стадию, 192 метра. Победил в соревнованиях профессиональный повар и бегун-любитель Короибос.

Закончу главу словами ленинградского тренера Виктора Алексеева: «Хотим мы или не хотим, но мы бессознательно гордимся людьми, совершенными в движениях, и видим в них

себя…»

Тулупы для поляков и Карлос Сантана на Дворцовой

«Ленинградское время» моего повествования застряло в середине 70-х годов прошлого столетия потому, что в процессе инвентаризации памяти возникают все новые и новые истории и реалии тех лет. Такое ощущение, что я разбираю архив и постоянно нахожу среди пыльных бумаг дорогие моему сердцу документы.

К середине 70-х мое поколение начало активно бракосочетаться. Постоянно приглашали на свадьбы, да и сам я женился. Некоторые совершали ритуал во Дворцах бракосочетаний. Такая пошла мода, поскольку открылись для этой цели дворцы на Английской набережной и на улице Петра Лаврова. Они и теперь совершают там свое богоугодное дело, но в 70-е это еще казалось экзотикой. По дворцам вперемежку с брачующимися ходили делегации иностранных туристов. Помню, женим первого заводилу нашей университетской компании Никиту Лызлова во дворце на Неве. Взволнованные жених с невестой стоят возле золоченых дверей. Мы с Олегом Савиновым пристроились с букетами в хвосте ожидающих. В руках у Олега костыль, на ноге гипс. Накануне он, ускользая от ревнивого мужа одной своей лирической знакомой, выпрыгнул в окно и сломал пятку. Вид у него в гипсе устрашающий. И тут к нам с вежливой улыбкой подходит женщина-экскурсовод и спрашивает:

– Вы не разрешите группе итальянских гостей поприсутствовать на церемонии? Им бы очень хотелось посмотреть, как русские делают это.

Олег соглашается моментально:

– Конечно, можно. Жених и невеста сочтут за честь.

Итальянская делегация – человек двадцать пять. На вид не светловолосые северяне-лангобарды, а темнолицые южане или даже сицилийцы, как мы их представляли из фильмов про мафию. Жених, невеста, родня брачующихся за спиной сицилийцев не видят… И вот двери распахиваются, звучит Мендельсон. В прекрасной дворцовой зале проходит церемония. Прочувствованные слова произносит депутат. Тут же внушительная шеренга мафиозов. Когда жених и невеста подписывают документ и поднимают головы… Помню выражение ужаса на лице товарища. После он, смеясь, рассказывал, что первой мыслью было: «Откуда эти кавказцы? Как я их за стол посажу? На какие стулья?..» В свадебном фотоальбоме сицилийцы

остались навсегда.

Но дело не в свадьбах, а в том, как их использовали в рок-музыкальных целях. После разгрома Поп-федерации появилось много изобретателей, старавшихся проводить неофициальные концерты. А с залами была проблема. Одна из новых форм – проведение торжественных годовщин бракосочетаний. Из любителей рок-н-ролла находили женившихся год назад, и на их имя снималось обычно кафе-стекляшка. Помню, несколько раз проходил сейшен в районе метро «Площадь Мужества». Обычный рок-концерт, только со столами. На заказанные пятьдесят мест набивалось человек по триста. И все официально!..

А группа «Аквариум» продолжала медленно, но основательно делать карьеру. Одним из организаторов ее концертов был Андрей Тропилло. Спустя несколько лет он начнет всех тайно записывать в Доме пионеров. А пока «Аквариум» вернулся из Таллина и привез в Ленинград неизвестный у нас ансамбль «Машина времени». Условием своего выступления с «Аквариумом» Макаревич поставил покупку билетов до Москвы. Тропилло говорит, что он достал червонец, а остальные, мол, скинулись по рублю. «Машина» сразу поразила воображение слушателей. И стала ездить в Ленинград регулярно. Здесь «Машина времени» популярность себе и сделала.

Но в целом рок-музыкальный жанр находился в определенном кризисе. В Ленинграде на электрогитарах играли уже почти десять лет. Студенческий романтизм у первого поколения гитаристов проходил. Многие ступили в трясину быта. Половина энтузиастов гитары зачехлила, остальные стали устраиваться в официальные структуры. Во второй половине 70-х хороших музыкантов хватало. Целое поколение рокеров утонуло в кабаках, играя на «карася». «Карасем» назывался заказ за деньги. Хочешь послушать лезгинку – плати пять рублей. А после окончания официальной работы ресторанного оркестра – даже десять! Заказчики делились по категориям. Платили офицеры разных родов войск, морские и сухопутные, прося спеть про затонувшую лодку или что-нибудь иное, но в том же задушевно-патриотическом ключе. Южане заказывали национальные танцы с посвящением Ниночке или Зиночке. И со всем этим добром реально конкурировала песня «Ай шут ту шериф» – «Я убил шерифа» Боба Марли. Но стала она популярной после выхода альбома Эрика Клэптона «461 Ойшен бульвар».

Кто-то ушел на советскую эстраду. Двое моих старинных знакомых Михаил К. и Вова Ж. устроились играть в оркестре «Цирка на сцене». Барабаны и гитара. «Цирк на сцене» состоял из лилипутов. Дяди и тети были двадцатипятилетним музыкантам

по колено. Впрочем, оркестру вменялось создавать музыкальный фон, а не бегать перед зрителями.

«Цирк на сцене» с ходу завезли в тьмутаракань, поселив в деревянной гостинице с удобствами в конце коридора. Михаил и Вова купили поллитровку, чтобы махнуть по стакану и завалиться в койки. Только они сели за стол, как в номер вошли два дяди-лилипута, которых поселили вместе с музыкантами. Увидев поллитровку, дяди достали «маленькую» и подсели к столу. Михаил и Вова, налившие уже по полному стакану, покраснели, не зная, сколько наливать лилипутам. Но те стали строжиться и требовать по стакану. Что ж, налили и им. Старший, сорокалетний акробат, произнес тост: «За успешные гастроли, молодые люди!»

Выпили залпом. Закусили огурчиками. Только Михаил и Вова стали задавать вопросы о цирке, как лилипуты сперва онемели, а после одновременно упали с табуретов на пол. Начался переполох. Вызвали скорую. Отправили лилипутов в больницу с алкогольным отравлением…

К чему я это вспомнил? Не знаю. Маленькие всегда хотят поставить больших на место. И вот что из этого получается. Хотя у одного моего знакомого был любовный роман с лилипуткой. Говорит, получилось хорошо. По крайней мере, оригинально.

Вообще ленинградская жизнь становилась все более и более буржуазной. Это я понимаю спустя десятилетия. Социализм разъедали не испытания и невзгоды, а мирная и вполне сытая жизнь. Многие выпускники вузов отказывались трудиться по специальности. По разным причинам: кому-то было неинтересно, а кто-то не видел перспектив на должности младшего инженера за мизерную зарплату. Советская сфера обслуживания была довольно хилой, услуг предоставлялось меньше, чем требовалось. Кое-кто из знакомых пошел работать страховым агентом. В начале 80-х и меня втянули в мелкое надувательство социалистического государства. Тогда я уже иногда пользовался отцовскими «жигулями». Но, закончив спортивную карьеру, полностью погрузился в литературную жизнь, оказавшись у финансового разбитого корыта. Так вот, я подъехал в переулок за Спасо-Преображенской церковью, там же возникли страховщик и работник ГАИ. Эта самая ГАИ начала загнивать еще в далекие советские времена. Составив преступную группу, мы зафиксировали наезд неизвестного транспорта на «жигули». Позднее я за эту уголовщину получил рублей семьдесят. Основную сумму поделили страховщик с гаишником. Работали у меня знакомые и на бензоколонках. Там тоже делались если не состояния, то значительные суммы.

Возможно, я такой порочный тип, к которому липла всякая нечисть. Хотя у меня складывалось впечатление, будто бы вокруг все чем-то промышляют. И эти люди странным образом в студенческие годы были почитателями группы «Санкт-Петербург». Один приятель проделывал аферы с кенийскими аспирантами. Кенийцы покупали у него иконы, а однажды заказали дюар с ртутью. Ожидая возвращения аспирантов из солнечной Африки, экс-студент хранил ртуть под кроватью. И через месяц облысел.

Ко второй половине 70-х в хипповую моду стали входить овчинные полушубки. Россия, как известно, родина не только слонов, но и шуб с полушубками.

На одной из дружеских пирушек я познакомился с бас-гитаристом прославленной тогда польской группы «Червоны гитары». Еще в конце 60-х я напевал их песни, а Витя Райтаровский написал мне слова одной. Эту мелодию Северина Краевского я помню до сих пор: «Не му в ниц. Не му вже правджива тва. Добже вем. Добжевем цито мивош правджива…» Как-то так пелось.

Пообщавшись некоторое время с музыкантом прославленного коллектива, я вдруг услышал вопрос: «Можешь ли ты, друг, достать тулуп?»

У нас старались достать джинсы, американские военные ботинки, а у поляков вошли в моду русские тулупы. Такие обычно носят сторожа. Удивившись, я вспомнил, что у брата Александра имелось нечто вроде тулупа с надорванным рукавом. На следующий день я поехал на концерт «Червоных гитар» в ДК имени Кирова. У меня из-под мышки торчал грязный и рваный тулупчик. Музыканты стали бурно обсуждать и спорить, кому достанется русский раритет. Продюсеру «Червоных гитар» вещица оказалась коротковатой, а бас-гитаристу как раз. Я хотел тулупчик подарить, но поляк в ужасе отказался и стал навязывать деньги. В итоге этой торговли наоборот я вернулся домой нетрезвый и с двумя сотнями рублей в кармане. Рыдающему продюсеру я обещал найти другой тулуп. И что самое интересное – нашел. Всех поляков одел в тулупы почти задаром, но все-таки за деньги. Если б пошел по этой дорожке, то теперь был бы ого-го где! Не знаю где… Но кто бы тогда написал «Ленинградское время»?

Где-то в конце весны 1978 года главная газета города, партийная «Ленинградская правда», опубликовала информацию о том, будто бы 4 июля, в День независимости США, на Дворцовой площади для укрепления дружбы народов пройдет концерт советских и американских артистов. С нашей стороны, мол, споет

Пугачева, а с американской – Сантана. Карлос Сантана был, конечно, одним из любимых. По Ленинграду поползли радостные слухи, я же сразу сказал, что это чушь, никакого концерта не будет. К двадцати восьми годам я уже ко многому относился скептически.

Но и Сева Новгородцев по-вражьему Би-би-си 30 июня 1978-го заявил: «Четвертого июля, в День независимости Соединенных Штатов, в Ленинграде на Дворцовой площади должен состояться бесплатный концерт, в котором примут участие группы „Beach Boys“, „Santana“ и певица Джоан Баэз. По предположениям, зрителей может быть около двухсот пятидесяти тысяч. Запланировано, что английский кинооператор Дмитрий де Грюнвальд будет снимать это событие на пленку. Концерт финансируется известной джинсовой фирмой „Levi's Straus“, некоторые произносят ее как „Левис Штраус“. В Сан-Франциско по этому поводу уже и пресс-конференцию собрали, все выступали, говорили о развитии культурного обмена, о дружбе молодежи…»

Вражьи голоса я не слушал не по идеологическим, а по техническим соображениям: мой приемник «Ригонда» Би-би-си, «Голос Америки» и «Свободу» просто не принимал. Но многие знакомые ухитрялись ловить эти станции и со все большей уверенностью называли концерт Сантаны делом решенным. Особенно настаивал тогдашний приятель Юра Олейник. Он позвонил четвертого с утра и позвал присоединиться. Я же сказал, что пойду лучше в кафе «Сонеты» на улицу Толмачева и послушаю, как Корзинин и Желудов поют Клэптона.

Помню точно – день был солнечный, но не знойный. Когда я проходил от метро «Гостиный Двор» через Невский, минуя Зимний стадион и манеж Спортивного клуба армии, молодежь мне попадалась навстречу какая-то экзальтированная. А в кафе «Сонеты» тем временем осколки прославленной банды «Санкт-Петербург» занимались коммерческим искусством. Отпев положенный репертуар, музыканты начали наяривать тогдашние хиты. Главным хитом советского Ленинграда считался тот самый «Я убил шерифа». «Сонеты» не являлись кабаком в традиционном смысле – это было так называемое молодежное кафе. Тут лезгинку не заказывали. «Карася» музыканты ловили меньше, но эстетической радости получали больше.

Володя Желудов «Шерифа» пел здорово: «Тинь-тран-тран-тран-тран. Тра-та… Ай шут ту шериф…»

Приятели в пятый раз спели «Шерифа» и работу закончили, когда в «Сонеты» ввалился Олейник.

– Пока вы тут Клэптона, там Сантана! – сказал Юра.

Вид у него был возбужденный. Волосы всклокочены, на лбу уже подсыхал кровоподтек.

– Что у тебя с лицом? – спросил я.

– Это морячки-курсанты отвуячили ремнями. Они встали шеренгой, намотали ремни на кулаки и били нас бляхами возле коней Клодта.

– Кого вас? – удивился строгий Коля Корзинин, барабанщик.

– Тех, кто пошел требовать от «Ленинградской правды» Карлоса Сантану! – ответил Юра.

Музыканты разошлись, только мы с Николаем продолжали допрашивать Олейника. Юра нарисовал следующую картину.

Несмотря ни на что, к семи вечера на Дворцовую площадь стала подходить молодежь. Хотя никакой сцены на площади не построили, никакой звуковой аппаратуры не разместили, публика не расходилась. Вот как многие верили советским газетам! Целевая, как теперь говорят, аудитория стала обрастать просто зеваками и туристами. Толпа собралась внушительная. Но толпа без лидера, без конкретно проявленного желания, просто биологическая масса. Через некоторое время возникли милицейские «жигули», раздался мегафонный голос: «Граждане! Просьба разойтись! Никакого концерта не будет!»

При слове «концерт» некоторые граждане задергались. Милицейская машина прокатила туда-сюда и уехала, не добившись результата.

Еще через некоторое время со стороны улицы Халтурина, ныне Миллионной, показалась поливальная машина. Поливалка медленно проехала сквозь толпу, не добившись результата. А толпа становилась все больше, шевелилась, как инфузория. Но требований никаких не выдвигала. За годы советской власти эта самая власть полностью потеряла навык «работы» с уличными скоплениями сограждан. Тогда и спецподразделений типа ОМОН не было. Думаю, в тот момент в главных милицейских головах Ленинграда началась паника. Кто-то умный распорядился, и с той же Миллионной выкатилось уже целое подразделение поливальных машин. Они построились шеренгой и стали наступать на собравшихся. Толпа задвигалась. У нее, движущейся, появились вожаки. Через арку Генерального штаба многотысячное пассивное сборище фактически выдавили на Невский проспект и устроили невольную демонстрацию. Спонтанно возникшие лидеры придали движению смысл – идти к редакции «Ленинградской правды» с требованием концерта Сантаны. Невский в районе ресторана «Кавказский» успели перегородить автобусами. Но теперь уже организованный народ по приказу самопровзглашенных вождей просто поднял автобусы, отнес в

сторону и проследовал дальше. Появившейся милиции и всяким курсантам постепенно удалось идущих впереди разбить на части. Одни устремились к Аничкову мосту, где их встретили охочие до мордобоя морячки. Других погнали через «Катькин» садик в сторону Фонтанки. Юра возбужденно рассказывал, что паникующие менты хватали всех подряд, засовывали в милицейские «бобики», отвозили в соседние кварталы, высаживали задержанных и возвращались за новым уловом.

– Вот и выходит, что я был прав. Сантана не приехал! – сказал я.

– Но это форменное безобразие, – пожал плечами Юра.

Мы втроем вышли из кафе «Сонеты». Белые ночи заканчивались, но было светло. Вокруг нервно струилась публика. Мы уже выпили по стаканчику сухого вина, и поэтому внешние факторы нас не особо смущали. И зря! Не успели мы приблизиться к Невскому, как на нас выскочила группа милиционеров. Олейник все понял и шмыгнул в подворотню. Меня и Корзинина погрузили в «бобик» и отвезли в милицейское отделение на улице Жуковского.

– Кто такие? Паспорта есть? – спросил на бегу лейтенант.

Мы пожали плечами.

– Тогда сидите здесь! И ни-ни!

Офицер убежал. Мы с Корзининым честно отсидели в коридорчике минут сорок, а милицейские чины продолжали носиться туда-сюда. Осмелев, мы на цыпочках вышли во двор милицейского околотка, обрели волю и разъехались по домам.

На следующее утро позвонил Олейник и рассказал о героическом продолжении вечера. С Невского, мол, народ вытеснили на соседние улицы. Затем по проспекту пустили троллейбусы. Упорные ленинградцы, выйдя из примыкавших к Невскому улиц, погрузились в троллейбусы, которые и привезли всех обратно на Дворцовую. Теперь уж на исторической площади собралось совсем неприлично много публики, поскольку к любителям Сантаны примкнули и провожающие белые ночи обыватели…

Юра продержался до конца. Где-то в час ночи с последними сотнями радикалов он прошел через Дворцовый мост к Петропавловке. Затем по Кировскому мосту «300 спартанцев» взяли курс на Смольный, сменив экономические требования на политические. На улице Воинова их окончательно рассеяли. Но репрессий не последовало. Ведь это «Ленинградская правда» постеснялась сообщить об отмене концерта, фактически став провокатором. Хотелось бы мне встретить тех, кто спонтанно встал во главе народной колонны. Знаю многих, кто так или

иначе участвовал в манифестации, но народные вожди того вечера мне не попадались.

История показательная. Впервые с 1917 года именно рок-музыка вывела на улицы Ленинграда массу людей с хоть какими-то требованиями.

Минуло тридцать пять лет. За эти годы приходилось видеть мне и стотысячные манифестации. И разрешенные, и самостийные. И ОМОН, похожий на инопланетян…

Как-то я не поленился и посчитал… Выходит, допустим, возбужденная толпа на несанкционированный митинг или шествие. Не важна окраска митинга – важен факт. Тысяч пять граждан, к примеру, собирается под транспарантами, и в каждом гражданине веса килограммов 70 (5000 граждан умножаем на 70 кг = 350 тонн). Вот появляется человек сто … пусть не сто, а сразу тысяча выходит ОМОНов со щитами, дубинами, в шлемах, допустим, по сто килограммов в каждом (1000 человек умножаем на 100 кг = 100 тонн). Первые ряды митингующих или шествующих получают по башке, и все триста пятьдесят тонн бегут в страхе, не устояв перед массой в три с половиной раза меньшей…

Решение задачи элементарно, как дважды два. Следует просто отключить эмоции – боль, страх – и включить простые физические механизмы. У жителей Валдайской возвышенности, далее валдаистов, опыт многовековой. Пять тысяч человек должны явиться на митинг или шествие с поллитровками. При появлении ОМОНа все по команде выпивают 0,5 литра и ложатся. Боевики бить-то любят и умеют, а вот погрузить несколько тысяч совершенно пьяных человек в полицейские «воронки»…

Конечно, валдаизм – это, возможно, оригинальное российское политическое течение с элементами толстовства-гандизма. Но это мысли уже из других времен.

Вернусь в Ленинград! Заканчивались 70-е вместе с моей спортивной карьерой. Ближе к московской Олимпиаде в магазинах появились пепси-кола и американские сигареты. Сколько стоило пепси, я не помню, но «Мальборо», «Салем» и «Кэмел» стоили по рублю за пачку. Этот никотиновый яд производили в Финляндии. Появился завод «Мальборо» и в городе Кишиневе, но молдавские сигареты этой марки особо не котировались.

В 1977 году вышло постановление ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью». Как это повлияет на судьбу моего поколения, я еще не знал.

Черный Ленин с зеленой головой

К московской Олимпиаде 1980 года я окончательно распродал коллекцию виниловых пластинок. Практически весь ранний «Роллинг Стоунз» ушел в руки Жени Останина. Художник Женя позже бросил все, купил хутор на российско-эстонской границе и уехал туда жить с моими роллингами – «Аут оф ауа хэдс», «Битвин зы батон», «Автомас». В 80-е там жить было хорошо. «Сел на автобус, – рассказывал Останин, – и через десять минут ты оказываешься в маленьком европейском городке с ратушей и костелом. Заходишь в кафе – все чистенько. Выпиваешь чашку кофе с рюмкой ликера и едешь обратно в русскую глушь». Потом эстонцы отсоединились и организовали погранзаставу. Художник Женя, проживая в сотне метров от границы с Евросоюзом, является самым западным славянофилом, и я как-нибудь навещу его – посмотрю, как он там плетет лапти и слушает мои пластинки.

Году в 78-м я обнаружил в семейном диване недопроданный двойной альбом Джими Хендрикса «Электрик леди лэнд». Обрадованный находкой, я отправился с Хендриксом к Останину. Я обитал тогда на проспекте Луначарского, а он купил квартиру в районе проспекта Художников. Эта северная часть Ленинграда стремительно застраивалась, но еще имела значительные по объему пустоты. На смену устаревшим «хрущевкам» пришли более продвинутые модели. До сих пор в них живет полгорода. Когда я перебрался на север, ветка метро доходила только до станции «Лесная». Приходилось вечно толкаться по автобусам, добираясь до дома. Года полтора мне «посчастливилось» прожить на Сиреневом бульваре – это вообще был полный край, конец города. Зато в нашем квартале имелся универсам – такие тогда только появлялись. Я отправился туда однажды за картошкой, а вернулся домой с джином. Весь супермаркет был заставлен знаменитым английским «Бифитером» со стражником в красной одежде на этикетке. Стоил валютный «Бифитер» копейки.

Ленинград по некоторым позициям кормил себя сам. Картофель, капусту и морковь в большом объеме собирали в области. Город окружало множество птицефабрик, типа Русско-Высоцкое. Куриц и яйца ленинградцы поедали собственного произрастания. Иногда появлялись курицы из Финляндии. Постоянно что-то заготовляли дачники. Некоторую продовольственную безопасность мы блюли. А вот петербуржцы теперь жуют в основном привозную еду.

Когда ввели в действие станции метро «Площадь Мужества»,

«Политехническую» и «Академическую», жить стало сразу легче… Женя Останин тогда шил поддельные американские джинсы, успешно отправляя их на черный рынок. Я рассчитывал на его финансовые возможности. Останин двойник Хендрикса купил за 80 рублей. Эта сумма на некоторое время улучшила мой семейный бюджет. Отпраздновали сделку мы бесконечным прослушиванием композиций гитарного гения и посредством восхитительного распития вин отечественного разлива.

Лето. Ночи белые, то есть серые, как солдатские портянки. Гражданка. В окно виден проспект Луначарского и бесконечные пространства новостроек. Джими-левша наяривает на стратакастере и поет бобдилановскую песню про сторожевую башню.

– Ах! – восторгаюсь я.

– Эх-ма! – вторит Женя.

Скоро солнце займется, и пора будет домой. Я вышел, пошатываясь, на проспект наркома просвещения. Ощущение счастья было безмерным. Идти по прямому проспекту три километра до дома не хотелось. Хотелось путешествовать и делиться радостью бытия. Я заметил каток и нескольких мужиков в оранжевых жилетах. Они лениво бросали асфальт в дырки на проспекте.

– Люди! – обратился я к народу и начал импровизировать, как Джими: – Подвезите до дома!

– А? Что такое? – заволновались дорожные рабочие.

– Ну не знаю! Ну, на пол-литра даю!

Рабочие тут же побросали лопаты, один из них сел за руль катка, а меня пригласили устроиться рядом.

Каток катил со скоростью пять километров в час. Оранжевые жилеты, боясь профукать водку и не доверяя, похоже, водиле, семенили за катком, будто почетные факелоносцы. Я пел песню с «двойника» Хендрикса, поставив ногу на ведро с соляркой. Горланил «Сторожевую башню».

– Тара-ра-ра-ра зы вотчтауэр!

Каток катил по проспекту, прямому, словно мажорный блюзовый квадрат. Но востоке всходило солнце, и счастье продолжалось навсегда…

Но денег становилось все меньше, обязательств – все больше и больше. Иду я как-то хмурый по улице Пестеля, и вдруг на меня налетает крупный человек с рыжей бородой. А в бороде капуста.

– Друг! – кричит детина и лезет целоваться. – Друг! Давай вместе работать!

– Давай, – соглашаюсь я.

Напавшего не помню почти. Что-то смутное в памяти – училище имени Мухиной, кажется. Серега – так его зовут. И он предлагает отправиться в городок Устюжна, в Вологодской области, и починить двух Ленинов за деньги.

– Давай, давай, – повторяю я. – Но в Мухе я играл на гитаре, а не обучался изобразительному искусству.

– Какая разница! – отмахивается Серега.

Несколько лет назад он на спор написал на дверь деканата и его исключили из студентов. По протекции стал Сергей тут же главным художником Ленинградской области. Сидел в Смольном и распределял денежные заказы. Коньяк лился по Смольному рекой. Секретарши выбегали из кабинета, подтягивая колготки. После областные художники-монументалисты что-то сморозили с могилой дедушки Пушкина, с Ганнибалом. В партийной газете появилась заметка. Тут же началось разбирательство. Чуть в узилище Серегу не посадили по воле Романова, чудом уцелел. Сейчас хоть тысячу раз напиши про воровство в высших сферах с конкретными именами и суммами – никто не среагирует. А в советское время печатное слово было часто смертельной силой.

Выезжаем в Устюжну. Октябрь на дворе. Я готов работать на подхвате, чтобы прокормить семью. Серега обещает местному политбюро сделать из двух треснувших серебряных Ленинов двух новых и под гранитную крошку. Местному партруководителю культуры Серега посулил мелкую мзду, и поэтому гранитный проект переиначивается на старую бронзу. Черные Ленины, одним словом, с зелеными головами! В итоге монументы я делал один. Голова и пиджак вождя мне знакомы не понаслышке. Собственными руками сажал на эпоксидный клей конечности, красил черной краской, подкрашивал зеленью башку и плечи. Старался, чтобы Ленины получились похожими на Медного всадника. Все рассказать – совести не хватит.

Второй «всадник» находился в обезлюдевшей деревеньке. По-соседству функционировала сельская церковь, и власти требовали идеологической борьбы. Бродили тощие коровы и старухи в ватниках. Холодные небеса висели высоко. Совесть страдала, но в разумных пределах. Не мы, так кто-нибудь другой разорит колхоз.

Городской памятник комиссия приняла без проблем. В деревне же местные жители вздрогнули, увидев черного вождя с ядовито-зеленой башкой.

«Серебряный был, красивый, – запричитали старухи, – а этот черт какой-то!»

Мздоимец спас наш труд. И на следующий день, получив килограмм денег, мы бежали огородами из гостиницы на

автобусную станцию. Урыли в Питер удачно.

Через пару недель из Устюжны вернулся художник, расписывавший фронтон местного ДК библейскими старцами. Его евреи строго смотрели на русскую галиматью глухомани.

Художник сообщил:

– Краска стала подсыхать, и зелень проступила еще больше. Стал ваш Ленин ниже пояса черный, а выше – зеленый. Фифти-фифти. Они мужиков за литр наняли обратно покрасить серебрянкой.

– Слава богу, – успокоился я. – Хватит с меня изобразительного искусства…

Это самый конец 70-х. Лет через двадцать смотрю телевизор. То ли форум демократической общественности, то ли попсовый фестиваль. Посреди правительства стоит Серега с вазой и собирается ее вручить певице. А на вазе – Медный всадник. Черный Петр с зеленой головой!

Совсем недавно мы с художником Дмитрием Шагиным ехали из Вологды в Великий Новгород. Оказались в районе Устюжны. Я взмолился: «Давайте выйдем, посмотрим, цел ли памятник…»

Машина остановилась на улице Коммунистической. Была суббота, на соседней улице шла бойкая торговля калошами и трусами узбекского производства. Ленина мы нашли. То, что от него осталось. А осталась только асфальтовая площадка. Вокруг нее как раз трусами и торговали. Местная буржуазия, свергая советскую власть, видимо, памятник председателю Совнаркома обрушила, как парижские коммунары Вандомскую колонну.

Мне жаль.

Такой вид деятельности назывался шабашкой. Многие повзрослевшие приятели, поддерживая семейные ценности, устраивались летом во всевозможные строительные бригады и возвращались через месяц-другой в Ленинград с приличными суммами.

Тот же Коля Баранов, которого я уже несколько раз упоминал, ездил на Дальний Восток. Добрался даже до Камчатки. И мне пришлось втянуться. В первой половине 80-х я летом уже вовсю махал топором, приняв участие в возведении шести или семи бревенчатых домов. А в Калужской области как-то полтора месяца строил посреди русского поля цех. Как это умудрялось соединяться с литературой и рок-н-роллом, теперь мне сложно сказать. Могу только вспоминать факты…

В 1979 году советское руководство ввело в Афганистан, как тогда писали, «ограниченный контингент войск» для помощи дружескому режиму Бабрака Кармаля. Печальный опыт американского вторжения во Вьетнам ничему дряхлеющих

монстров коммунистического режима не научил. Мина в советское государство была заложена. Время пошло. До превращения Ленинграда в Петербург оставалось чуть более десяти лет.

Но в бытовой нашей жизни ничего особого не случилось. Освободившись от дум про олимпийскую карьеру, у меня появилось больше времени и сил для расширения круга богемных знакомств. Я без устали упражнялся сразу во всех жанрах художественной литературы. Освоил даже терцины. Вот, к примеру:

Стать бабочкой бы мне, стать муравьем, пчелой,
Чужою сутью стать, чужою оболочкой,
Болтаться б яблоком на ветке, как брелок,
В письме твоем последнем стать намеком, точкой,
Быть ветром вкруг твоих волос, коснуться слез,
На платье стать твоем ажурной оторочкой…

Прочитав несколько пьес Кристофера Марло и Бена Джонсона, современников Шекспира, я тут же и сам изваял пьесу пятистопным ямбом. Что-то с этим безумием следовало делать. Через экс-басиста банды «Санкт-Петербург» Сергея Лемехова я познакомился с карикатуристами Жорой Светозаровым, Славой Белковым, Жигоцким, Сергеевым, Стрельцовым. Это такой Ленинградский клуб карикатуристов. Светозаров, его председатель, тогда прославился следующей историей. Отправив в Италию на конкурс картинку, он этот конкурс выиграл и получил приглашение приехать за наградой. Жора отправился, не знаю уж куда, выправлять заграничный паспорт. На него советские чиновники посмотрели как на сумасшедшего и в Италию не отпустили. А я был из тех немногих, кто за пределы страны выезжал, что вызывало интерес. Еще мог спеть под гитару – меня постоянно приглашали в компании. А когда я узнал, что карикатурист Белков литераторствует, я познакомился с его, не побоюсь этого слова, гениальными текстами и сразу понял, что попал в знакомую мне по спорту конкурентную среду.

Белков, тогда мужчина лет тридцати, невысокий, спортивного сложения, с падающими на лоб волосами, бородкой и усами, с выразительным и простоватым лицом. Однажды у Светозарова собралась большая компания послушать поэта. Белков долго пил чай из блюдечка, все смотрели на него. Хозяин потушил большой свет, оставив лишь настольную лампу. Все выпивали и закусывали, затем затихли.

Белков начал:

Унылая пора настала, господа.
Как коконы, пусты родильные дома.
Счастливых встреч на улицах не жди
И в шлюх не тычь – их нету на углах.
Вечерней мглой иди в сады,
Но даже там нет женщины, рожающей в кустах.
Умерить чем тоску? Что делать нам?
Верстать пасьянс колодой карт,
В которой восемь дам?
Иль бремя эротических утех
Перенести на контурную карту
Разгулами в бродвейских кабаках,
Загулами в борделях Монте-Карло?
…Но краток час ночных метаморфоз
Нирвана грез, желаний перепалка.
Унылая пора настала, господа,
Нет сказочных принцесс – убила их кухарка!

Никто не смел аплодировать, все ждали продолжения.

«Что-то стало совсем жарко», – произнес Слава и мгновенно разделся догола.

Все вздрогнули от выходки поэта, постепенно освоились и перестали отводить глаза. А Белков еще долго читал, голый и посиневший от холода.

Со Славой мы не очень близко, но сошлись. На его слова я написал три песни, они вошли в альбомы банды «Санкт-Петербург». Особым успехом на квартирниках пользовался «Красный бант»:

С красным бантом к тебе приду,
с революционным сердцем бунтующим.
Ты революция. И я штыком
Защищу твою душу и туловище.
С красным бантом к тебе приду,
Расстреляю всех провокаторов.
С красным бантом к тебе приду,
С красным бантом приду и с плакатами…

Однажды Белков позвонил и сказал:

– Предлагаю тебе съездить со мной к поэту Олегу Григорьеву.

Я про Олега кое-что слышал. Все читали его знаменитое четверостишье:

Я спросил электрика Петрова:
«Для чего на шее этот провод?»
А Петров не отвечает,
Только ботами качает…

Цитирую, пардон, по памяти.

– С радостью навещу поэта Григорьева, – ответил я.

– Только я заеду на работу и возьму спирта, – добавил Белков.

Для меня уже казалось естественным ехать в гости к поэтам не с пустыми руками. Вспомнить точно не могу, но мы укатили куда-то далеко на юг – в Дачное или в Купчино. Стоял теплый сентябрь. Живой классик проживал на первом этаже блочного дома. По крайней мере, на одном из первых. Это оказался мужчина средних лет с несколько одутловатым лицом, ниже среднего роста. Он ввел нас в комнату, а увидев бутылку спирта, которую Белков сразу же вручил классику, резко оживился. Из кухни пришла замызганного вида женщина и унесла спирт разводить. По началу разговор не клеился, но после первой рюмки Олег поднял с полу школьную тетрадку, открыл ее, сказал:

– Вот новое вчера написал. А то, что позавчера написал, ханыги использовали. Они на моих тетрадках селедку раскладывают.

Олег Григорьев тоже был гениален. Чем короче он писал, тем убедительней. Некоторые стихи умещались в одну строчку. Где-то часа через полтора, проведенных со стихами и спиртом, Григорьев вдруг встал перед нами на колени и сказал просящим шепотом:

– Не бейте меня, пожалуйста.

– Что вы! Что вы! – воскликнули мы с Белковым и поспешно ушли.

Постановление ЦК, которое я вспоминал, думаю, было результатом аналитической работы, проведенной специалистами из госбезопасности. В среде творческой молодежи росло недовольство. Социальные, как теперь говорят, лифты перестали работать. Творческие союзы каменели. В стороне от них старались проявить себя непризнанные художники, литераторы, надвигалась, как Мамай, русская рок-музыка. Власть хотела дать отдушину для недовольных, стала что-то инициировать – так появился Клуб молодых литераторов при Доме писателей, литературный Клуб-81, разные объединения художников, в 1981 году был создан и Ленинградский рок-клуб.

Стану я входить в 80-е ленинградские годы по направлениям.

Для начала разберусь с литературой и расскажу, какие препятствия стояли перед человеком, желавшим делать карьеру литератора. Расскажу и о тех бонусах, которые приносило литературное признание.

Сделать литературную карьеру

Как я пытался стать писателем… Не буду говорить о гекатомбах времени, уходивших на освоение основ ремесла. А расскажу я о процедуре карьерного роста.

У ленинградца, начавшего писать рассказы и повести, было три пути. Первый: написал, напечатал текст на машинке, прочитал сам себе, положил в стол и забыл. Второй путь предполагал вращение в кругах непризнанных гениев, отвергнутых литературой официальной. А значит, участие в разных домашних читках, машинописных журналах самиздата, публикация где-нибудь в странах НАТО, конфликт с властями и отъезд из Советского Союза в поисках более сладкого хлеба. Или, для самых упорных и зловредных, отправка на зону…

Первый путь меня не устраивал, по второму я слегка потоптался – имел разных пишущих знакомых из заходивших в кафе «Сайгон». Как-то мне намекнули на то, что помогут опубликовать текст на Западе, я даже загорелся, не понимая, к каким последствиям сия забава может привести. Но разговор продолжения не имел. Мне хотелось хорошо писать и прозу публиковать. Советская власть предлагала ряд последовательных действий. В Ленинграде существовало множество так называемых литературных объединений. Какой-либо публикуемый автор, член Союза писателей, за зарплату собирал на базе или клуба, или редакции многотиражной газеты начинающих авторов, проводил с ними встречи, авторы что-то читали, затем обсуждали. Высказывался и руководитель. Если появлялся талант, его рекомендовал для участия в конференции молодых писателей Северо-Запада. Такое шоу каждые два года проходило в стенах Дома писателей на улице Воинова, в бывшем дворце графа Шереметьева, это наискосок от Большого дома Комитета государственной безопасности. Если молодого положительно отмечали, то могли последовать публикации. В Ленинграде существовал популярный молодежный журнал «Аврора». Имелись пионерские журналы «Костер» и «Искорка». Первый считался всесоюзным и выходил тиражом почти в миллион экземпляров. Вторые были местного разлива, но более демократичны в общении с молодыми авторами. В так называемые толстые журналы «Нева» и «Звезда» пробиться считалось запредельной мечтой.

Вообще, нужно было погружаться в среду, со всеми знакомиться, заводить друзей и собутыльников. Тут каждый изобретал свою методику. Некоторые нажимали на женскую, то

есть более слабую половину советского анахронизма. Так, например, богемно-сайгонский поэт-сердцеед Витя Ширали, имевший порочащие связи в антисоветской среде, умудрился в самую глухую пору так называемого застоя опубликовать книжку в партийном Лениздате.

Если у начинающего автора с продвижением на низовом уровне проблем не возникало, то он мог попасть в сборную Ленинграда по литературе и поехать в Москву на Всесоюзное совещание молодых писателей. И там завести еще больше новых знакомых. Некоторые, взрослые и дипломированные специалисты в технических областях, поступали на заочное отделение московского Литературного института, получая квалификацию редактора. Но главное, постепенно обрастали знакомствами и полезными связями. Не у всех получалось извлечь из этого пользу, хотя бы для здоровья. Поэт Геннадий Григорьев, недоучившийся филолог, я его цитировал, когда вспоминал Ленинградский университет, превращал свои поездки на сессии в безостановочный банкет. Вместе с русскими авторами в Литинституте учились писатели из союзных республик. Они жаждали переводов на русский язык. Происходило это приблизительно так. Произведем реконструкцию событий.

В комнату институтского общежития, куда поселили Геннадия, робко стучат.

– Войдите, – вальяжно произносит ленинградский мэтр.

Распахивается дверь, в нее входит, заискивающе улыбаясь, человек с Кавказа. В руках у него поднос. На подносе армянский коньяк, вино «Лыхны», бастурма, гроздья винограда.

– О чем поэма, коллега? – снисходительно спрашивает ленинградец.

Южанин накрывает на стол. Произносит первый, второй, третий тост за Ленинград, а затем объясняет:

– Гордый мужчина увидел красавицу у реки. Он решает обратиться к ее отцу. Он хочет жениться. Горы вокруг такие прекрасные, и орел гордо парит между ними. Но братья красавицы решают помешать…

– Понял, понял, – несколько надменно перебивает Григорьев и всю ночь сочиняет поэму. Получается у него блистательно. К нему очередь стояла из национальных авторов. Многие с этими так называемыми переводами делали себе имена.

А мой давний знакомый Владимир Шалыт, более известный под псевдонимом Шали, рассказывал, как переводил стихи начинающего чеченского поэта Ахмеда Закаева. Теперь этот Закаев числится среди террористов и скрывается в Лондоне.

Если уж я вспомнил Геннадия Григорьева, то следует назвать

еще один из видов литературной деятельности, которой Геннадий не брезговал. Он был истинным стихотворцем, и по большому счету, я думаю, для него не имело значения, о чем писать. Он просто пел, как весенняя птица.

Геннадий одно время работал в многотиражной газете «Метрострой». На одной из комсомольских гулянок после блистательной поэтической импровизации про Патриса Лумумбу его запомнили и иногда приглашали выручать. Несколько раз в год проходили празднования тех или иных памятных партийно-комсомольских дат. В парадном зале собиралась партийная публика, элита советского Ленинграда. И для них разыгрывали пафосное представление. Тексты для участников представления писали профессионалы. Случалось, они допускали ошибки. И тогда появлялся Геннадий Григорьев. Словно чистильщик в американском фильме «Никита». Его находили, иногда нетрезвого, иногда отрывали от возлюбленной. Везли на правительственной автомашине «чайка» в Смольный. Ставили на стол полюбившиеся поэту красный коньяк и бутерброды с красной рыбой, закрывали в кабинете, предоставляя гению Геннадия свободное поле для безумств. Геннадий входил в образ и каждый час поднимал трубку и голосом профессионального шантажиста произносил:

Мы видим, как в городе Ленина
растут домов этажи.
Решенья партийных пленумов
уверенно входят в жизнь!

И по ту сторону монолога строчил карандаш, фиксируя григорьевские поэтические озарения.

– И еще, – говорил Гена. – Допишите к октябрятам!

Он мечтательно гладил стакан и декламировал:

Ученик получит двойку.
Он не выучил урока…
Из таких потом на стройке
Никогда не выйдет прока!
Кто болтает без умолку,
Входит в класс после звонка…
Из того не выйдет толка
У токарного станка!

И еще вам! – вскрикивал поэт:

Тот, кто мощь наращивает бешено,
пусть учтет: ему держать ответ…
говорят нейтронным бомбам «першингам»
люди всей планеты: «Нет! Нет! Нет!»

«Почему – люди?» – подсказывал талант. И поэт, отринув «люди», втискивал в строку «пионеры».

Тем временем в огромном здании Смольного происходил ряд одновременных механических действий: через несколько минут вдохновение Григорьева становилось объективной реальностью машинописного текста. И странички отправлялись по инстанциям. Их читали и визировали. Если возникало подозрение в несоблюдении социалистической политкорректности, то поэта просили придумать другой вариант…

После из сейфа доставались бутерброд с красной рыбой и стакан с красным коньяком. Поэтическо-партийный круговорот повторялся. Но подобная удача выпадала редко. Да и не всякий соглашался идти на сделку с совестью. Хотя поэты, планировавшие делать официальную карьеру, обязаны были написать хотя бы несколько так называемых «паровозов». «Паровозами» назывались стихи про войну, про партию или комсомол или хотя бы про строительство Байкало-Амурской магистрали.

Пройдя испытания на профессиональную и социальную пригодность, начинающему автору следовало попытаться опубликовать свои опусы в сборниках молодых авторов. Каждый год издательство «Советский писатель» выпускало альманах «Молодой Ленинград», а партийный Лениздат представлял публике сборник прозаических сочинений «Точка опоры». Пройдя этот уровень сложности, следовало собрать книгу и найти знакомых, которые порекомендуют ее в издательство. В Ленинграде имелось только два издательства, с которыми имело смысл пытаться наладить отношения: уже упоминаемые «Советский писатель» и Лениздат. Авторы, пишущие для детей и подростков, могли попытать счастья в Детгизе, Детском государственном издательстве. В Доме Зингера на Невском проспекте находился офис филиала московского издательства «Художественная литература». Но там издавали только классиков – живых или мертвых.

В карьерной среде следовало держать себя в руках: спьяну легко было нахамить какому-нибудь должностному лицу и сломать себе жизнь навсегда. На какую, однако, ерунду уходили месяцы и годы единственной жизни. С ужасом вспоминаю эту

часть своей биографии и даже удивляюсь – неужели мне все это удалось! Тут помогли природная наивность и спортивное упорство…

Перехожу к фактам. Не помню, кто позвал меня на собрание литературного объединения, где-то на Петроградской стороне. При редакции многотиражки одного научно-производственного объединения собирались местные поэты и прозаики. Руководил собраниями поэт Леонид Хаустов. Перед походом для знакомства я прочитал его книжку. Поэт побывал на фронте, был ранен и много писал о войне. Это были такие традиционные стихи. Без выкрутасов. Чтобы сильно не робеть, я позвал с собой Толю Гуницкого. И вот два столпа русского рока, организаторы групп «Санкт-Петербург» и «Аквариум», отправляются на производство. Лично я до поры скрывал свою хипповую личину, справедливо считая, что славное подпольное прошлое вряд ли поможет делать карьеру советского писателя. Мы с Толей пришли на завод. Поэт Хаустов встретил нас благосклонно. Ответственным секретарем литературного объединения был редактор многотиражки поэт Игорь Западалов. На тогдашней встрече заводские пииты читали всякую дрянь. Леонид Хаустов их корил, но иногда и хвалил. После окончания встречи Западалов произнес:

– А теперь перейдемте в другую залу!

Мы перешли и оказались за столом со множеством бутылок и закуской. Часа через два коллективного бражничества Леонида Хаустова отправили домой на такси, и компания распалась на части. Туманно, но помню, как Рекшан и Гуницкий сидели на спиленном тополе возле гостиницы «Выборгская», а поэт Западалов, размахивая бутылкой, читал свой стих. Прошли десятилетия, и в цитате возможны неточности:

Какая-то черная птица,
С гравюры старинной слетев,
Метнулась к далекой зарнице,
Крылами… (дальше забыл что) не задев!

Руководитель Хаустов меня запомнил и пригласил к себе домой с рассказами. Я приехал к нему в район возле станции метро «Нарвская». Поэт жил в одном из двухэтажных домов, построенных после войны пленными немцами. Хаустов болел, возлежал, как Некрасов на известной картине.

– Читай, – сказал поэт.

Я прочитал ему рассказ, который позднее получил название «Молодое вино». Этот рассказ не про вино, а про спорт. В том смысле, что какое оно, молодое вино моих девятнадцати лет.

– Прекрасно! – воскликнул Хаустов. – Ты будешь спортивным писателем! Я рекомендую тебя на конференцию!

Ленинградское отделение Союза писателей как раз готовилось к съезду молодых. Молодыми считались авторы не старше тридцати пяти лет. Но иногда приглашали и сорокалетних.

В писательский дворец мне уже приходилось захаживать. Первый раз я туда попал с выставкой приятелей из Ленинградского клуба карикатуристов.

Дворец был – будь здоров! Принадлежал одному из отпрысков богатого рода Шереметьевых. Если перед Литейным мостом свернуть с проспекта налево, на улицу имени революционера Воинова, то сразу за коротким переулочком вырастало это здание. Парадный вход находился в переулке, но по отечественной привычке был заперт. При мне открывали только его только один раз, когда выносили гроб с писателем Федором Абрамовым. Но о том, как я нес гроб с советским классиком, расскажу лучше в другой раз.

Со стороны Невы Дом писателей поражал строгой красотой линий. Он и теперь поражает, но находится уже не в писательских, а в буржуйских руках. На моей памяти во дворец писатели всегда входили с улицы Воинова. Дверь была узковата, за дверью в будочке сидел дежурный цербер – сердитый мужчина из отставных вояк. На первом этапе моего проникновения в советскую систему я туда и попасть без блата не мог.

Миновав охранника, можно было спуститься направо по ступенькам в полуподвал, где располагался гардероб. За гардеробом – туалет. Далее снова следовало подняться по мраморным ступенькам. Вы оказывались между парадными дубовыми дверями и роскошным зеркалом. В нем искривленно возникала ваша вовсе не аристократическая одежонка. Перед дворцовой закругленной лестницей стоял, криво сработанный в полтора роста, гипсовый памятник Владимиру Маяковскому. Поэт, видимо, олицетворял победу пролетариата над правящим классом. Можно было и дальше подняться по все более и более роскошной лестнице в актовый зал, окруженный всяческими гостиными. Сведущие могли проникнуть направо в потаенную дверь. За дверью находилась великолепная бильярдная. Можно было свернуть в ближайшую дверь направо и войти в ресторан, состоящий из двух залов. Один открывали для банкетов, другой работал ежедневно. Стены его были отделаны резными дубовыми панелями. Половину одной стены занимал витраж с гербом Шереметьевых. В окно видна была Нева, на противоположном берегу виднелся крейсер «Аврора». Из ресторанной залы был

проход в бар.

Я описал, так сказать, увеселительную часть дворца. Имелась и деловая. От входа лестница поднималась вверх. Справа на втором этаже находилась иностранная комиссия и, кажется, бухгалтерия. Между этажами расположилась очень приличная по составу библиотека с читальным залом. Поднявшись выше, можно было оказаться в предбаннике руководителя организации и его партийного куратора. Некоторое время такую роль исполняла поджарая и властная, впрочем, вполне вменяемая и симпатичная женщина по имени Воля. Воля Николаевна. Начальником организации при мне был поэт Анатолий Чепуром. В чем заключалось его руководство, сказать теперь сложно. Пройдя по загогулинам коридора, можно было добраться до большой дворцовой комнаты. Это был Клуб молодых литераторов. За столом сидел одноглазый фронтовой поэт Герман Гоппе, человек эмоциональный, нервный, хороший. Возглавлял комиссию Союза писателей по работе с молодыми литераторами поэт-песенник Вольт Суслов. Человек тоже замечательный, фронтовик. Комната клуба соединялась дверью с Мавританской гостиной, украшенной арабской резьбой. Здесь сидели так называемые референты. С некоторыми из них я позднее подружился. Чем они занимались, понять было совершенно невозможно.

Вскоре мне разрешили записаться в библиотеку. Там я проводил много времени.

У Германа Гоппе помощником трудился рыжеволосый и рыхлый на вид поэт Саша Петров. Появившись впервые в Доме писателей и ища зацепку, я угостил Петрова в баре водкой, после чего тот согласился взять на рассмотрение папку с моими рассказами. Я несколько месяцев ждал, пока Петров их прочитает. Но поэт про папку забыл. Пришлось его снова вести в бар. Но это бы не помогло, если бы не звонок Леонида Хаустова. Тот, оказывается, входил в правление и вообще обладал почти мафиозной силой. Многие поэты его ненавидели.

1979 год. Участники недавно созданного Клуба молодых литераторов летом проехались по Ленинградской области на машинах. Это была официальная колонна – поэты читали трудящимся стихи и мешали трудиться. Удалось даже выступлениями заработать некоторую сумму денег, которую собирались потратить на клубные нужды. Но поэт Петров, казначей, их пропил. Герман Гоппе, отругав подчиненного, стал поэта спасать. Меня и еще нескольких попросили написать заявление на предоставление материальной помощи в размере пятидесяти рублей. Хотя я с семьей еле сводил концы с концами, но для литературной карьеры было ничего не жалко. Полученные

деньги я передал поэту. Тот поблагодарил кивком и тут же отправился в ресторан писательского дворца. Затем Петрова просто выгнали, и его место занял поэт Сергей Ковалевский. Он недавно то ли закодировался, то ли подшился. Поэт проявлял старательность на службе у Гоппе и Союза писателей. Был Ковалевский довольно крупным книжным спекулянтом – ему продавали книги и бедные начинающие вроде меня, и довольно известные, члены Союза писателей, когда не хватало денег для визита в ресторан с шереметьевским гербом.

Так в конференции молодых писателей Северо-Запада я поучаствовал и добился определенного успеха. Руководители семинара, писатели Слепухин, Семенов-Спасский и Самуил Лурье, отметили напор моей прозы, знание материала, умение писать диалог. Кроме всего прочего, газета «Смена» неожиданно опубликовала несколько моих стихотворений. Их из груды предоставленных Клубом литераторов выбрал сам главный редактор Селезнев. Спустя годы этот Селезнев стал спикером буржуазной Государственной думы от КПРФ. А теперь куда-то пропал.

К лету 1980 года я окончательно расстался со спортом. То есть перестал получать зарплату на объединении «Светлана», где был оформлен маляром третьего разряда в вычислительном центре. На самом деле прыгал я за «Светлану» и общество «Зенит» в высоту, что делал последние пару лет со все меньшим энтузиазмом. Я еще мог бы протянуть в «малярах» какое-то время, но хотелось самому уйти с гордо поднятой головой. Тем более конференция одобрила мои опусы. И скорый литературный успех виделся не за горами. Я разослал рассказы в несколько московских молодежных журналов и нетерпеливо ждал благосклонных ответов.

Летом 80-го мне вдруг выпала новая радость – творческая командировка на Дальний Восток. В советские времена была такая практика: дабы молодой автор не тратил свои дарования на бары с ресторанами, где расходовал свой талант на алкоголь и, возможно, женщин сомнительного поведения, его отправляли куда подальше. Добровольно, понятное дело, предлагали съездить куда-нибудь далеко и посмотреть, как живет народ. Толпы литераторов летали на строительство Байкало-Амурской магистрали, затем писали восторженные стихи. И эти стихи, очерки, рассказы публиковались большими тиражами, принося литераторам стартовый карьерный капитал и просто приличные гонорары. Можно было написать заявление о том, что собираешься изучать проблемы экологии. Или поехать по местам исторических комсомольских строек. Клуб молодых литераторов

курировал областной комитет комсомола. Я уже вышел из комсомольского возраста, да и в комсомоле фактически не состоял. Тем не менее я отнес заявление Володе Ивченко, который отвечал у них за литературу, и в августе месяце вместе с поэтами Шестаковым и Ковалевым улетел в город Хабаровск.

Успешная литературная жизнь, казалось, распахивала объятия. Но это было не так. Предстояло еще помыкаться.

Обезьяна меру знает

Рассказы я писал авторучкой в блокноте, затем перепечатывал на машинке. Более трех читаемых копий не пробивалось. В некоторых редакциях принимали только первые экземпляры. Половина моей литературной жизни прошла за бесконечным колотиловом по клавишам пишущих машинок. Но эти машинки еще следовало купить. Сначала я приобрел пишущую машинку советского производства «Москва» за 165 рублей. Довольно дорого, где-то средняя месячная зарплата. Она, естественно, оказалась плохой. Затем титаническими усилиями я накопил на югославскую «Эрику». Она стоила уже 230 рублей. Обладатели югославских машинок считались настоящей элитой. Какая это была красота! Оранжевого цвета корпус. Плоская, легкая… На перепечатку уходило много времени. Хотя иногда в процессе работы ты что-то исправлял, без конца улучшая и улучшая текст.

…А поездка на реку Амур удалась. Город Хабаровск поразил зноем и протяженностью вдоль огромной реки. Мы зашли в редакцию журнала «Дальний Восток» и вальяжно побеседовали с главным редактором. Хотя у нас еще не было литературных имен, отнеслись к нам благосклонно. В редакции я оставил рассказ под названием «Последний тайфун». Написал я его со слов отца, который служил моряком во время войны на Северном флоте, а затем участвовал в войне с Японией, плавая на «охотнике» за подводными лодками от Камчатки до Курил. Эту деталь я вспоминаю не просто так – она еще мне пригодится для более точной прорисовки прошлого.

В Советском Союзе ленинградцев любили. Когда узнавали, откуда ты, голос человека теплел, он произносил что-то вроде: «А, питерский!» И улыбался тебе. Если почитать классиков, Гоголя или Достоевского, то Петербург представал городом малосимпатичным. Действительно, был он военно-чиновничьим лагерем. Жить тут было дорого. Да и жилья не хватало. Другое дело – хлебосольная Москва. Ситуация изменилась, когда в 1918 году столица вернулась в Москву. Ленинград стал беднее и захолустней. Немецкая блокада и сталинские репрессии, особенно так называемое «ленинградское дело» конца 40-х, добавили городу на Неве героической мифологии. Тогда и стал Ленинград всесоюзным любимцем. А теперешние тенденции – попытки называть Петербург Северной столицей, перенос на Неву некоторых столичных функций, проникновение многих бывших ленинградцев в верхний слой московской власти – любовь к нам

со стороны соотечественников почти уничтожили…

Вернемся, однако, на Амур накануне московской Олимпиады. Мне много где удалось к тридцати годам побывать, но Дальний Восток меня поразил. В Хабаровске мы сели на теплоход и доплыли до Комсомольска-на-Амуре. Этот город стремительно возвели перед войной вместе с заводами военно-стратегического назначения. С одной стороны город строили восторженные комсомольцы, с другой стороны – безымянные зэки. Комсомольцев славили на всех углах, а про заключенных не вспоминали. Думаю, большинство населения Советского Союза предвоенных лет находилось в состоянии некоторой героической экзальтации. Росли заводы, рылись каналы, бились рекорды в труде и в спорте. Иногда желание удивить народ и товарища Сталина принимало совсем уж экзотические формы. Так, например, в мае 1937 года по договоренности с ЦК ВЛКСМ из Комсомольска в Москву выехала группа велосипедистов. Всего пять человек. До Хабаровска шоссейной дороги не было, поэтому спортсмены просто прошли триста пятьдесят километров с велосипедами по шпалам. Тысячи километров, бездорожье, даже стихийные бедствия! Измученные велосипедисты к сентябрю добрались до Москвы. Въехав в город, нашли телефонный автомат и позвонили в ЦК комсомола. Там не поняли, о чем идет речь. Прошло время, про спортсменов с Амура успели забыть. Возможно, кто-то из столичных организаторов уже попал под каток репрессий. А когда в ЦК до кого-то наконец дошло, то велосипедистов вывезли на окраину столицы, почистили, переодели, собрали толпу встречающих. Пришлось финишировать во второй раз под вспышки газетных репортеров.

…Полные новых жизненных впечатлений трое ленинградцев долетели до Москвы, где посетили редакцию журнала «Литературная учеба». Это было, возможно, самое слабое звено в цепи советского литературного застоя – в этом столичном журнале даже с готовностью беседовали с начинающими. В редакции мы познакомились с прекрасным человеком – Вардваном Варжапетяном. Он редактировал нашу коллективную публикацию в «Литературной учебе» про Комсомольск. После я с Вардваном даже подружился, мы обменивались вышедшими книгами. Затем, к сожалению, я потерял его из виду. Недавно прочитал в Интернете: Варжапетян сделал новый перевод Библии, потратив на этот колоссальный труд многие годы!

По комсомольской путевке я ездил еще несколько раз в литературные командировки, стараясь выбрать путешествие туда, где по своей воле я бы никогда не оказался.

Чтобы закончить тему, напоследок расскажу историю, полную

своеобразного советского абсурда. Через несколько лет после Амура я обнаглел окончательно и решил за комсомольский счет добраться до Камчатки. Тогда для полета на далекий полуостров требовался специальный пропуск. У нас с поэтом Олегом Левитаном все получилось, и мы до Камчатки добрались. Из Петропавловска нам удалось живыми доплыть по Тихому океану до Усть-Камчатска, цунамоопасного места, подняться по реке Камчатке до поселка Ключи. Вокруг этого поселка расположились самые высокие в Азии действующие вулканы. К примеру, высота Ключевой сопки 4750 метров. Вулкан дымил. Толбачик, Безымянный строжились. Земля под ногами вздрагивала. Красная рыба нерестилась со страшной силой. Нам удалось устроиться помощниками в вертолет, который летел к гляциологам на Ключевской. Мы грузили дрова, а затем разгружали их на леднике вулкана. По диким лиственничным лесам долины реки Камчатки мы с Олегом бродили без чрезвычайных происшествий, но с максимумом впечатлений. Это, конечно, отдельный рассказ… Но, с другой стороны, он тоже характеризует жизнь тогдашнего литературного Ленинградца.

Вернувшись домой, я написал очерк для журнала «Костер» под названием «Эмемкут – сын Кутха». В пионерский «Костер» начинающему автору было проникнуть легче, чем в другие. Там и Сергей Довлатов работал, и многие другие прирабатывали. В «Костре» я одно время вел спортивную страничку под названием «Кузнечик»…

В назначенный день получаю гонорар и свежий номер журнала. По дороге домой начинаю разглядывать свою публикацию. К очерку художник зачем-то нарисовал картинку: чукчу, оленей и нарты. А редактор, Валентин Михайлович Верховский, замечательный дядька со странностями, приписал от моего имени вступительную фразу: «Сбылась мечта моего детства! Наконец-то я оказался на Чукотке». Я в ужасе прочитал подписанный мною очерк до конца. Вулканы, поселки и реальные люди на месте, но везде слово Камчатка исправлено на слово Чукотка. Вся эта галиматья шла под шапкой «Наша Родина – СССР».

Во времена грузинского генсека Джугашвили за такие шалости можно было угодить на ту же Камчатку-Чукотку в воспитательных целях. Но времена изменились, и все обошлось. А вот и объяснение случившегося: я принес Верховскому для проверки камчадало-юкагирских названий томище «Сказки и мифы народов Севера». Редактор зачитался чукотскими сказками и… внес в мой текст Чукотку.

Автор, может быть, и часто бывает дураком. Редактор – тоже.

Художники – могут. Ответственный секретарь, главный редактор, корректор, цензор и т. п., все, кто читает текст перед печатью, – запросто! Но чтобы все вместе не знали, что на Чукотке нет вулканов, – это особое достижение.

Правда, несколько миллионов читателей «Костра» прочли мою подпись. В редакцию пришло много жалобных писем от камчатских пионеров, а также желчных и ядовитых – от редакторов провинциальных газет. Поймали центральное издание на глупости.

В редакции все объявили друг другу по строгому выговору, а мне не дали обещанной первоначально премии за лучший материал номера. На некоторое время за мной закрепилось прозвище – Рекшан Чукотский.

Сейчас на изданиях экономят, корректоры читают без должного внимания, ошибок в книгах появляется много. И почти никого это особо не волнует.

Ныряя в глубины памяти, вернусь на отметку осени 1980 года, когда, возвратившись в приподнятом настроении из первой в жизни литературной командировки, я вдруг осознал себя с семьей на дне глубокой финансовой ямы. Денег не было вообще! Я имел диплом исторического факультета и мог, наверное, пойти в школу, но тогда пришлось бы отказаться от литературной деятельности, в которую я уже влез по уши. Если б я знал, через какую полосу бедности придется пройти, я бы, наверное, отправился в учителя.

Где-то в конце октября случилось чудо, отодвинувшее на короткий миг меня с семьей от финансовой катастрофы. Утром, мрачный, спускаюсь по лестнице. Голова полна дум о деньгах, которых нет. Машинально кошусь на почтовые ящики. В годы советской честности, когда воровство не было так популярно, как сейчас, почтальон переводы обычно выставлял поверх ящиков. Вижу я такую бумажку, думаю: «Какому-то гаду деньги пришли». Машинально беру бумажку в руку. Это оказывается мне – 156 рублей. Большие деньги. От кого же? Редакция газеты «Красная звезда», город Благовещенск. Что такое? Почему? Не имеет значения – семья, в которой есть маленький ребенок, месяц может жить спокойно. Через день спускаюсь, довольно посвистывая. Настроение отличное. Смотрю – перевод. Кому? Мне. 117 рублей из хабаровской газеты с военным названием. Еще через день подхожу к почтовому ящику – опять перевод. Кому? Конечно, мне! Чуть меньше 100 рублей. По мере продвижения на запад суммы уменьшались. Из Читы я получил всего 37 рублей. За что на меня обрушился денежный дождь, я так и не знаю. Есть подозрение, что «выстрелил» военно-морской рассказ об отце. Осенью

очередная дата капитуляции Японии. На эту тему художественных текстов-то особо нет. Журнал «Дальний Восток» его печатать не стал, но редактор явно передал рассказ кому-то из журналистов. Вот они текст несколько раз и перепечатали. И честно заплатили. Сейчас такой честности нет и в помине. Да и гонорары теперь плевые. В ленинградские времена я знал нескольких журналистов, которые работали с провинциальными изданиями, рассылая в десятки местных газет разные заметки к праздничным датам. Даже если только часть из них реагировала положительно, бессовестный журналюга купался в гонорарах.

Военно-морские деньги постепенно закончились. Но я уже знал, что мне делать. Я устроился на курсы операторов газовых котельных в Теплоэнерго № 3. Кто меня туда затащил. Профессия операторов стала приобретать популярность с конца 70-х. Газовые котельные серьезно отличались от угольных – в них было чисто. И никаких физических усилий. Только снимай показания счетчиков и записывай в журнал. Да соблюдай инструкции. Хотя я пытался делать официальную литературную карьеру, но связей с андеграундовой средой не прерывал. Именно из нее вышло много именитых кочегаров.

Хотя контора Теплоэнерго находилась на Кировском проспекте Петроградской стороны, сам учебный центр располагался возле площади Мира, ныне Сенной, на Гражданской улице, которая сегодня снова стала Мещанской. Занятия проходили в пыльной комнате по соседству с центральной районной котельной. Явственно помню картину: инвалид на скрипучей ноге стоит возле доски, глядит на учащихся живым и стеклянным глазами, приказывает, почти кричит хрипом, будто поднимает в атаку:

– За-пи-сы-вай-те! Вещества бывают: жидкие! твердые! газообразные!

Мы проходили курс физики за пятый класс средней школы. Никто, конечно же, не записывал. Курсанты состояли из трех основных и разнородных элементов, или, точнее, каст. Избранную публику представляла богема, которая во время занятий изучала трактаты по индуизму. Кто-то шуршал машинописными листами со стихами загубленного советской властью Гумилева. Или Роальда Мандельштама. Среди избранных курсантов лидировал поэт Аркадий Драгомощенко. «Задиристый друг Гуттенберга!» – так его называли. Я несправедливо подкалывал его, говоря, будто он уже напечатал два четверостишия в Париже и одно в многотиражной газете Механического завода. Училась в группе и бывшая балерина, являвшаяся на занятия в беличьем чуть потертом манто. Ее сопровождал гражданский муж, теперь

режиссер «Интерьерного театра» Коля Беляк. Тут же витал в облаках Родион – это уже из окружения «Аквариума». Избранную публику разбавляли старушки и пассионарные девицы из провинции.

Бабушки-курсанты постоянно вязали шапочки. Эти бабушки хотели стать операторами и продолжать вязать во время дежурств шапочки многочисленным внукам.

Третью касту учеников составляли девицы из провинции. Они бились за место под ленинградским солнцем не на жизнь, а на смерть. Получаемая профессия давала шанс получить комнату и переехать в нее из рабочего общежития.

Только балерина записывала лекции! Она сидела встревоженная, терла виски и все повторяла шепотом:

– Не понимаю. Тумблер?

– А что тут понимать! – шепотом же возмущался режиссер. А балерина продолжала как сомнамбула:

– Нет, не понимаю. Не понимаю совсем.

После она ушла с курсов вместе с режиссером – не помогли записи и балетная старательность.

Наискосок от курсов находился дом из «Преступления и наказания». Кажется, именно там студент Раскольников грохнул старуху-процентщицу.

Во время обучения платили стипендию. К маю 81-го мы курсы закончили. И на Гороховой улице в торжественной обстановке нам вручили корочки операторов. Одна из старушек пригласила в гости на котлетки. А приятельница Аркадия Драгомощенко потащила нескольких дипломированных специалистов в гости. То есть я всех повез на отцовских «жигулях». У этой приятельницы, помню, была загипсована нога. Она ее высунула в окно машины. Именно тогда я впервые пил вино с обезьяной. Точнее сказать, первый и последний раз. Даже не пил, а пригублял как человек за рулем. Загипсованная приятельница поэта предупредила заранее: в квартире живет мартышка средних лет, мартын. Приезжаем. Поднимаемся. Запах в комнате стоит специфический. Пока народ готовит снедь на кухне, я вхожу в комнату, приветствую мартына и сажусь за пианино. Беру пару аккордов. На третьем мартын бросает в меня кружку. Ему такая игра не нравится. После сидим компанией за столом и выпиваем в честь окончания курсов.

– А обезьяне можно налить? – спрашиваю.

– Налей, – отвечает хозяйка.

Протягиваю примату стаканчик. Мартын гримасничает, но берет и выпивает.

– А закурить ему?

– Можно.

Мартын выхватывает из руки «беломорину» и съедает.

Через некоторое время предлагаю обезьяне еще стаканчик. Мартын берет, нюхает и отказывается. Обезьяна меру знает. В отличие от людей…

Писательская публика начала 80-х в этом сомнительном виде человеческой деятельности вполне отличилась.

После обезьяны везу компанию к старушке на котлетки. Находим дом и квартиру на Петроградской стороне. Нам открывают, впускают. Прихожая и комната – как музей: на стенах в золотых рамах если не малые, так уж средние голландцы. За столом два пожилых хряка и «старушка», разодетая в пух и прах.

Из кухни служанка приносит те самые котлетки на антикварном блюде.

Разговор как-то не складывается.

Хряки на нас зыркают. Когда возникает вопрос про коллекцию на стенах, то один из хозяев довольно объясняет: «Немцы нас в войну пограбили, ну и мы их чуть-чуть!» Он был каким-то снабженцем в погонах.

С дипломом кочегара я устраиваюсь в независимую котельную на улице Герцена, то есть Большую Морскую, в Дорожный научно-исследовательский институт, наискосок от Текстильного института, прозванного в студенческой среде Тряпкой. Дежурю я сутки через трое, получаю за труд сто рублей в месяц. Кочегарство после профессионального спорта понизило мой социальный статус, но я продолжаю рассчитывать на литературный успех. На несколько лет котельная стала моим писательским кабинетом – в ней имелся письменный стол и кожаный диван. На смену я приезжал с пишущей машинкой. После того, как институт заканчивал работу, я сваливал прогуляться по Невскому. Дверь из котельной выходила во внутренний двор. Минуя вахту, я перелезал запертые ворота и оказывался на улице. Далее отправлялся или в «Сайгон», или в рок-клуб на улицу Рубинштейна, или в Дом писателя. Про эпопею рок-клуба я расскажу позже.

В Доме писателя на улице Воинова, ныне Шпалерной, собирался постоянный семинар прозы, которым руководил очень приличный, тогда влиятельный на ленинградском уровне, а теперь забытый прозаик Евгений Кутузов. К нему ходило много интересных авторов. Совсем юным появился теперь читаемый массами Илья Бояшов, несколько раз был Сергей Носов, приходил в свитере со звездой Давида нынешний хозяин издательства «Лимбус-пресс» и учредитель премии «Национальный бестселлер» Костя Тублин. Начал ходить, робея, и я.

Ведь святая литература вокруг. После обсуждения кое-кто отправляется в ресторан продолжать разговор о творчестве. Но меня не приглашают. Стали звать где-то через год. Иду. Мое первое погружение в мир высокого искусства слова…

Итоги: в туалете после закрытия ресторана Евгений Кутузов и еще один популярный тогда персонаж и писатель Михаил Демиденко сидят на полу и пьют водку, запивая водой из писсуара. Пытаются пьяно драться. Один орет:

– Бабы! Настоящие русские бабы! Где они?

Другой мычит в ответ:

– Дудук ты! Полный дудук!

Я и сам пьян, но держусь пока. Вывожу писателей на улицу Воинова. Нужно поймать такси. Писатели падают, когда я их отпускаю. Одного из мастеров слова привязываю шарфом к водосточной трубе, и тот повисает на ней, словно расстрелянный с картины Гойи. Другому даю в руки недопитую бутылку, и человек внезапно частично трезвеет, понимая ответственность задания…

Она, литература, была для меня до того вечера девушкой. И вдруг я прозрел. Оказалось, она – девка.

Вот таким развеселым способом начался для меня Ленинград 80-х годов прошлого века.

Ринго Старр на улице Маяковского

Воспоминания похожи на подводное плавание. Очертания предметов несколько видоизменяются, пропорции нарушаются. Но это все та же в чем-то объективная, хотя во многом и субъективная правда.

В самом начале 80-х в Ленинграде произошло событие, не предвещавшее первоначально ничего выдающегося. Был образован Ленинградский рок-клуб. Помню все, что рок-клубу предшествовало. Количество музыкальных событий нарастало. То в одном, то в другом месте что-то организовывали, а власти постоянно организованное закрывали. Блистала группа «Россияне», игравшая хард-рок. После скандала на Тбилисском фестивале 1980 года и с появлением первых, еще слабеньких, магнитофонных записей началась всесоюзная слава «Аквариума». Сережа Курёхин фонтанировал идеями. Как-то мы ехали компанией в автобусе по Невскому проспекту, и он уговаривал меня облачиться в золотой пиджак и запеть рок-н-роллы, как Элвис, а музыкантов мы, мол, найдем. Я, честно говоря, только засмеялся в ответ. В те же годы пользовался популярностью клуб экспериментальной музыки в ДК Ленсовета. В этом профсоюзном здании на Петроградской стороне, построенном в конструктивистском стиле, проходили довольно яркие музыкальные события, пока клуб не прикрыли. Я так понимаю, что Курёхин создал там некий прототип, из которого позднее выросла «Популярная механика». С конца 70-х я активно осваивал губную гармошку, и мне казалось (ошибочно), что я уже стал приличным харпером. Я предложил Сергею сыграть у него в оркестре на гармошке, а он в ответ абсолютно серьезно заявил – нужен тот, кто сумеет на фановой трубе.

Во что-то это андеграундовое роение должно было воплотиться. И вот 7 марта 1981 года на улице Рубинштейна в доме № 13 прошел первый концерт нового объединения. Выступали группы «Мифы», «Пикник», «Россияне» и «Зеркало». В этом здании размещался Дом художественной самодеятельности, имевший в своем распоряжении зал мест на пятьсот с буфетом и множество подсобных помещений. К 81-му у меня за спиной уже имелось полтора десятилетия бит-рок-музыкального стажа, и я на первое собрание просто не пошел. Затем стал появляться. Первоначально в клубе заправляли непонятно откуда взявшаяся Таня Кузнецова, рок-бюрократ Гена Зайцев и барабанщик Володя Калинин. Еще через некоторое время в клубе произошел проаквариумный переворот. Я даже помню этот момент: мы

стоим с Гуницким в «Сайгоне», и Толя предлагает: «Пойдем в рок-клуб переворот осуществлять. Пусть Зайцев сложит полномочия!» Я отказался. Гуницкий пошел, и переворот состоялся. Тогда и выбрали в председатели Колю Михайлова. Да и Совет рок-клуба поменялся.

Первые года полтора-два Ленинградский рок-клуб не представлял собой ничего интересного. По субботам там проходили дневные концерты. Народ на них особо и не ходил. Однако место постепенно оживало, там стали появляться не только музыканты нового поколения, такие, например, как Леня Федоров, Олег Гаркуша и Витя Цой, но и деятели официального сегмента советского общества. Назову хотя бы писателя Александра Житинского. Его «Записки рок-дилетанта», которые позднее появились во всесоюзном журнале «Аврора», были довольно наивны. Но их писал искренний и увлеченный человек. Житинский постоянно отстаивал интересы музыкантов, больше всего «Аквариума».

В самом начале нулевых я поучаствовал в создании почти часового документального фильма для канала «Россия». Фильм назывался «Революция любви». Красивое, несколько романтизированное название придумал автор этих строк. Фильм посвящался русской, в основном ленинградской рок-музыке. Лента создавалась в недрах Ленинградской студии документальных фильмов. Телеканал работу принял и выплатил гонорар. И в итоге фильм не показал… У меня осталась черновая копия. Куда делись так называемые исходники и готовая продукция – неизвестно. Где-то в середине киноповествования в кадре появляется человек по фамилии Коршунов. Он же Кошелев. Этот Коршунов-Кошелев говорит буквально следующее:

– Мы, молодые сотрудники госбезопасности, не хотели душить музыку, которую сами любили, хотя старшие товарищи нам очень рекомендовали это. И тогда я придумал рок-клуб. Мы, конечно же, присматривали, отслеживали работу наших идеологических противников – а она была! И ЦРУ, и сионистские организации. Я считал, что молодежь должна иметь выход своей энергии. И не надо все запрещать! Одним словом, если бы я все тогда не придумал, то теперь был бы не полковником, а генерал-полковником в отставке!

В конце интервью Кошелев-Коршулов очень точно пропел битловскую строчку: «Ши лавз ю е-е-е!»

Работники рок-клуба Михайлов, Гуницкий и Слободская всегда говорят, что КГБ ничего не организовывал. Будто бы те стараются приписать лавры создания исторической организации Литейному, 4, а это не так…

Точно знаю одно: это не Владимир Рекшан организовал Ленинградский рок-клуб. Что тут правда, а что выдумка, мы, возможно, не узнаем никогда. Но обычно истина находится в равном удалении от противоположных высказываний.

Вот недавний сюжет, но имеющий прямого отношения к началу 80-х. Позвонил мне как-то знакомый журналист с телеканала НТВ и сказал:

– Нам тут за ненадобностью передали из архива КГБ-ФСБ пачку фотографий. Не мог бы ты их прокомментировать. Это фотографии рок-клубовские.

Я согласился. Мы встретились возле Зимнего стадиона, где в 88-м состоялся знаменитый 6-й фестиваль Ленинградского рок-клуба. Его хотели прикрыть, но юный Борзыкин встал во главе колонны и направил ее в сторону Смольного. Партийная власть испугалась, и концерты на Зимнем стадионе разрешила… Снимая передачу, меня посадили на скамейку напротив Манежа, протянули пачку фотографий и попросили прокомментировать.

На части фотографий были зафиксированы лица публики 6-го фестиваля. Они собирались группами, готовясь к демонстрации. А их, видимо, из кустов, снимали агенты государственной безопасности. Вторая половина фоток оказалась более ранней. Снимались они за кулисами и на сцене концертов на Рубинштейна, 13. Чувствовалась непрофессиональная рука фотографа. Щелкал явно кто-то из своих. Некоторые фотографии оказались подписаны. На оборотной стороне уточнялось: «Гомосексуалист». Другое лицо комментировалось так: «Курит анашу». А вот фотография юного Каспаряна из великой впоследствии группы «Кино». Переворачиваю фотку и читаю: «Акопян»!

Все в этом мире сосуществует по законам диалектики. Закона единства и борьбы противоположностей никто отменить не смог.

Прогрессивная общественность продолжала толпиться в «Сайгоне», в близлежащих заведениях общественного питания и скверах. С появлением рок-клуба процент меломанов в данной тусовке значительно увеличился. Стыдно вспомнить, но я регулярно проводил время в районе перекрестка Невского и Владимирского.

А какие там начали появляться типажи! Чего стоит один Вова Сорокин! Накануне смерти Брежнева это был миловидный бойфренд разных прохожих девушек. Он просто радовался бытию, но мог и усилить радость с помощью сухих вин. Он явно вносил позитив в отчасти депрессивную атмосферу «Сайгона». Сорокин – человек изобретательный. Окружили его с приятелем однажды в сквере хулиганы, а он схватил главного и закружил в вальсе –

хулиганы плюнули в сердцах и отвалили… Затем его, как часто бывает, понесло, и Вова изобрел гениальный способ добычи этих самых вин, а также водок и селедок. Он даже меня подбивал, но, воспитанный на благородных идеалах де Кубертена, я, вздрогнув от стыда, отказался.

Всякую субботу бойфренд Сорокин, надев хорошую рубашку и нагуталинив штиблеты, поднимался с букетиком гвоздик на один из этажей ресторана «Москва». Богемный «Сайгон», собственно говоря, являлся всего лишь филиалом ресторана. В «Москве» всегда по субботам веселились свадьбы, и бойфренд веселился вместе со всеми. На всякой вечеринке подобного толка одна половина всегда еле знает другую. И через некоторое время Вова уже стал руководить свадьбами, оттесняя нанятого тамаду. Дело тотального веселья пошло в гору. Вот если б только не глухонемые. Как-то, не разобравшись, Сорокин внедрился на свадьбу глухих с немым, был разоблачен и, как говорили злые языки, побит.

Я частенько якшался с Сорокиным, отличавшимся эрудицией и бойкой речью. Одно время я жил в лесной избушке за Териоками и, если задерживался в городе и опаздывал на пригородный поезд, то просился на ночевку к друзьям-собутыльникам. В тот вечер таким другом оказался Сорокин. Он долго терзал меня, таская по осенним сырым улицам. Ему все не ехалось домой, где его ждала тихая жена и дитятко. Вова звонил каким-то девушкам. Его отбривали, он звонил другим и снова получал отказ. Устав от вина и шатаний, я взял инициативу в свои руки.

– Значится так, – обратился я к товарищу с настойчивым предложением. – Знаю одну молодую женщину, которая примет нас. Только по определенным обстоятельствам я не могу звонить сам. Наберу номер, и ты скажешь, что со мной.

– А как зовут человечину? – обрадовался Сорокин.

– Ее зовут Таня.

Мы стояли в телефонной будке. Я набрал номер и протянул товарищу трубку. На том конце ответили. Сорокин с новым энтузиазмом стал кадрить женский голос и напрашиваться в гости.

– Таня! – кричал он. – Вам когда-нибудь выпадал случай счастья побывать в объятиях человека…

Тут речь Вовы прервалась. Мне пришлось совершить мотивированную подлость, и она сработала. Тихую жену Вовы звали Таня. И я набрал его домашний номер. Таня, поняв, что ее кадрят по ошибке, хоть и тихо, но безапелляционно заявила в приказном тоне:

– Или ты приедешь – можешь с Рекшаном – через полчаса, или я не открою дверь!

Мы приехали, и я, наконец, заснул по-человечески.

Куда нас с Сорокиным не заносило! Однажды поехали в Дом композиторов слушать Курёхина. А после сидели в тамошнем ресторане. Постепенно все «сливки» сомнительного общества стали пересаживаться за стол к какому-то крупному дядечке, угощавшему публику. Постепенно и мы пересели. Дядечка оказался главным городским геем, и я ему после дал в рыло за Сорокина, на которого он стал накладывать руки.

Последний период советского государства породил большое количество персонажей вроде Вовы Сорокина. Потом время резко изменилось. То, что первоначально казалось частью богемного карнавала, для многих обернулось болезнью. С Владимиром я периодически встречался. Он выглядел неважно. Но напоследок подарил мне историю, в которой скрыт особый философский смысл. Она имеет отношение уже к петербургским временам, но корнями уходит в советский Ленинград.

Как-то в начале нулевых Вова вышел на улицу имени поэта Маяковского и направился в сторону улицы имени поэта Жуковского. Рядом семенила афганская борзая Сорокина, которая то писала под пыльными деревцами, то какала. У стены напротив обписанного борзой деревца стоял низенький господин в темных очках. На господине был летний костюм хорошего покроя и мокасины. Несколько пообтертая шевелюра что-то такое Сорокину говорила. Он вспомнил о клубе «Ливерпуль», находившемся через дом на углу, и картинку над входом – копию обложки с раннего альбома Beatles. «Ну да, – мрачно подумал бывший бойфренд, – опять битломан-фанатик отирается». Сорокин еще не пил даже пива, и душа томилась в сомнении. Проходя мимо господина, Сорокин хлопнул стоявшего по плечу и с веселой угрозой проговорил:

– Под Ринго Старра канаешь, битломан хренов!

Битломан лишь застенчиво улыбнулся.

Свернув за угол на улицу имени поэта Жуковского, Вова обнаружил возбужденную группу мужчин и женщин, несколько телекамер и «мерседесов».

– Мать! – воскликнул он. – Это же Ринго Старр и есть!

Действительно, Ринго приехал в Санкт-Петербург с группой All Stars и вечером давал концерт в «Октябрьском». Бедный битл оторвался от толпы промоутеров и телевизионщиков, чтобы перед пресс-конференцией без присмотра посмотреть на Россию, но его и здесь подловили.

Каждой эпохе соответствует свой тип молодого горожанина. Начало 80-х годов в советском Ленинграде породило образ интеллектуала-весельчака, бражника, компанейского парня. Хотел бы я вспомнить еще одного человека. Он тоже покинул этот мир. Надеюсь, его родственники не обидятся.

С Колей Ставицким мы учились вместе с пятого по восьмой класс. Наши пути пересекались и после: университет, занятия спортом, кафе «Сайгон». Лет через тридцать после школы сидим мы как-то на скамеечке весенним солнечным днем, загораем.

– Как обидно сложилась жизнь, – жалуется приятель. – Два высших образования. А дома не уважают. Поскольку денег везде платят мало. А как она, жизнь, начиналась! Я же был в школе круглым отличником.

Я вспоминаю и удивляюсь:

– Послушай, мы же в одном классе учились. У тебя же троек до фига было!

Коля замолкает, чешет затылок, машет рукой и отвечает:

– Ну, неважно.

Так и мифы Древней Греции складывались, песнь о Нибелунгах, о вещем Олеге, о «мальчике из Уржума». Куда ни посмотришь – кругом сплошная мифология…

Много лет Николай работал патологоанатомом. Встречались мы в «Сайгоне», пили кофе, и рассказывал Коля истории удивительные.

История классическая. Если давно-давно не звонил приятель, а тут он проявился – жди венерического заболевания.

– Я им говорю, – жаловался одноклассник, – у меня специальность другая. Идите к специалисту, вам антибиотиков вколют сколько надо. Не идут! Просят участия. А я – специалист по трупам! Патологоанатом!

Однажды позвонил Коле один наш общий знакомый и стал требовать встречи. Коля сперва отнекивался. Но знакомый поведал жуткую историю. Будто бы его знакомых девушек-студенток одолел с небольшой разницей во времени один жгучий и нечистоплотный молдаванин. И вот теперь девушки-студентки подозревают у себя сифилис и готовы совершить акт коллективного самоубийства…

Одним словом, уговорили патологоанатома произвести осмотр. Коля должен был подойти к Аничкову мосту и ждать подружек с журналом «Огонек» в руке возле того коня Клодта, у которого в промежности Наполеон. Патологоанатом пришел в назначенный час. Пришли и сифилитички. Они препроводили доктора по трупам в страшного вида коммунальную трущобу. Доктор помыл руки, надел белый халат и предложил пациенткам

раздеться. Пока те стыдливо разоблачались, Коля пытался вспомнить картинки из учебника с сифилитической сыпью. Но сыпи на студентках не обнаружилось.

Тут-то и началась радостная гулянка, чуть не закончившаяся для Коли эпизодом любви. Любовь – это тоже венерическое заболевание.

Осенью в 1982 году умер Леонид Брежнев. В назначенный час на некоторое время под радиогудки должно было остановиться всякое производство, кроме, пожалуй, мартеновских печей и космических полетов.

В прозекторской у Николая имелось радио, служившее информационно-музыкальным фоном. Как раз когда радио загудело, патологоанатом и прозектор, пожилая сердитая тетка, разделывали очередное тело. Тетка, услышав гудки, отложила скальпель и встала над вскрытым покойником. Николай помялся, помялся и тоже встал по стойке смирно. Чтобы не донесли куда следует и не заподозрили в неблагонадежности.

Когда скончался генеральный секретарь ЦК КПСС (расшифровываю для молодежи: генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Брежнев), население традиционно для страны встревожилось. Все уже привыкли к этому незлобивому правителю. А смена государя неизвестно к чему еще могла привести.

Генсека не стало, Рок-клуб был создан. Никто не знал, что эти явления взаимосвязаны.

Про Брежнева я больше рассказывать не стану, а про Ленинградский рок-клуб обязательно продолжу.

Брежнев еще жив

Наташа Веселова, молодая женщина-театрал неземной красоты, поступившая служить в Дом народного творчества, предложила мне придумать какой-нибудь семинар для рок-клубовской молодежи. Ты, мол, литератор. Давай организуем что-нибудь литературное. Я и придумал поэтический семинар. Семинаром по рок-поэзии я руководил с 1983 по 1988 год. И получал во время учебного года по сорок рублей в месяц. У меня даже в трудовой книжке имеется уникальная запись. Да и по мере оживления рок-клубовского бытия у группы «Санкт-Петербург» появился стимул восстановиться для какого-то более внятного публичного представления.

Понятно, что про себя вспоминать и проще, и приятней. Многое можно исказить, представляясь в лучшем свете. Но самолюбование может обернуться и потерей читателя. В конце-то концов, ленинградская рок-музыка до определенного времени оставалась продуктом регионального значения. Следует воссоздать какие-то детали из жизни более широких народных ленинградских масс.

Про социалистический дефицит я вспоминал, про него много написано. Модную одежду «доставали». Имелся такой специфический термин. Практически все старались, накопив денег, «достать» финский или югославский костюм. Это я про мужчин. А женщины «доставали» сапоги на платформе. Благосостояние ленинградцев, хотя и медленно, но росло. Социализм вступил в стадию относительной зрелости. Однако рост денежной массы опережал объем товаров народного потребления. Возникла целая классовая прослойка, ведущая капиталистический образ жизни: одни шили на дому джинсы, другие доставали дефициты и перепродавали трудящимся. У буржуазной прослойки скапливались довольно большие суммы… Но не стоит забираться в область политической экономии капитализма. В советское время все ее изучали в высших учебных заведениях, но без включенного интереса. А зря…

Смешно сказать, но в советских магазинах для приобретателей холодильников, стиральных машин и мебели был открыт беспроцентный кредит. Просто приносишь справку с работы и забираешь вещь. А из зарплаты вычитают понемногу в течение года. И, самое главное, в кредите никакого обмана и подвоха. Цены на некоторые продукты росли, но незаметно. Проезд в автобусе и метро стоил все те же пять копеек. Все где-то работали. Инженеров было пруд пруди. Многие на рабочем месте

били пресловутые баклуши. Многие жаловались на отсутствие перспективы и карьерного роста. Десятки тысяч ленинградцев обзавелись дачными участками и ковырялись в огородах. Приходится часто слышать насмешки по поводу тех участков – жалкие, мол, шесть соток. Что тут скажешь! Первое: были участки и по двенадцать соток. Мой отец от научно-производственного объединения получил именно такой. Второе: как-то уже в 90-е, когда нас накрыло цунами моментального капитализма, я привез на родительскую дачу одного взрослого американца. Он все осмотрел, а после спросил:

– Скажи, Владимир, хау е фемили хав гот зы дача?

Я объяснил, сказав, что по стране миллионы семей получили участки даром.

– Фри! – воскликнул житель Мичигана. – Итс нот посибл! Анбиливибол!

– Очень даже посибл, – с искренней гордостью ответил я.

Американец Питер только руками развел.

Как раз накануне финала брежневского правления родители решили построить нормальный дом. Вместо халупы без фундамента было принято решение возвести нечто более серьезное.

Отец по знакомству купил сборный дом, который производили, кажется, в Невской Дубровке по финскому проекту. Участок наш в Рощино за линией Маннергейма. Родители нашли местных мужиков, подрядившихся дом возвести за месяц. Пока они ходили вокруг кругами и пропивали аванс, я копал котлован под фундамент. Мужики приходили поддатые и важничали, работу не начинали. Родители волновались. В очередной раз, увидев их кривые рожи, я, отложив лопату, вылез из ямы, взял топор, подошел к лже-работягам и сказал, что сейчас разрублю их на мелкие части, чтоб они валили отсюда и не возвращались. Мужики протрезвели и убежали. И через неделю даже принесли остатки аванса.

Жест получился красивый. Но что-то следовало делать со сборным домом. Начинался август. Если дом не поставить под крышу до октября, то материалы за зиму просто сгниют.

У меня был литературный приятель Валера Суров. В Ленинград он приехал из Казани, до этого строил КамАЗ, а до КамАЗа вкалывал в Норильске. Он писал интересные жанровые рассказы и повести про трудовую жизнь и уже начал печататься. Помню его публикацию про Север в журнале «Аврора». Называлась проза выразительно – «Три лаптя по карте». В советское время журналы с радостью брали прозу про труд. Так же, как сейчас намного легче издаться, если станешь выдавать

сочинения про маргиналов или половых страдальцев.

Суров был парень рукастый и, узнав о проблеме, взялся за тысячу рублей дом построить. Я на строительстве работал домкратом, отец обеспечивал материалами, и к середине сентября дом мы построили. Я только что закончил спортивную карьеру, и сил хватало. Полученные навыки мне очень помогли в ближайшие годы переносить литературную бедность. В итоге я с разными умелыми знакомыми построил домов шесть. Как-нибудь я еще воссоздам эту часть советско-ленинградской жизни.

Теперь снова про музыку. Пока рок-клуб набирал обороты, в Ленинграде господствовала итальянская эстрада. Из любого кафе, бара, почти из каждого магнитофона – отовсюду доносился голос Адриано Челентано: «Со-ле, тарам-там-там-та-там-там! Соле! Тара-та-тата-та-та-тара-ра…» Или: «Пай-пай-пай-па-пай…» Итальянцев впервые лично я услышал в середине 60-х. Это было на спортивной базе Ленинградского военного округа, где я был на сборах. Возвращаюсь после вечерней тренировки в казарму, куда нас, школьников, поселили. Все сидят в холле возле махонького черно-белого телевизора и смотрят прямую трансляцию с фестиваля в Сан-Ремо. И тренеры, и юные спортсмены – все вместе. Где-то до двух часов ночи.

В 70-е на советских экранах появилась комедия «Блеф» с Адриано Челентано в главной роли. Тут-то итальянский психоз в Советском Союзе и начался. Помню Джанни Моранди, дуэт «Рики и Повери», Тото Кутуньо. Песни их простые, мелодичные, задушевные и хитовые. Без рок-музыкального гитарного драматизма. Простые и понятные. В некоторых имелось якобы социальное содержание. «Песни протеста» – так их называли. Но Челентано, конечно, лидировал в ленинградском сознании. Актерские способности и съемки в кино, конечно, помогали, но он и сам по себе был классным. Да и сейчас таким продолжает оставаться, несмотря на угрожающий возраст.

Советская пропаганда, возможно, рассматривала итальянцев как альтернативу британо-американскому рок-вторжению. Все-таки в Италии коммунисты являлись влиятельной партией. Да и народ не особо богат. Да и мафия, сросшаяся с государством, наглядно демонстрировала загнивание эксплуататорского общества в фильмах Домиано Домиани. Они вовсю шли в прокате и пользовались успехом.

Я тогда написал повесть, вошедшую позднее в мою первую книгу. Несколько гротескный Челентано стал одним из ее главных героев. Вот цитата:

«…Я ударяю синьора Винсенте по плечу, он ударяет меня. Мы

вылетаем в Сан-Ремо. Тысячи людей и миллионы лир ждут меня. Буржуазная сволочь курит в первых рядах. Иду к микрофону в белых тапочках, смеясь фарфоровыми зубами. Гриф гитары удобно лежит в руках. Всегда буду помнить мастера Лоренцо. Три года тому назад он сказал мне, притворно сердясь: „Адриано! Собака ты женского пола. Разве итальянец может играть на такой гитаре! Бери инструмент и проваливай прочь с моих глаз!“ Добрый, старый мастер Лоренцо. Я помню тебя, несмотря на миллионы. Как там твои Джанна и Луиза? Много ли внуков у тебя, Лоренцо? Три года назад их было четверо…»

Популярность итальянцев в СССР не поддается никакому логическому осмыслению. А вот интересный факт, найденный мной в Интернете: юного Челентано после победы в конкурсах рок-н-ролла в 1961 году призвали в армию. Он служил в Турине. Казарма солдата Адриано находилась на бульваре Советского Союза.

Одно время жильцы каждого ленинградского дома усаживались возле телевизоров во время трансляции фестиваля из польского города Сопот. Если фолк-роковый образ Марыли Родович вполне устраивал советскую цензуру, то появление в 1971 году на сцене Сопота британской, вполне себе слабенькой группы «Кристи» убило этот фестиваль наповал. Всего-то вышли на сцену сильно волосатые британцы в майках, а у фронтмена на шее, если не ошибаюсь, висел большой христианский крест. Ведущая, как сейчас помню, потеряла самоконтроль, стала вскрикивать: «Безобразие! Они же артисты! Как они одеты? Как ведут себя?». Пели «Кристи» песню под названием «Йеллоу рива», что, понятное дело, переводится как «Желтая река». «Йелоу ри-ва! Йеллоу ри-ва!..» Затем к «Желтой реке» кто-то из советских песенников сочинил слова, и она стала всесоюзным хитом под дебильным названием «Толстый Карлсон».

Подцензурный Сопот постепенно свою популярность потерял. А мое поколение еще в 60-е выискивало британскую музыку в советском телевизоре. Каждая ленинградская семья смотрела чемпионаты по фигурному катанию. Это было красиво, да и наши постоянно побеждали. Но вот вместе со спортивным катанием появились и танцы на льду. Тут сильно выступали англичане. И танцевальные пары выдавали номера под рок-н-роллы. Особенно в показательных выступлениях после основной спортивной программы.

Я уже вспоминал про апогей брежневского правления – московскую Олимпиаду. Но вернусь к этому еще раз. В пылу предвыборной кампании тогдашний президент США Картер

призвал национальный комитет своей страны бойкотировать Олимпиаду-80 из-за ввода наших войск в Афганистан. США поддержали сателлиты, стали требовать переноса Игр в другую страну. Международный олимпийский комитет, стараясь сохранить независимость, отказался.

Американцам удалось отвадить от участия в московских Играх многие команды стран свободного, как тогда говорилось, мира. Но Франция выступила против бойкота и направила свою команду в Москву. Президент Национального олимпийского комитета Франции К. Коллард заявил, что бойкот московских Игр приведет к ответному бойкоту Игр 1984 года в Лос-Анджелесе. Так, кстати, и произошло. Правительство Тэтчер не смогло принудить Национальный олимпийский комитет Великобритании отказаться от участия в Олимпиаде в Москве. Международному олимпийскому комитету и его президенту Майклу Морису Килланину удалось устоять перед политическим шантажом. Игры состоялись в запланированные сроки и в строгом соответствии с Олимпийской хартией.

Для значительного количества атлетов бойкот московской Олимпиады стал настоящей трагедией. Век спортсмена короток, и участие в Олимпиаде – заветная мечта каждого. Но на этом проблемы спортсменов не кончились. Всего к бойкоту московской Олимпиады присоединились около тридцати стран. Чтобы результаты в Москве оказались выше, на Играх фактически отсутствовал антидопинговый контроль. Советские спортсмены завоевали 80 золотых наград!

Успешное проведение Олимпиады в Москве должно было поднять престиж Советского Союза во всем мире, поэтому все мероприятия финансировало и контролировало государство. Денег и усилий не жалели: престиж дороже денег. Эта политика была успешно доведена до конца. Меры безопасности на Играх в Москве были беспрецедентны. Во время Олимпиады въезд в Москву был крайне ограничен. Выдворили за пределы города все сомнительные и уголовные элементы.

После того, как заочно разгромили мы капитализм на московской Олимпиаде и запустили в космос назло человечеству трогательного медведя, Мишку, раздутого до чрезмерности, страна уж и вовсе загудела без меры. Если я и утрирую, то совсем немного. Пьяный стиль стал хорошим стилем. Тот, кто не бражничал, выглядел подозрительным. Трезвый жил как диссидент, не мог сделать карьеры, без которой жизнь не наполнена истинным динамизмом и драматургией.

Тут каждый выбирал свой путь. От простонародного сидения в скверике до застолий в правительственных кабинетах. В моем

кругу стало модным ходить на дискотеку. Не пугайтесь – речь не идет о простоватых танцах под магнитофон. В городе стал давать программы Михаил Курдюков, приличный барабанщик, переигравший со многими, ставшими позднее знаменитыми. Назывался он «Диск-жокей Майкл. Студия намба-уан». Он умело микшировал классную западную музыку. Главным его хитом стала песня Йоко Оно «Прогулка по тонкому льду». Вдова Джона пользовалась уважением, да и песня у Йоко получилась. В темноте вспыхивал белый свет. И мы улетали. Курдюков договаривался с небольшими залами в торговых центрах новостроек. Дело у него получалось прибыльное. Как-то после ночного бдения в «Студии намба уан» меня позвали на другую окраину города. Где-то в районе Ленинского проспекта группа «Аквариум» отмечала свое десятилетие. Боб и сотоварищи уже вовсю записывался у Андрея Тропиллы, и скоро «Аквариум» зазвучит на всю державу. Я с больной головой притащился к небольшому зданию. Все мои приятели как-то прошли, а я остался невпущенным. И тут Борис выходит на улицу с сигаретой. Вход на концерт стоил три рубля. А у меня в кармане оставался всего один рубль. Я поприветствовал БГ и попросил провести за рубль. И Боб меня провел.

Тем временем я, вкалывая оператором газовой котельной, продолжал внедряться в среду литературных сверстников. Всевозможная творческая жизнь кипела. Комсомольские кураторы так называемых молодых придумали новую забаву – стали проводить банкеты-семинары, куда приглашали представителей всех и всяческих муз. В дубовом зале дворца Дома архитекторов на Большой Морской собрались литераторы, художники, музыканты и все остальные. За роскошным гигантским столом для затравки произнесли речи общего содержания, затем началась еда и выпивка. Со многими я там подружился. В конце заседания с поеданием и выпиванием ко мне с улыбкой подошел один из комсомольцев и протянул конверт. Только дома я заглянул внутрь. Там оказался своего рода диафильм. Я посмотрел на свет и увидел сюжеты из закулисной жизни рок-группы «Санкт-Петербург». Вот мы в футболках с двуглавыми орлами, вот выпиваем, вот еще люди из нашего окружения. Съемка велась на концерте, сыгранном группой как раз в Доме архитекторов несколько лет назад. Что ж, в тайне сохранить сомнительное прошлое не удалось!

Со спокойной совестью я занялся семинаром в Ленинградском рок-клубе.

На общем собрании торжественно объявили о начале работы семинара, и в ближайший понедельник в скромной комнате меня

поджидало человек тридцать. Предстоящее волновало. Я прихватил гитару и побрякал семинаристам перед разговором, как бы давая понять, что я свой. Свой не свой, но работа началась.

Сперва я пытался вести разговор в торжественно-академическом стиле и несколько распугал молодежь амфибрахиями и контррэже. Работать приходилось в потемках, методом тыка. Так, тыкаясь, я набрел на «Поэтику» Аристотеля и стал плясать от нее как от печки. Получилось ненавязчиво и весело. Рокеры приносили сочиненные тексты, распевали под гитару, а мне приходилось каждый раз устраивать представление, дабы, ругая услышанное, не тревожить революционных рок-н-ролльных чувств и не заслужить обвинений в конформизме. За достижение почитаю разоблачение плагиата в творчестве одного семинариста. Подправленный до народного ума текст Николая Гумилева выдавал за свой.

Руководство Дома народного творчества посчитало, что условия договора я выполнил, и со следующей осени семинар продолжился.

Ленинградский рок-клуб

Я стою на распутье, словно конный воин с известной картины Васнецова. Как мне продолжить? Можно идти по хронологии – год за годом избывать ленинградское время советской жизни. Можно вырабатывать тему по жанрам бытия: рок-клуб, литературный Ленинград, работа в котельной. Но мне кажется, что более удобно произвольно двигаться по временной шкале. Вот я что-то вспомнил из 70-х годов, а вот перепрыгнул в наши дни…

Хождение на субботние клубные концерты стало привычкой. Года до 84-го концерты там проходили без особого ажиотажа. Хотя ощущение того, что назревает нечто особенное, было. Рок-музыка – это своеобразный городской фольклор. А русская рок-музыка – это вовсе не музыка, а литература. За те десятилетия, что на русской земле ее играют, не было сыграно ни единой оригинальной ноты. Так или иначе – это все кальки западных стилей, которые сюда проникали и проникают. Но соединение их музыки с нашим домотканым смыслом, со своей поэзией, литературой сделало русскую музыку таким значимым для культуры и истории явлением. И тут Ленинград занимает особое место.

Спасибо офицерам госбезопасности, создавшим рок-клуб в Доме народного творчества на улице Рубинштейна в доме 13. Эти офицеры хотели приглядывать за молодежью, а фактически создали штаб революции, своеобразный музыкальный Смольный. В этот Смольный и поехали таланты со всей страны. Кинчев, Шевчук, Бутусов, Башлачёв, десятки и десятки менее известных. Когда в 1985 году с появлением на кремлевско-партийном троне генсека Горбачева в стране началась движуха, названная Перестройкой, то развитие нашей музыки совпало с развитием страны. В определенном смысле ленинградский, русский рок вообще стал тем тараном, с помощью которого крушились застойные стены однопартийного государства… Результаты той движухи, конечно, вызывают сомнения, но это тема для особого разговора.

Говоря о Ленинградском рок-клубе, невозможно не вспомнить Цоя. Весной 1982 года, когда я пришел в рок-клуб на концерт, о будущих потрясениях и речи не шло. Зал Дома народного творчества предназначался для театральных постановок, поэтому клубные концерты отличались отвратительным звуком. Хотя качество аппаратуры постепенно улучшалось, но звук оставался стабильно мерзким. Половину концертов народ проводил в

буфете, где продавали пиво, кофе и мелкую закуску. Я обычно приходил на Рубинштейна, чтобы встретить знакомых и поболтать, ощущая собственную причастность к определенной социальной группе. Постоянно возникали новые люди, а если планируешь продолжать сценическую деятельность, держи нос по ветру. Никого не встретив в буфете, я отправился в зал и сел в партере. Объявили дебютантов: «Группа „Кино“!» Несколько человек в зале вяло захлопали в ладоши. На сцене появился сухопарый монгол в рубахе с жабо, сделал сердитое лицо и заголосил. Монгол оказался Цоем. Рядом с ним на тонких ножках дергался и бегал по сцене в носках славянин. И оказался он Рыбиным, «Рыбой». Откуда-то из-под сцены периодически вылезал БГ с большим тактовым барабаном и исчезал обратно.

«И что они этим хотели сказать?» – несколько надменно подумал я, забыв, что и сам двенадцать лет назад носился по университетским подмосткам босиком.

Скоро славянина Рыбу от ансамбля отстранили и тот, наконец, купил себе ботинки. Это я пошутил! Рыбин теперь вполне успешный кинопродюсер. Поскольку кино и сериалы у нас отвратительного качества, лучшим моментом жизни славянина, возможно, случился выход на рок-клубовскую сцену.

К моменту появления на сцене рок-клуба группа «Кино» уже имела записанный альбом. Вот просто напоминание, информация. И ничего личного.

Первый альбом «Кино» записывался в Доме пионеров Красногвардейского района, впоследствии студии «АнТроп». Студию нелегально собрал Андрей Тропилло из списанного оборудования различных организаций. Сразу после сведения аквариумовского «Треугольника», следуя рекомендации БГ, Андрей пригласил к себе начинающих музыкантов и приступил к работе над записью имевшегося у них материала. Так как группа на тот момент состояла всего из двух человек, Гребенщиков попросил помочь своих коллег по «Аквариуму» Всеволода Гаккеля (виолончель), Андрея Романова(флейта) и Михаила Файнштейна (бас-гитара). В связи с отсутствием барабанщика было решено использовать драм-машину, советский ритм-бокс «Электроника». Получившийся магнитоальбом содержал 13 песен, а назван был по общей продолжительности в минутах – «45».

Иногда я встречал Цоя на Невском. Точнее сказать, Цоя и его жену Марьяну. Виктор шел расслабленный, а Марьяна каждый раз ему что-то заговорщицки говорила. Возле «Сайгона» помню Каспаряна, Гурьянова, художника Тимура Новикова, неизвестных мне девушек. Подходит Цой, весь в черном, компания смеется и удаляется.

Играл «Санкт-Петербург» в одном концерте с «Кино» на фестивале рок-клуба в 1987 году во Дворце молодежи на Петроградской стороне. Этот фестиваль превратился в вакхическую вакханалию. Предощущение скорой победы. Многие сотни зрителей бродили вокруг Дворца молодежи счастливые и нетрезвые. Конечно, для рейтинга можно бы было что-то наврать о том, как мы с Витей беседовали за кулисами и я передавал ему тайны песенного мастерства. Но ничего такого не случилось. Как-то мы оказались в каком-то пространстве с окнами до потолка. Сидели, положив ноги на стол, сильно хмельные. Цой стучал по столу кулаком, а я выл дурным голосом не помню что и зачем.

Затем начался всесоюзный бум. Связан он с появлением «Кино» в фильме «Асса» и участием в судьбе группы московского продюсера Айзеншпица.

А затем Витя разбился. Хорошо помню – солнечный день. По центру прокатился неясный слух: «Цой! Что-то с Цоем!» Я дошел по Невскому до кафетерия, почти равного по популярности «Сайгону». Сразу за перекрестком с улицей Марата находился кондитерский магазин с махоньким кафетерием. Народ там всегда толпился. А в этот день особенно. Встречаю Толю Гуницкого. Тот мрачно курил.

– С Цоем что? – спрашиваю. – Говорят, в аварию попал. Сильно побился-то?

– Насмерть побился, – отвечает Джордж.

– В каком это смысле? – не понимаю я.

– В том смысле, что тело уже везут в Ленинград хоронить.

Мы отправились на Рубинштейна. Там толпился народ.

С Цоем, если не врать, я знаком был в большей степени визуально. В атмосфере рок-клубовского двора витало ощущение переломности момента. В мини-зале на первом этаже, где я проводил свои семинары по рок-поэзии, шла перманентная поминальная выпивка. Появлялись разные именитые люди, пролезала публика с улицы. Мы с Гуницким забурились на Рубинштейна основательно, после еле добрались до Богословского кладбища. На обратном пути, который я проделывал с больной головой, меня нагнала колонна молодежи в несколько сот человек. Они пели: «Группа крови на рукаве! Мой порядковый номер на рукаве!»

Смерть тоже претендует на величие. Цой ушел молодым. Молодыми ушли Леннон, Высоцкий, Иисус. Мужчины на взлете, в сексуально еще привлекательном состоянии. Именно вокруг таких создается культ. А Пола Маккартни, БГ или, допустим, автора данных строк могут лишь с почтением признавать за мудрецов…

Группа «Кино» – типичный продукт перестройки. Такие герои появляются, когда возникает историческая необходимость. Уход Цоя оказался первым сигналом… Это как звери, птицы или рыбы чувствуют приближение цунами и уходят. Никто и подумать не мог, что через год начнется распад огромного Советского Союза, а Ленинград станет Санкт-Петербургом. А привычный социализм окажется оборотнем, и из него мгновенно вылупится капитализм со своим, описанным классиками, оскалом. Цой свою миссию на земле выполнил. Кончилась эпоха. Цой и умер талантливо, на волне, как предчувствие скорого распада государства и кризиса в самой музыке.

Весной того же года меня пригласили в город Челябинск. Местный энтузиаст Валера Суханов, человек взрослый, выпивающий, перевозил на Южный Урал весь музыкальный Ленинград. О нем я еще вспомню отдельно. Вместе со мной в Челябинск прилетел фронтмен панк-группы «Объект насмешек», рослый симпатяга по прозвищу Рикошет. С Рикошетом прибыла Марьяна Цой. Витя от нее на тот момент убежал, и она говорила приблизительно так:

– Больше я с монголоидами никогда дел иметь не буду! Это какой-то кошмар! Это я Витю сделала Цоем! Кем бы он без меня стал? Пэтэушником!

Да, жены таких вещей не прощают…

Женщина Марьяна была необычная, иногда суровая. Мужчин своих пасла внимательно. Могла вообще-то и побить. При мне отмолотила нескольких девиц, подъехавших к Рикошету на предмет взаимности. Когда Марьяна стала проводить грамотные хуки и апперкоты, те с визгом ужаса разбежались. Думаю, и Витя в определенный момент просто убежал на волю.

Случился в Челябинске и почти анекдотичный случай. С местами в гостинице оказалось туго, и меня поселили в номер к узбеку, руководившему торговлей дынь на местном рынке. Узбек был натуральный – в тюбетейке, полный рот золотых зубов. А Марьяна постоянно искала исчезавшего Рикошета. Она как-то вошла к нам в номер и стала выяснять, где я ее милого видел последний раз. Затем ушла. Узбек через несколько минут подходит к моей кровати с блюдом, на котором лежали дольки роскошной дыни.

– Спроси ее – не хочет она попробовать узбека? Я приглашу ее, эту роскошную женщину, в ресторан…

Я чуть от смеха с кровати не упал. Но Марьяне это предложение передавать не стал. Жена Цоя узбека просто убила бы.

А потом по стране прокатилась волна цоевского безумия.

Безумие продолжается до сих пор.

У моего старинного приятеля Саши Старцева есть диван. То есть был. Поскольку Саша тоже давно в иных мирах. Многие, о которых я сейчас рассказываю, уже закончили земной путь. Мы об этом грустить не станем. Это история. Расскажу в настоящем времени, словно Старцев еще с нами. Итак! На диване лежит покрывало. На покрывале сколько-то лет назад сидел Виктор Цой, и покрывало попало на известную фотографию. Покрывало поистерлось, и собрался его Саша Старцев выбросить. Дело происходило в середине 90-х. Но вот в гостях у него оказался цоефил из Москвы. Узнав вещь, москвич окаменел, после спросил, потея от волнения:

– Это тот самый?

– Что – тот самый? – не понял Старцев.

– Который на фотографии?

– Да, тот самый.

Цоефил пожевал губами и спросил, заглядывая Старцеву в глаза:

– Сколько стоит квадратный дециметр? Я бы купил кусочек на десять долларов.

– Да иди ты! – возмутился Саша. – Возьми даром.

Но даром цоефил отрезать не посмел. Так и лежит Старцев на покрывале, ждет своего звездного часа. Теперь Старцев лежит в другом месте, а куда делось покрывало, сказать сложно.

Культ Виктора Цоя, конечно, в России мощнейший. Поскольку к почитанию лидера группы «Кино» подключилось и поколение, выросшее после его гибели, можно смело утверждать: цоемания в стране будет продолжаться вне всякого сомнения.

У стариканов вроде меня цоемания вызывает лишь усмешку. Но вот вспоминаю собственную юность. 1968 год. В группе «Роллинг Стоунз» умирает белокурый гитарист Брайан Джонс. Один из основателей. Информации мало. Мы много додумываем. Мы – это те любители «Стоунз», которых можно посчитать по пальцам. Первоначально – особая секта, в отличие от многочисленных битломанов. Печаль наша по Брайану элитарна. Мы чувствуем себя особыми. И что делаю я? А вот что…

Тогда я учился играть на фортепьяно, и в итоге у меня получилось: могу себе подыграть ритмическими аккордами. Вот я играю, тренируюсь, печалюсь о Брайане и сочиняю где-то весной 69 года песню. Она называется «Сердце камня». Памяти усопшего англичанина. Стала она в 70-м первым хитом ленинградской группы «Санкт-Петербург». И одним из первых в русскоязычном роке. После я это все записал на студии, есть и концертные версии. Первоначальный смысл ушел на второй план. Никому и

не понять теперь, что значат строчки:

И у камня бывает сердце.
И из камня можно выжать слезу.
Лучше камень, впадающий в грезы,
Чем человек с каменным сердцем…

Каждому поколению хочется иметь героя-сверстника…

Вот вам цоевская история уже из нового времени. Как известно, Ленинградский рок-клуб на улице Рубинштейна пал. Дом народного творчества давно закрылся. В памятном доме открыли детский театр «Зазеркалье», а само здоровенное здание с внутренним двором и соседними лестничными пролетами ушло в частные руки. Когда начался процесс продажи, то организованные цоефилы ударили в набат, стали готовить акции протеста. Здесь, мол, Цой начинал, а вы хотите загубить место. По телевизору прошло несколько сюжетов. В одном и я появился, изложил свое видение данной проблемы. На историческом здании надо хотя бы мемориальную доску установить про рок-клуб, иначе фанаты станут на отремонтированных стенах рисовать. Да и двор, мол, стены которого превратились в большую графическую картину, стал представлять определенное художественное значение для города на Неве…

На следующий день после того, как моя говорящая голова появилась в теленовостях, мне вдруг позвонили из комитета по культуре. Сам начальник комитета, член, вообще-то, городского правительства. Эти начальники приходят и уходят – фамилию я его просто забыл. Начальник стал очень вежливо уточнять мое мнение. Я стал это мнение высказывать снова. Начальник попросил, если можно, изложить письменно и прислать по электронному адресу. Я не поленился и написал предложение подробно и аргументированно, отослал его в правительство, фактически выполнив работу кого-то из чиновников… Мне не перезвонили. А через некоторое время началась кампания по обману цоевских фанатов…

Поклонники «Кино» – это множественные народные массы разного возраста. Аутентичные, то есть ставшие таковыми при жизни Виктора, – это уже вполне взрослые мужчины и женщины, электорат. И этих сплоченных избирателей лучше не обижать. Думаю, тогдашний губернатор города Валентина Матвиенко дала строгий наказ аппаратчикам из комитета культуры погасить конфликт в зародыше. Чиновники в панике составляли планы… Главная позиция: сделка с домом № 13 изменена быть не может. Бабло поделено… Ультра-фанаты «Кино» давно уже

разрабатывали идею установки Цою памятника. А тут и власти предложение вдруг подхватили. Да, надо, мол, памятник. Есть и место, где-то в районе Ленинского проспекта на окраине. Цой, якобы, часто гулял в соседнем лесу. В этом самом лесу мы выделим место для памятника… Цоеманы повелись, напряжение спало, стены двора экс-рок-клуба закрасили и закрыли на замок. Памятник Цою в лесу не поставили. Да и не надо ставить памятников. Как-то это глупо и смешно. Тогда придется ставить памятников пятьдесят, включая и автору данной книги. И памятники будут, видимо, разной высоты: БГ повыше, Цою совсем большой, кто-то маленький, кому-то только бюст. Самых великих отливать из бронзы. А менее значимых, как пресловутых девушек с веслом, изготавливать из гипса и красить серебрянкой. Тогда и аллею следует выделить…

Моя бы воля – я бы всенародными усилиями собрал музей данного музыкального жанра. А перед ним камень установил с такими словами: «Памятник неизвестному гитаристу. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Как на памятнике неизвестному солдату в Москве. Десятки тысяч молодых людей прошли юность с гитарами в руках. Музыка эта изменила нас в лучшую сторону. Это надо помнить. Но без фанатизма.

Дом писателей графа Шереметева

Эту главу я решил превратить в реконструкцию литературного быта ленинградской поры накануне прихода в Кремль Михаила Горбачева.

После смерти Брежнева в стране началось оживление. Андроповские соколы вылавливали днем посетителей кинотеатров, пытаясь разоблачить в них тунеядцев и прогульщиков. Говорят, что заявлялись народные дружинники и в общественные бани, где и среди голых советских граждан старались найти бездельников. Обычная российская глупость. Каждый нижестоящий чиновник, стараясь угодить руководителю, добавлял в пожелание руководителя толику своей фантазии. Итог: всякое, возможно, и разумное начинание превращается к началу реализации в утрированный бред.

Зато появился новый сорт водки, более дешевый. Прозвали ее «андроповкой».

В 1983 году я совершил социальный скачок по литературной лестнице. Поскольку у меня появилась пара публикаций в молодежных сборниках и в ресторане Дома писателей я пока еще никому не дал по морде, меня позвали в комиссию по работе с молодыми и сказали:

– Учитывая вашу спортивную комплекцию и литературную репутацию, мы решили предложить вам поучаствовать в выносе гроба…

Только что умер писатель Федор Абрамов. Ожидалось столпотворение на гражданской панихиде. Кроме меня призвали большого Сережу Янсона и еще нескольких мускулистых. Мы должны были присматривать за порядком и нести гроб. Я склонен к авантюрному абсурду, поэтому и согласился. Народу набилось действительно много. Возле гроба выступали разные партийные и беспартийные люди. Сказали речи вологодский писатель Василий Белов и питерский театральный режиссер Лев Додин. Белов закончил свое выступление фразой: «Прощай, Федя», а Додин, ставший у гроба сразу после Белова, начал так: «Нет, я не говорю – прощай!» Писатель и режиссер злобно-ревниво поглядывали друг на друга. Затем гроб следовало вынести на улицу. Я подставил плечо и понес Абрамова. На узкую лестницу, откуда не возьмись, выскочили Василий Белов и Лев Додин, подлезли под гроб и стали мешать. Белов, человек маленького роста, все наступал мне на ноги. Был момент, когда я Абрамова чуть не уронил. Пришлось Белову дать под зад коленкой. Но он этого и не заметил, поскольку бросал ненавидящие взгляды на Додина, а

Додин бросал взгляды на Белова.

Абрамов – писатель умный, серьезный и скучный. Несколько десятилетий назад он считался одним из столпов советской литературы. А теперь кто его помнит? Белов, пожалуй, да Додин.

Кроме прохода с гробом Абрамова в моем активе имелась публикация небольшой повести под названием «Пока не выпал снег» в сборнике прозы молодых. Сборник назывался «Точка опоры». В повести шла речь об ансамбле гитаристов. В шутливо-молодежной манере об этом писать позволялось. Первый же раз я опубликовался на просторах советской печати в 81-м. Приехали в Клуб молодых литераторов люди из Таллина. И не просто люди, а эстонцы – работники местного молодежного журнала. Они набрали ленинградских стихов и рассказов. Подсунул я и свой. Если у нас прохождение по редакционным инстанциям занимало часто годы жизни, то гости сработали моментально – через пару месяцев из Таллина прислали пачку журналов. Имелся в нем и мой рассказ на эстонском языке. Таким занятным способом я начинал путь русского писателя…

В Доме писателей на улице Воинова перед дубовыми дверями, через которые выносили Абрамова, возле мраморной лестницы, покрытой ковровой дорожкой, стоял гипсовый Маяковский с грубым большим и сердитым лицом. Вечером из дверей банкетного зала экс-графского ресторана частенько рявкало многоголосие:

– Горький! Горький! Горький!

– Что? Почему? Зачем это Горький? Когда тут Маяковский? – вздрагивал кто-нибудь из новых посетителей дворца. А завсегдатай объяснял:

– Это опять свадьбу гуляют с банкетом. Это хорошо. Вчера вон ветераны с баяном плясали. Володе ботинок отколупнули и с собой унесли.

Действительно, возле поэта частенько стоял некто в спецовке и формовал из гипса ботинок где-то пятьдесят четвертого размера, который выступал за край круглого пьедестала. Ботинок давно превратился в пародию на ортопедическую обувь.

Поэта посетители буфета-ресторана звали просто Володей.

Вечером в ресторане мог встретиться какой-нибудь занятный литературный персонаж. Вот, к примеру, Николай Коняев. Вырос он в приозерном селе Вознесенье, мастерски писал рассказы в советском реалистическом стиле. И уже добился первоначального карьерного успеха. Коняев был хитрованом и любил подбить поддатого товарища на азартные игры, стараясь выиграть все подряд: даже носки и носовые платки, которые после его жене приходилось стирать и с извинениями пересылать незадачливым

игрокам.

Вот и я частенько играл с Коняевым в шахматы на водку. Как-то с меня опьяневшего Николай стал брать расписки. В конечном счете я профукал:

а) дубовую рощу возле Брянска;

б) сыроварню с немцами под Саратовом;

в) медные копи в Голодной степи;

г) технологию нейтронного оружия.

Такие расписки оставлял я после позорно проигранных партий. Мы с Коняевым изображали из себя каких-то метафорических, а в чем-то и метафизических господ. После Коля многократно пытался мне расписки продать.

В советские времена Коняев сделал довольно успешную карьеру, выпустил несколько книг, вошел в партийное бюро писательской организации. В новую эпоху Николай отпустил бороду и стал православным писателем. И вполне процветает на выбранной ниве.

В начале нулевых я, помнится, вывез расслабленных писателей Коняева и Крусанова с одного литературного мероприятия, проходившего, как водится, под хмельными знаменами. Крусанов к тому времени прославился имперским романом и желанием объявить войну испанскому королю. Когда мы зашли к Николаю в квартиру, хозяин встрепенулся, открыл шкатулку, стоявшую под образами в красном углу, и весело сказал:

– Вот они, твои расписочки, ждут расплаты!..

Жизнь Дома писателей была разнопланова. Часам к шести в ресторане собиралось довольно много интеллигентной публики – затем они расходились по семинарам переводчиков. Это были дипломированные филологи. Периодически возникала несколько обособленная группа фантастов из семинара Стругацкого. Это теперь фантасты захватили наиболее лакомые куски издательского пространства, а тогда они представляли собой нечто похожее на секту.

Вечером в ресторане с окнами на Неву, на противоположной стороне которой припарковался боевой крейсер «Аврора», обычно один из столиков занимала компания молодцеватых мужчин в костюмах с галстуками. Это подходили киряющие чекисты из Большого дома напротив. Они ни с кем в контакт не вступали.

Прозаический семинар Евгения Кутузова и профессора Пушкинского дома Леонарда Емельянова был стойко пьющим. Хочется вспомнить многоженца Валеру Сурова, казака-философа Лешу Грякалова, тестостеронного теннисиста Славу Шорикова,

яркого туркмена Акмурата Широва, большого и дружелюбного Сережу Янсона. Всех перечислять – места не хватит. Это было новое поколение – почти всех затем накрыло волной контрреволюционных перемен начала 90-х годов. К моменту превращения Ленинграда в Петербург все уже имели публикации и вполне справедливо претендовали на свою порцию литературной славы. Не вышло.

К семинаристам прибивались и поэты. Толя Иванен, к примеру. Он классный поэт, грустный лирик, депутат поселкового совета, погорелец. Живет у хранительницы Петровского домика в Летнем саду.

Или Николай Шадрунов – персонаж просто фантастический. Абсолютно народный тип, выходец с Вологодчины. Николай писал короткие рассказы о жителях города Ораниенбаума, который в народе называли Рамбовом. Шадрунов – писатель класса Шукшина, но ему не хватило напора и удачи. Костя Тублин издал в своем «Лимбус-пресс» том его сочинений, но книга прошла малозамеченной. Издатель выдал писателю деньги на зубной протез. Его изготовили, и Николай стал похож на человека. Но как-то, разозлившись на несправедливости мира, Шадрунов выбросил протез в кусты ораниенбаумского парка. На следующий день ползал в траве, искал. Но не нашел. После выхода книги в родном Рамбове возликовали – на короткое время Шадрунов даже стал символом городка. Один из местных энтузиастов изготовил ему памятник в полный рост, но несколько меньше оригинала. Была даже идея установить его напротив библиотеки. Но местное руководство идею отвергло, и автор подарил памятник писателю, который врыл себя в клумбу под окнами…

В те времена, о которых идет речь, случилась с Шадруновым занятная своим чисто ленинградским смехом история. Николай жил в деревянном доме напротив знаменитого рамбовского парка с дворцом Меншикова посредине. Однажды он случайно познакомился с супер-звездой советского киноэкрана Маргаритой Тереховой. Та пожаловалась, что не знает, куда поехать отдыхать. У нее, мол, ребенок, а везде узнают, просят автографы. Шадрунов как раз собирался на месяц уехать на родину в Вологодскую область. Он предложил актрисе остановиться у него – место, мол, тихое, природная красота вокруг. Если придут соседские ханыги стрелять рубли на водку, то просто и официально, ссылаясь на меня, выдать им один рубль и послать нах. Тереховой предложение понравилось, она поселилась у народного писателя, а Шадрунов уехал. Тем временем к Николаю Коняеву, известному уже нам певцу озерного края, заехала группа московских

телевизионщиков и попросила помочь найти какого-нибудь народного персонажа. Рабочего, писателя самоучку. Что-нибудь дремучее. Коняев вспомнил про Шадрунова и объяснил:

– Есть такой. Полная деревенщина. Ходит в ватнике. Был морячком. Теперь кочегар. Начитанный самородок, такой вам и нужен.

Поскольку Шадрунов телефона не имел, Коняев просто нарисовал план, как найти его дом. Постучите, мол, в окно на первом этаж.

Журналисты сели в автобус, приехали в Рамбов, нашли по плану дом и постучали в окно. Через некоторое время им открывает дверь блистательная и знаменитая красавица мирового класса актриса Маргарита Терехова, протягивает рубль и говорит:

– А теперь валите отсюда нах – так Коля Шадрунов сказал…

А вот и Михаил Иванович Демиденко. Выглядел пожилым, хотя было ему всего чуть за пятьдесят. Абсолютно хохляцкая, курносая физия, веселые глаза. Вообще-то по легенде Михаил Иванович воспитался в китайской семье и в юные годы служил секретарем у Линь Бяо. Позднее он написал боевик про вьетнамскую войну, повесть «Дневник пройдохи Ке», вышедший в Москве большим тиражом и ставший бестселлером. Я частенько бражничал с ним в Доме писателей. Как-то мы отправились, придерживая друг друга, в туалет. Спускаясь к гардеробу, я традиционно хряснулся лбом о низкий мраморный уступ. Затем мы с Демиденко устроились у писсуаров, продолжая разговор о судьбах русской литературы. И вдруг Демиденко весело произнес:

– Сейчас у меня, как у Пикассо, «голубой период». Смотри!

Я посмотрел и увидел голубую струю.

Оказывается, Михаил перед поездкой в Индокитай принимал особые таблетки с таким вот эффектом.

Помню еще сюжет с Демиденко и Кутузовым. Михаил вернулся из Кампучии и привез упаковку местной валюты. Деньги эти вместе с городами упразднил Пол Пот. Вот Михаил и привез сувенир. Из Дома писателей наше трио вышло финансово почти опустошенным. Куда-то мы поехали на такси. Кутузов стал покупать водку у таксиста, а Демиденко расплачиваться. Он доставал последние рубли из портмоне – жуликоватый таксист увидел иностранные бумажки. Пока мы ехали, Михаил громко рассказывал о заграница. Вот таксист и подумал – поддатые капитаны едут, поживлюсь валютой.

– Можно и этими, – кивнул водила в сторону ничего не стоящих денежных знаков.

– Этими так этими, – согласился секретарь Линь Бяо и щедро

отвалил жулику кампучийских банкнот.

Несмотря на годы, Михаил Иванович мог заразительно засмеяться, мог выпить с совсем неизвестным литератором и поддержать словом. Как-то мы шли по Литейному мосту. Дул ветер. Демиденко прочитал только что один из моих рассказов и громко восторгался. На нем кепочка из кожзаменителя ценой в три копейки, на мне – настоящая шотландская в красною клеточку. Гордость, можно сказать. Михаил Иванович распаляется и почти кричит наперекор ветру:

– Ты же талантливый человек! Я даже не знаю, что еще сказать!

Он срывает с головы свой дурацкий головной убор и бросает в бурную Неву. И мне приходится снять и выбросить модную шотландскую. Михаил Иванович останавливается и спрашивает:

– Зачем мы кепки выбросили?

Я только пожимаю плечами. Больше у меня таких кепочек не было.

Демиденко женился несколько раз. Последней его жене на момент бракосочетания было двадцать шесть лет. Когда писатель покидал компанию и уходил из писательского ресторана, то оставшиеся понимающе кивали:

– Ему пора ехать. У него жена молодая. Двадцать шесть лет!

Лично я слышал про «двадцать шесть лет» на протяжении лет десяти. И до меня так говорили лет десять тоже.

Почти все писатели, с кем мне пришлось общаться, повзрослели рано. Родившись накануне войны, они рано узнали жизнь.

Хочется вспомнить еще одного человека, частенько задававшего тон в ресторане Дома писателей. Это Андрей Никитич из Планетария. У него водятся иногда большие деньги, и его любят официантки, которых он хлопает по ядроподобным задницам, и местные поэты, которым он, набравшись, читает свои плохие стихи хорошим голосом. Андрей Никитич из Планетария широк в плечах и округл в животе, лоб у него ясный, глаза чистые, лицо кирпичного цвета и седоватая бородка. Одним словом, он похож на Всесоюзного старосту товарища Калинина, занимавшегося в юности гиревым спортом. В свободное от Планетария время Андрей Никитич приторговывает антикваром и денег у него до фига.

После десяти вечера, когда у нас заканчивались деньги, наступал счастливый для Андрея Никитича момент, ради которого он и хаживал в Дом писателей.

Он, не оборачиваясь, делает жест. Прогибая паркет – этого мига ждала и обслуга ресторана! – подбегает официантка Рита.

Бедра у нее, корма и грудь таких форм, что просто не бывает. Она поощрительно улыбается, а Андрей Никитич из Планетария говорит тем небрежным полушепотом, за содержание которого мы все так любим его:

– Душенька, бутылочку коньяка, что получше, выбери…

– «Ахтамар»? – почтительно предлагает Рита.

– Да, да, естественно, «Ахтамар»!.. Так… Шампанского еще… Закусить что-нибудь легкое. Шоколад… И еще, Рита, – Андрей Никитич из Планетария смотрит укоризненно, – перемени, пожалуйста, стол.

– Обязательно, Андрей Никитич! Что-нибудь еще?

– Нет, Рита. Пока нет. Я скажу.

Через час шум в ресторане становится невыносимым. Все благодарно посматривают на Андрея Никитича, а Евгений Кутузов орет благим матом:

– К бабам! К настоящим русским бабам!

Тут все и переходят в бильярдную, что напротив ресторана за потаенной дверью.

Советские разночинные писатели, собравшиеся в бильярдной комнате, изображают из себя дворян. Или бояр. Одним словом, что-то чуждое, белогвардейское. Толик Степанов садится на ковер, откидываясь к благородной стене, обитой дорогой материей, и пьет шампанское из горлышка, отрыгивая пузырьки.

Играют долго и безрезультатно. В небольшой бильярдной уютно рассеянный свет ровно падает на зеленое поле стола. Окна занавешены кремовыми гардинами, тяжело струящимися от потолка к полу. Потолок отделан дубом.

Вскоре в бильярдную влетает жена Коняева, Марина, вызванная из дома по телефону администраторами. Оказывается, после длительного лечения новейшим методом из желчного пузыря Николая вот-вот должны пойти камни. Ему следует соблюдать диету и покой. Марина старается по мере сил препятствовать его загулам.

– Как не стыдно! – бросает она, берет певца озерного края, как полено, и выносит из бильярдной.

Естественно, что реконструкция писательского быта предперестроечной ленинградской поры условна. Не все так угарно происходило на самом деле. Не всех персонажей я, понятное дело, сумел назвать. Но общий тон времени, мне кажется, удалось передать. Сквозь экзальтированную гулянку чувствовалось приближение чего-то нового, другого. Социализм и погиб-то, мне кажется, оттого, что не смог предложить ничего нового. Старые догмы и старые вожди всем надоели. Скука погубила хорошую идею.

Писатели, конечно, были баловнями советского режима.

Андрей Тропилло-Торопила

Ленинградский рок-клуб, созданный в марте 1981 года в Доме народного творчества на улице Рубинштейна, 13, стал проводить фестивали. Первоначально они назывались смотрами-конкурсами.

У меня в архиве хранится пухлый том машинописных страниц, любовно переплетенных и убранных под обложку из светло-коричневого кожзаменителя. На титульном листе старательно отпечатано: «Материалы 2-го смотра-конкурса самодеятельных рок-групп города Ленинграда», 1984 год. Познакомлю вас сегодня с его содержанием. По стилистике текстов можно понять состояние дел и умов в музыкальном Ленинграде той поры.

На первой странице список оргкомитета и жюри. В жюри, кроме представителя обкома ВЛКСМ Пилатова, присутствовали местный писатель Житинский, журналисты Троицкий из Москвы и Мейнерт из Таллина.

Среди участников в будущем великие: «Кино», «Аквариум», «Алиса». «Алиса» еще без Кинчева. Есть и навсегда выбывшие из памяти человечества ансамбли «Зенит», «Календарь», «Продолжение следует».

Вот программа выступления, к примеру, рок-банды «Алиса». Аккуратно распечатан состав тогдашней «Алисы»: Задерий Святослав – 24 года, Шаталин Андрей – 24 года, Нефедов Михаил – 23 года, Кондратенко Павел – 24 года, Утехин Илья – 19 лет, Борисов Борис – 26 лет. Вот фрагмент одной из песен:

Один ученый захотел стать властелином мира,
Чтобы над разумом людей он мог стоять вампиром.
И он собрал слабости,
Как сластена ест сладости.
И он считал себя праведным,
Ведь наказывать – это правильно…

Зачитываю названия песен из программы «Аквариума»:

1. Песня к воде.
2. Нож режет воду.
3. Новые дни.
4. Небо становится ближе.
5. Артур – инструментальная композиция.
6. Дикий мед.

7. Минус тридцать.
8. Глаз.
9. Тема для новой войны.

Все участники смотра – видимо, таково было требование анкеты – указывают возраст. Только Леонидов, Фоменко, Заблудовский и Мурашов из «Секрета» кокетливо скрывают свою юность.

Еще из великих выступали «Зоопарк», «Странные игры», «Кино», «Телевизор».

Перечислю песни из программы «Кино»:

1. Транквилизатор.
2. Растопи снег.
3. Троллейбус, который идет на восток.
4. Летние каникулы.
5. Последний герой.
6. Генерал.
7. Время есть.
8. Я объявляю свой дом.
9. Прогулка романтика…

На момент конкурса Виктору Цою всего 22 года.

К машинописному досье на группу «Пикник» внизу старательная приписка карандашом: «7 марта 1984 из группы ушли все музыканты, кроме Э. Шклярского. Были приглашены Евсеев, Омельниченко и Егоров. После чего была отрепетирована эта программа…»

К 1984 году любые концерты на Рубинштейна стали пользоваться большим успехом. Туда уже следовало доставать проходку, то есть пригласительный билет. Билеты делились между музыкантами и руководством рок-клуба. Тут же они появлялись на черном рынке. Думаю, рок-клубовская бюрократия и музыканты ими и приторговывали. Я тоже как-то по бедности продал два билета за 10 рублей. Но у меня билетов практически не было. Много билетов забирало себе начальство Дома народного творчества. Молодые чекисты из Большого дома брали их и водили в рок-клуб разных милашек, бравируя собственными возможностями.

В мае 84-го жюри смотра определило семь лауреатов. Это группы «Аквариум», «Кино», «Секрет», «Теле-У», «Тамбурин», «Джунгли» и «Телевизор».

Некоторые из лауреатов награждаются грамотами. «Кино» – за лучшую антивоенную песню. Так отметили песню, в которой Цой объявлял свой дом безъядерной зоной. Студенты

театрального института, составившие «Секрет», естественно, получили грамоты за артистизм. «Тамбурин» Володи Леви – за высокий художественный уровень аранжировки и качество исполнения. «Теле-У» Александра Ляпина, виртуозно наяривавшего гитарные соляки, награжден грамотой за исполнительское мастерство. «Джунгли» Отряскина получили грамоту за музыкально-композиционное решение программы… Были учреждены специальные призы: Кировский завод наградил группу «Мануфактура» за творческий поиск, а Ленинградское оптико-механическое объединение отметило призом группу «Кино» без объяснения причин своих симпатий. Горком ВЛКСМ наградил также без объяснений группу «Тамбурин».

И еще грамотами награждаются:

Михаил Науменко – за последовательную разработку сатирической темы;

Борис Гребенщиков – за вклад в развитие ленинградской рок-музыки.

Годы, как резинка, стирают детали. Помню выступление «Аквариума» на Рубинштейна незадолго до воцарения в генсеках Михаила Горбачева. На сцену выбегает Боря в кимоно и босиком. Поет и прыгает. За ним появляется Саша Ляпин и очень долго с большим талантом пилит на гитаре. Во время бесконечного соло Боря прыгать устает. И падает на сцену. А Ляпин продолжает наяривать. Радость бытия в чистом виде!

После конкурса-смотра в зале Дома народного творчества прошла конференция. Подводили итоги. Присутствовали композитор Александр Морозов, написавший критическую статью в «Комсомольской правде», и журналист Садчиков, сочинивший отклик для ленинградской газеты «Смена». Из стенограммы можно представить эту милую дискуссию в стопроцентно советском стиле. Все говорят, что за отчетный период, прошедший с первого конкурса-смотра, уровень музыкантов значительно вырос. Но много еще, мол, недочетов. Присутствующие требуют от композитора Морозова объяснений за критику в центральной печати. Морозов оправдывается тем, что сам многие годы оставался песенником-любителем, а теперь сочиняет профессиональные песни для массового исполнения.

– …Я, например, не могу посоветовать песни самодеятельных рок-групп своему маленькому сыну. Я считаю, что есть произведения, рассчитанные на определенный узкий круг, и есть массовая песня. Я занимаюсь массовой песней… Я считаю, наступило время, когда профессиональная музыка наконец-то обратит внимание на то, что существует огромное молодежное движение, которое остается без помощи и средств массовой

информации… Я не считаю, что стихийное распространение записей – что-то очень плохое… Я считаю, что музыка «Аквариума» рассчитана на определенный круг…

Сейчас это воспринимается как детский лепет. Гребенщикову к тому времени уже перевалило за тридцать. Он давно состоялся и как автор огромного количества песен, и как лидер группы с более чем десятилетней историей. Пройдет всего несколько лет, и многие из тех, кого жюри хвалит и гладит по головке, выйдут на стадионы и станут зарабатывать большие деньги. В массовой продаже появятся пластинки…

В словах композитора промелькнуло главное, когда он упомянул записи. Да, записи ленинградских групп расползались по стране вне зависимости от мнения прессы и разных жюри. Кстати, жюри на 2-м смотре-конкурсе сформировалось вполне дружественное.

А теперь назовем главного героя ленинградской рок-сцены первой половины 80-х годов прошлого столетия. Андрей Владимирович Тропилло по прозвищу «Торопило». Этот Торопило, проявляя волю и упорство, присущие тщеславным честолюбцам, записал на студии Дома пионеров Красногвардейского района практически всю классику ленинградской рок-музыки. Десять первых альбомов «Аквариума», первый альбом «Кино». Среди записей Торопилы «Зоопарк», «Алиса», «Аукцион», «Санкт-Петербург»… Только перечисление групп, которые воспользовались услугами студий Торопилы, займет целую главу. Одним словом, пока Ленинградский рок-клуб проводил смотры-конкурсы, раздавал грамоты и упивался своей возрастающей популярностью, Андрей Тропилло записывал и выпускал в массы магнитофонные альбомы. Известность и скорый финансовый успех ленинградских рок-групп не состоялись бы без деятельности Торопилы. По его версии такие группы, как «Зоопарк» или «Кино», он составлял из музыкантов «Аквариума». Групп как таковых, утверждает Андрей Владимирович, не было – одна большая компания участвовала в записи альбомов разных ансамблей, группируясь вокруг фронтменов. После записи альбом оформляли фотографиями, тиражировали и продавали копии. С первого тиража население Советского Союза уже само делало копии – музыка расходилась по стране молниеносно. Я лично покупал у Бориса Гребенщикова альбом «Треугольник». Первоначально у меня появилась просто запись без оформления. У всех, кому я давал слушать, альбом вызывал восторг. Поражали не сами песни, а тот факт, что это настоящий альбом, как у англичан и американцев. Поскольку запись в результате этих восторгов кто-то присвоил, я отправился

к Борису на улицу Софьи Перовской. Теперь эта улица носит историческое, но и безликое название – Малая Конюшенная. У Бориса постоянно роилась публика, почитатели уже начинали писать любовные послания на лестничных стенах. Это результат популярности, полученной после распространения торопиловских записей. В тот день Борис болел, лежал в кровати под одеялом. Я отдал ему пятерку за красиво оформленную фотографией Андрея Усова картонную коробочку с магнитофонной пленкой. Борис решил меня проводить. Он поднялся с кровати как есть. Его жена Людмила сказала:

– Ну, Боря! Ты же голый, ляг.

Борис уже вел себя, как настоящий эпатажный рок-герой. Впрочем, моего воображения он не потряс. Я просто ушел с альбомом, который продолжил успешно популяризировать среди приятелей. И другие так делали. Скоро весь СССР оказался вовлечен в перезаписывание торопиловских альбомов. Цензура была уничтожена ручным способом.

Теперь мы с Андреем Владимировичем довольно близкие приятели. Я даже два романа сочинил и издал, где вывел товарища главным героем под фамилией Стропило. И много чего по-ленинградски абсурдного и значимого мы с ним сотворили в постсоветские времена. Поэтому имею право про великого и ужасного Антропа сказать всю правду. Торопило вообще-то почти всегда врет со страшной силой, начиная отсчет своей студии чуть ли не с начала 70-х. Основной исторический удар по музыкальным устоям однопартийной державы был совершен с 81-го по 86-й год. И произошло это в недрах уже названного Дома пионеров. Торопило вел детский кружок, везде прихватывая звукозаписывающую технику. В результате он имел студию не хуже тех, на которых писались «Битлз» и «Роллинг Стоунз» в 60-е. Дело на самом деле не в навороченной аппаратуре, а в ушах того, кто ручки крутит. Любовь к рок-н-роллу, технический гений и зуд тщеславия двигали товарищем, и он своего добился. «Я первый независимый продюсер звукозаписи в СССР», – заявляет Андрей Владимирович. И это правда. В 1986 году Тропиллу от пионеров отстранили. Золотой период студии закончился. К началу 90-х Тропилло захватил чердачное помещение одного техникума на Большом проспекте Петроградской стороны. Там уже ручки крутил племянник продюсера Ясин. Я на эту студию влез и записал несколько альбомов. Но Торопила там появлялся лишь изредка и давал мутные указания. Звукооператоры, которые в студии обосновались, согласно кивали и втайне от хозяина записывали разных музыкантов за деньги в свой карман. Затем техникум перешел в руки Института психоанализа, и

психоаналитики несколько лет пытались Торопилу с чердака вышибить. После двух лет осады это им удалось. Затем Торопило навешал килограммы лапши на уши акционерам завода по выпуску CD и DVD на территории бывшего завода «Мелодия» на Цветочной улице в районе Московских ворот. Торопило и сам являлся акционером вновь созданного предприятия «Кардмедиа». Продюсер пообещал вырастить на студии супер-звезд. На их тиражи завод получит многотысячные заказы и заживет припеваючи. Капиталисты-акционеры Торопиле выделили значительное пространство под студию. Записи там начали делать довольно хаотично. Без всякой системы. Звезды не появились, завод стал падать. Перед окончательным падением торопиловскую студию опечатали. Судьба студийного дорогостоящего оборудования неизвестна. Архив с записями голосов ленинградской рок-истории уплыл в неизвестном направлении. Думаю, он утерян. Только у меня чудом сохранились две здоровенные картонные коробки с лентами под шестнадцатиканальный аналоговый магнитофон. Такова краткая новейшая история. Постленинградская.

Меня всегда интересовали мотивы человеческих подвигов. Андрей Тропилло такой подвиг совершил. Он человек выдающийся. Круче скандального Мавроди во много раз. Гениальная афера Тропиллы длилась четверть века. Чтобы влезть в Дом пионеров, собрать звукоаппаратуру, стать директоров еще советской «Мелодии» (а было и такое накануне падения СССР)… Одним словом, чтобы реализовать задуманное, требовалось выработать в себе определенные качества и стать профессиональным гипнотизером, способным заговорить зубы всякому. Любой человек имеет личную систему защиты. Начиная разговор, Тропилло как бы ее тестирует. Он говорит и говорит, затем находит слабую зону и овладевает вашей личностью. У мужчины отбирает кошелек, у девиц – эту самую девичью честь. Но смею похвастаться – я единственный человек в пределах Солнечной системы, который сумел вернуть у Торопилы долг.

Дело было так. До 85 года мы находились в состоянии шапочного знакомства. А тут я иду по набережной канала Грибоедова. Весна, вечер, прохладно. У парапета стоит Тропилло с молодой женщиной, чье имя здесь называть не обязательно.

– Привет, – говорю.

– Привет, – улыбается продюсер в ответ. – Дай в долг десять рублей.

Сумма по тем временам приличная. Но я достаю десятку, отдаю будущему приятелю и иду дальше без гроша в кармане.

Прошло много лет. Году уже в 2010-м один влиятельный

культурный деятель Петербурга предлагает мне кого-нибудь выдвинуть на премию «Петрополь». Премия эта не имеет денежного содержания, но церемония проводится довольно пышно – 5 июня в доме-музее Александра Пушкина на Мойке накануне дня рождения поэтического гения. Решил я выдвинуть Андрея Владимировича. Хоть он и гад, конечно, но человек-легенда все-таки. Тропилло, естественно, соглашается. Вместо вечно мятого костюма надевает на себя костюм выглаженный. В назначенный час в актовом зале музея собирается публика – разные седовласые мэтры, всякие балерины, представители средств массовой информации, интеллигенция…

Лауреаты премии поднимаются на сцену, номинатор их представляет, лауреат что-то отвечает, затем получает диплом и статую на выбор – или Достоевского, или Ксении Блаженной… Вот я вывожу Тропиллу на сцену. Товарищ стоит пунцовый от реализованного тщеславия. Я начинаю его представлять публике и вдруг вспоминаю про те десять рублей. Я рассказываю историю долга, как бы шучу, но заканчиваю ее следующими слова:

– Пока Андрей Владимирович не отдаст мне десять рублей, он диплома и статуэтки из моих рук не получит.

От ужаса остаться без награды седые волосы на товарище начинают шевелиться. Он судорожно роется по карманам, из которых вываливаются сотенные, пятисотрублевые, тысячные купюры, разные бумажки с номерами телефонов, визитные карточки, шурупы, конфетки и контрацептивы. А вот и десять рублей. Торопило протягивает мне купюру. Руки у него дрожат. Беру деньги и отвечаю:

– Конечно, я отдавал Андрею Владимировичу новый червонец. А возвращает он мне мятую бумажку спустя двадцать пять лет. Ясное дело – деньги обесценились в тысячу раз… Но вопрос считаю решенным. Вот тебе, друг, Ксения Блаженная.

По-настоящему мы с Андреем сблизились году в 90-м. Как-то он подвозил меня на машине. Остановившись, произнес заговорщицки:

– В каждом человеке заложена божественная программа. Я свою выполнил. И стал богом. И у тебя тоже шанс имеется.

И стал я Тропиллу называть «Боже». Это тропилловское больное место, маниакальный психоз. Приставал ко мне один мурманский музыкант с просьбами, которых я выполнить не мог. Чтобы отвязаться, даю телефонный номер Тропиллы и предупреждаю:

– Надо обратиться: «Здравствуйте, Бог»! И вам все сделают.

Человек позвонил, обратился как к Богу. Тропилло парню организовал запись на студии и даром выпустил альбом в

формате CD.

Как я уже говорил, Андрей стал прототипом главного героя моих двух романов: «Ересь» и «Четвертая мировая война»… Узнаю вдруг, что маэстро, выпив вина, рассказывает собутыльникам, как диктовал Рекшану тексты. Пришлось перед народом оправдываться, доказывать свое авторство, а при встрече продюсера корить. Но, по-моему, он продолжает приписывать себе авторство романов до сих пор.

А вот быль из начала 90-х, характеризующая нашего героя в полной мере.

Тогда живой бог в очередной раз разорился. И стал бог сбагривать имущество. Мне он решил продать старинный «мерседес» за умеренные деньги.

– На ней, – сказало божество, – людей из ресторана в гостиницы возили. В Германии! Поэтому машина в приличном состоянии. Бери!

– Да зачем мне? – сомневаюсь.

– Тебе надо! – гипнотизирует Тропилло.

Едем в Купчино. Подъезжаем к гаражу. Вдруг на чистом небе собираются тучи, и, когда Тропилло открывает гаражную дверь, раздается гром из недавно еще ясного неба.

– Предупреждение, – говорю я.

– Одобрение! – втюхивает Тропилло.

Теперь машина моя. До сих пор я в ней дырки заделываю. А на днях нашел под сиденьем пулеметную ленту немецких презервативов. Штук сто. Кажется, я купил публичный дом на колесах.

Кстати, из Ленинградского рок-клуба исключили только одного человека. Этот человек – Андрей Тропилло. Случился курьез в 1988 году, сразу после 6-го рок-фестиваля. Формулировка: «За волюнтаризм». Как хотите, так и понимайте.

Делать карьеру в Москве!

В ленинградские времена мысли о Москве будоражили душу. В Москве, мол, пробиться в люди много легче, чем дома. И сейчас так считают. В те годы, о которых идет речь, единственная область советской жизни, где своей стремительной историей Ленинград опережал Москву, была рок-музыка. Вспоминать сегодня я стану последние месяцы перед приходом к партийной власти Михаила Горбачева.

В столице в рок-музыканты часто рекрутировались детки из номенклатурных семей. Советские, так сказать, сливки. Чего стоит один Стас Намин из клана Микоянов. К совэлите принадлежали и Троицкий, и Липницкий, и Макаревич. На берегах Невы лучшие рокеры – это выходцы из разночинной среды. Да и рок-клуб сложился как достаточно плебейская, в лучшем смысле этого слова, организация.

В остальных видах трудовой деятельности за славой и коровой следовало отправляться в Москву. А в Ленинграде тем временем…

К 1984 году у автора данных мемориев имелось несколько приличных публикаций. Я уже собрал книгу повестей и рассказов для местного филиала издательства «Советский писатель». Но первоначально рукопись предстояло обсудить на семинаре прозы в Доме писателей и получить благожелательную рекомендацию руководителя Евгения Кутузова. А что решат в издательстве… Об этом даже думать не хотелось. Другое дело Москва. Историй о том, как в Москве делались карьеры, ходило множество. Тогдашний мой приятель, прозаик с трудовой биографией Валерий С., Москву нахваливал особенно. Поскольку он уже выпустил две книги и вступил в Союз писателей, то я ему невольно верил.

– Вступить в Союз – это все равно что стать полковником, – утверждал Валера. – Даже больше! И тебе надо со мной в столицу ездить. Главное, оказаться в нужное время и в нужном месте!

Попробую воссоздать один из сюжетов 1984 года. Мой товарищ достал номер рижской газеты, которая в те годы единственная в стране публиковала брачные объявления. Валера С. отправлялся в белокаменную, звонил женщинам из объявлений, проживавшим в столице, и назначал им встречи в Доме писателей, что неподалеку от Нового Арбата, предполагая пустить пыль в глаза, покорить не только сердце, но и открыть таким образом в столице корреспондентский пункт. Чтобы можно было останавливаться с любовными утехами и делать

пресловутую литературную карьеру. У меня же в столице знакомых практически не имелось. Однажды мы поехали вместе. Целый день я где-то болтался, а вечером прибыл в Дом литераторов. Помню промозглый вечер посредине зимы. Валера провел меня в здание, поскольку имел заветный билет члена Союза писателей. В советском смысле приятель карьеру уже сделал. Но ему хотелось больше, чем могла предложить скудная литературная жизнь в Ленинграде. Когда я прибыл в писательский особняк, Валера встречался с предпоследней невестой по объявлениям. Поздоровавшись, я сел за соседний от разговора столик, но мне было все слышно. Встреча происходила в кофейно-бутербродном зале, стены которого оказались расписанными всякой глупостью – знаменитости шутили, чирикали шутки на стенах, и их нетрезвую муть обводили затем масляными красками.

– Должна признаться – в моей картотеке два офицера ракетных войск, невропатолог, выдающийся сталевар, еврей и председатель леспромхоза, – донеслось до меня заявление невесты.

Валера ожидал повстречать одинокую и задолбанную собственными комплексами особу, а нарвался на деловую вдову в собственном и чужом соку.

– Я должна задать вам несколько вопросов. Сколько вам лет?

Валера ответил правду.

– Сколько у вас было жен и есть детей?

Валера ответил неправду.

– Вы пьете?

Валера ответил неправду.

Мадам достала анкету, передала моему приятелю и попросила:

– Заполните, пожалуйста, и подпишите. Я проведу анализ полученных данных и сообщу вам результат. А мне еще ехать в другой конец города.

Когда невеста удалилась, мы, подсчитав наличность, решили перейти в зал более высокого ресторанного разряда. Зал был белый. Под белыми стенами столы белели свежими скатертями, салфетками, приборами и водкой в рюмках. Многие ели, пили и курили в белых рубашках. Белые спирали дыма сворачивались в галактики. Но в зале оказалось много и красных… раков. Я никогда не ел раков, и никогда раков не ели при мне!..

Подошел официант.

– В зале обслуживаются только писатели, – произнес он, глядя поверх наших голов.

Валера покраснел, ткнулся рукой во внутренний карман

пиджака и достал красное удостоверение с Лениным.

– Силь ву пле, – одобрил официант, оттаивая лицом.

Что-то мы заказали скромное. Не помню что. Но точно – не раков.

– Ты не понимаешь, как это трудно, как трудно пробиться, – стал жаловаться на жизнь приятель. – Вот, вроде, пробился, все, баста! Но нет, опять дебри вокруг какие-то человеконенавистнические и дети, дети; детей столько, что чувствуешь себя туркменом… Нет, надо накупить презервативов и валить в столицу…

За столом напротив сидели толстые поэты – горный классик Расул Гамзатов и классик равнинный Григорий Поженян. Перед ними громоздились красные груды отломанных клешней, напоминавшие картину Верещагина «Апофеоз войны». Толстых классиков, замерев от свалившегося на нее счастья, слушала румяная девица с косой. Классики устало петушились. Девице принесли блюдо с мороженым – небольшую кремлевскую башенку с мармеладной звездой килограмма на полтора. Девица съела звезду, шпиль, зубцы и стены, не глядя на пломбир, счастливо внимая…

Прозаик Валера говорил мне:

– Скоро придет другая невеста, но я потерял ориентиры. Мне важнее задружиться с нужными ребятами, редакторами прозы из издательства «Рабочая мысль». И они скоро подвалят. Мне надо их накачать.

В белую залу с шумом вошел коренастый человек третьей молодости и с недельной щетиной на вяловатом подбородке. Это оказался Юлиан Семенов, автор нашумевших политических триллеров типа «Семнадцать мгновений весны». Он был облачен в походную форму американских пехотинцев и высокие ботинки на шнуровке, у которых по-клоунски загибались носы. С ним рядом была ослепительная женщина – лицо, зубы, видные половины грудей, платье, драгоценные камни и меховая накидка.

«Воин» выкрикнул классикам приветствие:

– Ха, черти!

И помахал им рукой, в которой алел рак.

А мы с Валерой доели, рассчитались и пошли обратно в более демократическое кафе.

Валера отправился за невестой и редакторами прозы, а я занял место возле колонны. Людей прибыло. Меня привлекла бытовая, чисто столичная сцена. В углу над пустой рюмкой, замотавшись шарфом, как паук паутиной, сидел всклокоченный мужчина без возраста, но с мертвыми глазами на дне высыхающих глазниц. Ему вежливо козырнул появившийся вдруг

сержант милиции и так же вежливо стал заламывать руку, поднимая из-за стола. Почти в обнимку они вышли из зала. Никто из посетителей буфета не высказал ни возмущения, ни одобрения, ни каких-либо иных чувств. Лишь несколько человек раскланялись с выводимым, а он им по-царски махнул свободной рукой.

Я было собрался поразмышлять об увиденном, но тут появился Валера с невестой и уже поддатыми работниками издательства. В невесте оказалось метра два роста, на лице ее холодно переливались голубые глаза, а само лицо слагалось из частей, в общем-то, правильной формы… Ах, что же я кручу, как декадент! Лицо было красиво, и тело пластично передвигалось на длинных ногах…

«Зачем только ей услуги брачных объявлений?» – подумалось сразу.

От редакторов же издательства пахло тормозной жидкостью. Они стали меня целовать в губы и приговаривать:

– Сразу видна петербургская школа!.. Блок, мать! Северянин, мать!

Нацеловавшись и изрядно помяв мое и так довольно помятое путешествием тело, редактора упали в кресла.

– Познакомься, это Катя, – представил Валера очередную невесту.

Мне понравилась ее холодная ладонь, которую я пожал.

А далее началась новая глупость. Валера пробовал завести с Катей беседу, но та молчала. Молчала – и все! Два раза скупо улыбнулась – и все! Один раз дернула себя за мочку красивого уха – и все! Один раз согласно кивнула. «Похоже, с корпунктом дело откладывается», – порадовался я за Катю, поскольку мне было жаль чужой, пусть и безмолвной, красоты для Валериных сугубо карьерных целей. Валера отчаялся и стал бражничать с редакторами издательства. Мне предстояло Катю развлекать.

И я пытался:

– Чего бы вам хотелось, Катя?

Она вдруг взглянула на меня доверчиво, мило так улыбнулась и ответила сокровенное:

– Катя хочет пи-пи…

Через некоторое время в моей литературной жизни случилось событие, которому, по словам приятеля Валеры Сурова, предстояло стать поворотным. Валера посоветовал, и я постарался попасть в сборную Ленинграда по литературе. Мне удалось стать официальным участником очередного Всесоюзного совещания молодых писателей. На Совещании автора данных

строк угораздило попасть в семинар семидесятилетнего писателя Сергея Сартакова, автора толстых романов о революции и социалистическом строительстве. Под его руководством разделали мои рассказы и повести в коровий блин, даже чуть не приняли специальное постановление. В Ленинграде в издательстве «Советский писатель» собирались рассматривать мою книгу. Рукописи грозил карачун. И денег не было на жизнь ни фига.

Писателей поселили в мажорно-комсомольской гостинице «Орленок». Днями и ночами роились проклятые карьеристы, обделывая делишки. Корякские сочинители бегали с мешками вяленой рыбы, хохлы наливали горилку… Я же был никому не нужен. Даже знакомые отворачивались, чувствуя на мне печать литературной смерти. С последними копейками захожу в бар, где в основном бражничали, хотя имелась возможность приобрести пирожок и чай. На последние гроши покупаю стакан сметаны и сажусь среди пьющих карьеристов. Никто со мной не заговаривает, не угощает.

Я окунаю алюминиевую ложку, и она плавно тонет. Машинально зачерпываю со дна и чувствую – что-то попалось. Медленно вытягиваю ложку, поднимаю до уровня глаз. Качественная комсомольская сметана стекает, а в ложке оголяется металлический рубль со знакомым профилем вождя. Публика бара начинает поглядывать с интересом. Не зная, что предпринять, я независимым движением облизываю рубль и кладу в карман.

Через год генсеком стал Горбачев. В издательстве «Советский писатель» мне стали улыбаться и даже дали аванс. С денег улыбался знакомый сметанный профиль. Но об этом позже…

На Всесоюзном совещании молодых писателей я жил в гостиничном номере вместе с юмористом Костей Мелиханом и детским поэтом Сергеем М. Первый без какого-либо юмора, с каменным лицом сидел на телефоне круглые сутки и делал карьеру, а второй приходил к ночи и громко блевал в сортире.

Жизнь и жанр – это не одно и то же.

Повторю, из Ленинграда всегда смотрели в сторону Москвы гордо, но с тайным желанием втереться в какие-нибудь хлебные московские круги. Вот еще сюжет. Случился он спустя несколько лет в момент победы перестройки над разумом…

Из Москвы заказали молодых писателей. По советским меркам, молодые – это когда совсем за тридцать. Мы с популярным теперь автором Сергеем Носовым поехали в компании поэтов и поэтесс. Нас встретили в столице на вокзале, привезли в московский Дом писателей и повели коридорами.

Скоро наша группа оказалась в небольшом зале, набитом возбужденной публикой и телекамерами. Меня в силу роста и командного голоса приняли за руководителя делегации, и низенький человек с огромной головой пригласил сесть рядом. Человека звали Олег Попцов, он возглавлял журнал «Сельская молодежь», но занимался вовсе не сельским хозяйством, радикально выдвигаясь вперед, как Линь Бяо во времена китайской «культурной революции», подготавливая отечественных интеллектуальных хунвейбинов… Оказавшись во главе стола, покрытого правительственным кумачом, я не стушевался, а постарался понять, куда занесло. Полным ходом шла дискуссия под названием «Писатель и общество». Чтобы не скучать в поезде, я взял с собой тонюсенький сборник афоризмов и успел долистать до буквы «К». Когда в свете юпитеров башковито-башковатый Попцов обратился с вопросом: «А что по этому поводу скажут ленинградцы?» – я уверенно и громко ответил:

– Как сказал английский мыслитель Карлейль, «состояние общества можно оценить по тому, как в нем относятся к писателям!»

Попцов-Линь-Бяо радостно подхватил цитату и договорил ее до конца. Выходило, что мы читаем одни и те же книжки. Тут бы и начать делать столичную карьеру – ого-го куда бы я залетел! Однако Сергей Носов застенчиво, но решительно увлек меня в писательский бар-ресторан, описанный в предыдущем сюжете. Из-за горбачевского антиалкогольного указа сухое вино подавали не бутылками, а стаканами. Пришлось нам сразу купить пятьдесят полных стаканов. Больше в буфете посуды не оказалось, и возле нашего столика выстроилась очередь за освободившимися гранеными. Из наших рук получили Вознесенский, Евтушенко и Ахмадулина…

В моем сознании укоренилась рекомендация писателя Валерия Сурова: «В Москве надо запомниться. Лучше всего запоминаются драки. Если набьешь кому физиономию в Доме писателей, то карьера тебе обеспечена». Драться я не люблю. Профессиональный все-таки спортсмен в прошлом. В результате пятидесяти стаканов сухого вина я оказался за столом с влиятельным на тот момент критиком Владимиром Гусевым. Что-то он сказал не так. Я поднял его хрупкое тело, как штангу, и чуть не бросил на пол. Затем детали становятся неотчетливы. Помню, что стоим с критиком в подворотне писательского особняка и писаем…

Если б я влился в колонну, ведомую Попцовым, то, вероятно, сделал бы московскую карьеру на каком-нибудь телеканале.

Затем меня бы, по мере изменения конфигурации власти, выгнали, как это случилось при Ельцине с самим Попцовом. Стал бы я теперь причитать, пеняя на закручивание гаек и выкручивание рук…

В моей биографии Москва, в карьерном смысле, не произошла. Но однажды можно подцепить удачу и на неизвестном полустанке.

Как я уже сказал, рукопись моей первой книги к началу 1985 года находилась на рассмотрении в издательстве. Вокруг дебютных книг вечно выстраивалась интрига. Рукопись отдавалась на рецензию. Если автор получал две положительные рецензии – книгу издательству следовало по закону публиковать. Обычно устраивали так, что одна рецензия писалась положительная, другая – отрицательная. Дальше все – на усмотрение руководства издательства. В первой рецензии на рукопись Рекшана говорилось, что автор постыдно бездарен, что следует ему засунуть свои рассказы и повести в известное место. Повис я, одним словом, над пропастью во ржи. Еще один шаг в заданном направлении и прощай – все! Годы жизни, терзаний, богемного бражничества, честолюбивые помыслы – все зря… Я, конечно, приуныл. А тут, кстати, объявляют «Дни ленинградской литературы в области». И руководитель семинара прозы Евгений Кутузов зовет меня ехать с ним в Тихвин. Еще с нами едут все тот же прозаик Валерий Суров и поэт Владимир Приходько. Это, думаю, начало весны (или поздняя осень) 1985 года. Тихвина я особо-то и не помню. Поселившись в местной гостинице, наша группа провела несколько встреч в тихвинских библиотеках с местной интеллигенцией. Затем эта интеллигенция угощала ленинградских литераторов до беспамятства. Лично я отправлялся в Тихвин с одной целью – улучить момент и объяснить Кутузову всю сложность моего положения и попросить о помощи. Такая возможность представилась на третий день. Мы сидели в люксе Евгения Васильевича, и на мое сообщение Кутузов прокричал:

– У тебя все очень хорошо!

Когда я свое положение уточнил, описав благообретенное социальное дно и невозможность достойно содержать семью, Кутузов прокричал:

– Пойди и укради еду!

Тут я стал во хмелю заводиться на провокации старшего собутыльника и чуть не дал ему в глаз, что, конечно, моего карьерного положения не исправило бы. Но вместо драки Кутузов встал передо мной на колени и стал плакать да извиняться. Поздно вечером ленинградские писатели, шатаясь, отправились

на вокзал и все-таки сели в поезд. Но поезд шел не в Ленинград, а в Котлас. Нам пришлось ехать в Череповец, там мыкаться целый день и вечером садиться уже в правильный поезд, в его довольно вонючую плацкарту. Отчаявшись, я спал на верхней полке. И тут моя судьба резко изменилась.

Когда мы утром хмурые высадились на платформе Московского вокзала, Евгений Кутузов посмотрел на меня другими глазами и спросил:

– Так что там у тебя с рецензией?

Я еще раз описал трагедию.

– Поехали немедленно к Леонарду Ивановичу.

Мы тут же отправились домой к профессору Пушкинского дома Емельянову, и тот моментально и на моих глазах начертал рецензию о том, что Рекшан – это лучший представитель нового поколения литераторов не только города Ленинграда, но и, можно сказать, в мировом масштабе!

…Всю ночь мы ехали в плацкарте. Когда я валялся в забытье на верхней полке, к моим шумным коллегам подошел майор медицинских войск и спросил:

– Простите, вы с Рекшаном?

Поддатые писатели стали говорить, что сейчас меня принесут к столу. Но майор медицинских войск попросил «его – меня» не беспокоить, поставил на вагонный столик бутылку коньяку, попросил выпить за здоровье Рекшана и удалился. Проставленный коньяк изменил конфигурацию мира. Человеку, за которого армия и алкоголь, следовало помочь.

Мой друг-читатель! Жизнь человека полна иллюзий. Москва нам не поможет. Не могла она помочь и в ленинградские времена.

Дело Кинчева и административный арест

Все-таки к этому важному для нашего повествования событию я добрел. После похорон человека по фамилии Черненко весной 1985 года генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза стал моложавый мужчина с родимым пятном на лбу. Почти одновременно с названным событием на улице Рубинштейна прошел очередной фестиваль Ленинградского рок-клуба. Такие, казалось, далекие друг от друга события оказались частью одного процесса.

Почти сразу после восшествия на трон Михаил Горбачев приехал в Ленинград, где поразил местных жителей тем, что гулял по Невскому проспекту и заговаривал с прохожими. Почти одновременно с Горбачевым в наш северный город приехал из первопрестольной Костя Кинчев…

Именно первый раннеперестроечный фестиваль Ленинградского рок-клуба можно назвать по-настоящему ажиотажным событием. Он стал одним из ключевых явлений культурной жизни весны 85-го. Хотя о фестивале практически ничего не появилось в средствах массовой информации, стало ясно, что культурная жизнь Ленинграда куется не в Мариинском театре, а на улице Рубинштейна. Отлично помню эти концерты. Больше всего мне запомнилось выступление обновленной «Алисы». Кинчев появился из-за кулис перед публикой пригожий и артистичный, не похожий на большинство доморощенных рок-артистов, которые не задумывались, в своем большинстве, над сценическим образом и одеждой. Костя еще не начал оголять тело, тогда он вышел в пиджаке. Пел хит того сезона «Я – меломан!» и разбрасывал виниловые пластинки.

Фестивали Ленинградского рок-клуба стали лакмусовой бумажкой перестройки. Если в 85-м фестиваль, хотя и с трудом, но поместился в зал Дома народного творчества, то через год удалось выбраться из улитки рок-клуба и оккупировать большой Дом культуры «Невский», принадлежавший Невскому заводу. ДК красиво расположился на берегу Невы. Тогда это была еще промышленная зона на отшибе, между площадью Александра Невского и рабочей окраиной. «Алиса» с Кинчевым за год успела стать группой культовой, приобретя кучу истовых поклонников. Опять же популярность делалась, в основном, не концертами, которых было мало, а тиражированием магнитофонного альбома, записанного Андреем Тропилло.

У меня в архиве сохранился машинописный отчет о том фестивале. Кто автор – не знаю, страницы не подписаны. Называется текст «Рок круглые сутки». Восьмидесятые годы выдвинули не только прекрасных певцов и гитарюг, но и создали так называемую инфраструктуру русской рок-музыки. В первую очередь, журналистов самиздата. В Ленинграде выходили лучшие в стране машинописные журналы. В первую очередь назову «Рокси». На его страницах прекрасно проявили себя такие мастера жанра, как Старцев, Гуницкий и Леонов. Оформился и стиль ленинградских музыковедов, свободный от кондовой топорности официальной прессы. Самиздат блистал остроумием и точностью аналитических оценок. Первоначальные копии многократно перепечатывались и растекались по Советскому Союзу. Чуть позднее наш нынешний энциклопедист Андрей Бурлака организовал информационный журнал «РИО». Безымянная цитата, которую я сейчас приведу, наверняка где-то в самиздате публиковалась. Самое интересное, что автор не местный, а уральский парень. Но стиль чисто ленинградский, питерский. Вот что он написал про выступление «Алисы»: «29 мая 1986 года. ДК „Невский“… „Алису“ в Ленинграде любят. Их выступление на прошлогоднем фестивале стало приятной сенсацией. Выпущенный следом альбом „Энергия“ способствовал закреплению их начавшейся популярности. Стали поговаривать о том, что у „Аквариума“ появился достойный конкурент… Начало их выступления было завораживающим: Кинчев неожиданно возник на сцене со стороны зала. Светооператор направил прожектор на его хрупкую фигуру в обтягивающих черных джинсах и безрукавке того же тона… Константин очень пластичен, его движения добавляют к исполняемому материалу магическое очарование. В тексте песни речь шла о кипящих котлах, ртути, что еще более создавало впечатление колдовского заклинания: „Я начинаю путь!“… Увы, откровения так и не получилось. Более того, от номера к номеру программа „Алисы“ становилась менее и менее интересной. Зал был в восторге… Движения и жесты солиста удручающе однообразны: поклонник Билли Айдола показал все, чему научился. Слава Задерий тоже откровенно пережимал, переходя на истерический крик отчаявшегося от обид подростка…»

Популярность «Алисы» набирала обороты, Костя все более оголялся на сцене, и через год за такие высказывания уже можно было получить по лицу.

Играл и я в ДК «Невский». Там много интересного произошло, но в данной главе мы, в основном, сконцентрируем свое внимание на пресловутом деле Кинчева.

В 1987 году перестроечные новации дали возможность одному моему знакомому, Валерию Агафонову, создать во Всеволожске некий хозрасчетный центр. По какому юридическому принципу он создавался в недрах развитого социализма, теперь уже и не вспомнить, но туда были приняты на официальную работу многие из самых популярных. Помню счастливого Майка Науменко, показывавшего трудовую книжку с записью «музыкант». Центр проводил концерты, и музыканты получали зарплату. Однажды Никита Зайцев, выдающийся скрипач и гитарист, затащил меня в этот Всеволожск, находящийся в двадцати минутах езды от Ленинграда. Возле неказистого здания выстроилась очередь метров на пятьдесят. Это ведущие рокеры Северной столицы приехали за зарплатой.

Валерий Агафонов в сентябре 87-го провел во Дворце спорта «Юбилейный» трехдневные концерты групп Ленинградского рок-клуба, а в ноябре, по горячим следам, там же состоялся концерт «Алисы», ставший поворотным в истории этого ансамбля.

Бедолага журналист Виктор Кокосов в газете «Смена» 22 ноября 1987 года опубликовал статью под названием «„Алиса“ с косой челкой». Начиналась она так: «„Хайль Гитлер… на том берегу!“ – прокричал в микрофон солист группы „Алиса“ Константин Кинчев. Часть зала застыла в недоумении: уж не ослышались ли? Другая часть – перед эстрадой – казалось, ничего не заметила и продолжала раскачиваться из стороны в сторону. В такт музыке…»

Глядя из буржуазного сегодня в те ленинградские дни, зная, какие идеологические пируэты под лозунгом «православие или смерть» выделывает Константин, можно было бы осуждающе покачать головой, но на Кинчева тогда завели реальное уголовное дело. Разгоревшейся звезде русского рока хотелось ездить по городам и весям, а приходилось исполнять подписку о невыезде и ходить на допросы. Но и милицейская власть на фоне разъедающей сознание горбачевской демократизации и гласности вляпалась в историю, из которой скоро уже и не знала, как выпутаться.

Сказать, что в Ленинграде началась массовая истерия – значит мало что сказать. Оголтелые почитатели Константина, бюрократия рок-клуба бросились защищать своего любимца и гордость, утверждая, будто бы Костю оговаривают. Власть же, используя старые и уже плохо работающие приемчики, привлекла разных эстрадных артистов для того, чтобы добить Кинчева и его банду. Та же «Смена» опубликовала еще статью – в ней появилось возмущенное письмо за подписью официальных знаменитостей, из которых мне запомнилась только Эдита Пьеха. Директор

Ленконцерта заявлял, что не станет сотрудничать с группой Кинчева. Дали в газете выступить и самому Косте. Вот что он заявил: «Один из музыкантов нашей группы Павел Кондратенко – член партии. Мой сценический псевдоним – не случаен. Кинчев – фамилия моего родного деда, болгарина, профессионального революционера, который вынужден был покинуть родную страну и уехать в СССР, когда в 30-е годы фашизм пришел к власти…»

Истина исторического знания почти всегда посредине крайних мнений. В яростной борьбе, когда отстаиваются противоположные точки зрения, мы правды о своей истории не улучшим. Вспомните хотя бы недавние теледискуссии по вопросам отечественной истории, когда ораторам, Кургиняну и Сванидзе, только АКМов в руках не хватало для пущей аргументации своих заявлений.

Через некоторое время после эксцесса Агафонова подкараулили возле дома и сильно побили. Валера утверждал, что это была переодетая милиция.

Вот вам некоторые дополнения к делу Кинчева из сообщения организатора концерта Валерия Агафонова. «Накануне концерта я сказал Кинчеву, что ко мне приходил полковник Резинкин… Человек с такой фамилией управлял милицией во Дворце спорта и грозил нас всех растоптать. Ты, Костя, держи себя в руках и музыкантам своим скажи. А после мы на милицию всю свободную прессу спустим… Но перед концертом Костя явился поддатый. Кто-то из его приятелей пришел и сказал: „Там жена твоя на служебном“. Костя только отмахнулся: „Да пошли все далеко!“ „Нет, давай проведем ее“, – сказал я. Мы спустились к служебному входу Дворца спорта „Юбилейный“. Там – толпа! А жена у Кинчева беременная, с животом. Костя стал заводиться с милиционерами, которые толпу сдерживали. Тут нас и повязали. Затолкали в милицейского „козла“. Представляешь! Главного артиста и его директора свинчивают перед началом концерта. Толпа машину окружила. Я говорю лейтенанту, который сидел рядом с водителем: „Офицер! Сейчас вас на части порвут“. Лейтенант понял и нас с Костей отпустил. Костя завелся окончательно. И не сдержался. Что он там кричал, я не знаю. Мог кричать все, что угодно…»

С журналистом Кокосовым позднее я случайно познакомился в баре Дома журналистов. Журналист пожаловался, что фанаты вычислили его адрес, подожгли дверь квартиры и до смерти напугали старушку мать. «Алиса» же, как гонимый ансамбль, моментально стала самой популярной на тот момент в стране. Уголовное дело мурыжили долго. Затем его решили закрыть, и в рок-клубе на Рубинштейна прошла выездная сессия суда. Костю

передали рок-клубу на поруки. Я там присутствовал. Помню женщину-судью: по ее благостным речам чувствовалось, что и власть хочет поскорее от Кости отвязаться.

Но и Кинчев некоторым образом пострадал. Как поведал мне его тогдашний директор Алик Тимошенко, их с Кинчевым тоже вычислили, задержали слегка нетрезвых и быстро оформили административный арест на пятнадцать суток… Теперь Тимошенко – директор «ДДТ».

Тут мы несколько отвлечемся от искусства и вспомним приснопамятный Указ о борьбе с алкоголизмом от 1985 года. О нем написано много. Я бы хотел прояснить одну деталь. Человека, выпившего легальный напиток, продававшийся в официальных магазинах, могли элементарно задержать и, при желании, по решению административной комиссии моментального суда лишить свободы. Ненадолго, но все-таки. Почти одновременно с Кинчевым и Тимошенко и я попался.

В начале 1987 года у меня в издательстве «Советский писатель» вышла книга прозы «Третий закон Ньютона». Денег я получил невероятное количество. Радость была запредельная. Я всех угощал и сам угощался. По дороге в уже названный выше Дом журналистов я увидел одного знакомого гитариста, входившего в развеселый кабак «Застолье». Имелось такое забубенное место на Невском проспекте. Я решил музыканта догнать и поболтать с ним, но меня в дверях ресторана тормознули. Я достал пятирублевую купюру и предложил ее за разрешение пройти. Обычно процедура стоила рубль. Дверь открыли, и поддатый хулиган пнул писателя. В состоянии литературной эйфории я японским ударом ноги вышиб хулигана вместе с дверью этого нефешенебельного ресторана, а заодно отмахнулся от набежавшего сзади. Набежавший оказался нетрезвым, но милиционером из компании вышибленного хулигана, и дело закончилось отделением, где всякий мент всегда прав. Но меня почему-то отпустили, выписав повестку на эту самую административную комиссию.

Тогдашняя моя жена ходила беременная (две беременные в одном рассказе – это не перебор?) с круглым животом и ничего не знала. Тогда же я первый раз в жизни получил халявную путевку в Дом творчества Комарово, куда и отправился на две недели с позволения беременной жены. Считалось, что после родов мне будет сложно творить, и следовало воспользоваться представившейся возможностью. Один знакомый опер, специалист по расчлененным трупам, поэт Валера Гаврилов обещал отмазать. Он куда-то позвонил, а затем мы встретились. Гаврилов пообещал мне буквально следующее: «Все, коллега,

окей и вери гуд! Тут проблем никаких, я договорился в твою пользу. Придешь, получишь небольшой штраф, ерунда, а не проблема…»

Устроившись в номере Дома творчества, я успел разложить на письменном столе чистые листы бумаги, карандаши и авторучку, прогуляться по разыгравшейся весне и подышать хвойным сырым воздухом курортного вечера. Успел переночевать и проснуться, надеть костюм, рубашку, галстук и респектабельный плащ. Успел доехать на электричке до города, а затем на метро – до нужной остановки. Вот и все, что удалось…

Офицер порылся в стопке бумаг, достал паспорт с приколотыми к нему листками, пробежал взглядом протокол, взглянул на меня уже осмысленно, как бы узнавая, узаконивая на мне производственный ярлык, и сказал вдруг мягко и почти по-родственному:

– Подождите в комнате. Посидите. Скоро поедем.

В комнате находился еще мужчина – кашляющий, хмурый верзила с бугристым, красным лицом.

Скоро действительно поехали. О будущем я не имел ни малейшего представления. На милицейском «козле» довезли до районного ГУВД – просторного здания, окруженного сквером. Меня вдруг охватил неожиданно панический стыд – не дай бог нарваться на знакомых! Но народ спешил мимо, не глядя по сторонам.

Прошли в квадратную комнату с рядами фанерных кресел и решетками на окнах. В комнате сидело несколько карикатурных харь, серо-буро-малиновых. Из рамы на административных нарушителей смотрел Феликс Эдмундович, думая – как, мол, измельчала контрреволюция. Розовощекий сержант стоял в дверях и вовсе не походил на охрану, но это уже начиналась несвобода. Скрипнув на повороте ботинками, в комнату почти вбежал коренастый мужчина с залысинами над морщинистым лбом и в мятом, плохо сидящем костюме. Взглядом он словно сфотографировал присутствующих. Стало понятно, что это судья. Он бросил на стол потертый кейс, щелкнул замками, сел за стол, став еще меньше. Сержант положил перед судьей стопку паспортов и протоколов. Судья брезгливо порылся в стопке, взял один из паспортов, протокол и произнес:

– Рекшан. Владимир Ольгердович.

Я встал, не зная, как должно вести себя.

Судья пробежал глазами протокол, перевел взгляд на меня, оценивая рост, галстук и плащ.

– Кем работаешь? – спросил он.

– Что? – Я не понял вопроса.

– Кем работаешь?

Я по-идиотски улыбнулся, мгновенно осознав глупость улыбки и глупость гвардейского роста в этой комнате.

– Кем работаешь? – еще раз спросил судья и поморщился.

– Писателем, – ответил я, стараясь напомнить правосудию о предупредительном звонке опера Гаврилова.

Судья замер. Он расценил, кажется, слово «писатель» как издевку. Он молчал бесконечные три секунды, потом впечатал ладонь в стопку протоколов и сказал, как отрубил:

– Пятнадцать суток…

Следующие две недели вместо Дома творчества я провел на кошмарных говноочистительных работах, где первые дни, кутаясь в респектабельный плащ, черпаком на длинной ручке выковыривал гнилую жижу из подземной трубы мыловаренного завода. Потом удалось позвонить, и брат принес ватник. Потом жена с животом встречала меня возле ворот административной тюрьмы на улице Каляева. Предродовое лицо, словно манная каша. И авоська в руке с батонами…

С работы везли в тюрягу часов в пять. К этому времени обычно подтягивался народ в ресторан Дома писателей на Шпалерной в трех сотнях метрах от тюряги. Несколько раз мне приходилось прятаться – автобус останавливался на красный свет и проходившие знакомые могли увидеть. Тут уже речь шла не о стыде. Мы с беременной женой жили в комнате девять метров в окружении злых соседей. Предполагался ребенок и все ужасы скученной жизни. Мне следовало вступить в Союз писателей и, поскольку мы стояли на городской очереди, вскоре получить жилье. Молодым читателям, конечно, не понять, как это – получить жилье. Ну, была такая возможность при социализме, получать жилье даром. Я написал заявление, получил рекомендации от двух членов Союза писателей. Моему заявлению дали ход. Пока я сидел на «сутках», его рассматривали, приняв положительное решение, в двух инстанциях. Предстояло пройти еще две. Если бы узнали про арест, то не видать мне квартиры, как Мэрилин Монро.

Вышел я на свободу посвежевшим от физической работы, знающим, как проносить в камеру сигареты и где прятать хлеб, спавшим на «вертолете», вкусившим «хряпа» и «могилы». Судья дал мне вышку. А дал он мне ее за гордую осанку, «писателя» и потому, что гад-Гаврилов позвонил куда-то не туда. Жена родила в срок сына, который теперь уже вполне взрослый мужчина.

Пока падал социализм, я успел получить двухкомнатную квартиру на Московском проспекте. Теперь бы за нее пришлось платить два мешка денег. Если б вышла заминка с приемом

документов, то… Лучше не задумываться.

Интересная деталь. Милиция продавала задержанных разным предприятиям по два рубля и пятьдесят копеек в день, занимаясь фактически работорговлей. Но рабский труд, как известно, неэффективен.

Большие советские деньги, «Скорпионы» и Юрий Шевчук

Хотя я и рассказываю в основном бытовые коллизии из собственной жизни, но все равно работа получается историческая, в определенной степени воссоздающая советскую жизнь Ленинграда…

Антиалкогольный указ Горбачева создал досуговые неудобства, но по сути был правильным. Человек с уже сформировавшейся химическо-психологической зависимостью от алкоголя всегда найдет способ выпить. А молодежь, выпивающая иногда под воздействием сложившегося поведенческого стереотипа старших, изголяться, дабы найти вино или водку, не станет. Ясное дело, ликеро-водочным дефицитом воспользовались люди, склонные к незаконной экономической деятельности. Расцвели пышным цветом так называемые «пьяные углы» – там из-под полы продавали алкоголь в любое время дня и ночи. Я жил тогда на Гражданской улице неподалеку от дома старухи-процентщицы из романа Достоевского и знал одно такое место под названием Фонари. В районе Фонарного переулка, наискосок от знаменитых бань, вечно роились «синяки». «Синяками» называли опустившихся алкоголиков обоего пола. Они поджидали страждущего и выступали посредниками. За посредничество алкоголики, видимо, имели долю алкоголем. Через «синяков» бутылки покупались со стопроцентной наценкой.

Рассказывая в прошлой главе о вышедшей книге, большом гонораре и тюрьме, я несколько поспешил. Мучительное книжное дело имело массу нюансов. Проявился в нем и антиалкогольный указ.

Вскоре после вступления его в силу мне позвонил редактор издательства «Советский писатель», в котором у меня медленно и верно готовилась к печати дебютная книга прозы, и произнес зловещую фразу:

– Все очень плохо.

Сердце запрыгало как мячик.

Редактор выдержал паузу и добавил:

– Следует из книги убрать упоминания алкогольных напитков.

– Но ведь я нигде не смакую пьянство. Алкоголь лишь иногда возникает, как неизменная часть социалистического реализма.

– Все равно. Приказано убрать.

Пришлось убирать. А один из рассказов оказался безнадежно

испорчен. В нем действует сирота, наткнувшийся на кладбищенскую могилу со своей фамилией. Сирота придумывает себе деда в могиле, его героическую биографию. Он начинает ухаживать за могилой, приводить приятелей. Они, естественно, на кладбище выпивают. Не пьянствуют, а именно выпивают-поминают. Пьют они вино. Я пытался с редактором торговаться. Понижал градус, предлагая заменить вино пивом. Но номер не прошел, и в конечной редакции персонажи пили чай. «Ну что – еще по чуть-чуть?» – спрашивает герой рассказа и наливает из термоса чай.

Но вот и приятная процедура – нужно сфотографироваться для книги. Лютая зима 86-го. Хожу по Невскому и позирую фотографу. На мосту через канал Грибоедова меня устанавливают возле гранитного парапета. На голове вязаная шапочка из верблюжьей шерсти. Шапочку подарила новая жена. Чтобы выглядеть мужественнее, снимаю ее и кладу на парапет. Делаю шаг навстречу фотографу. Щелкает затвор – готово! Оборачиваюсь – шапочку ствиздили! Так состоялась первая встреча с читателями. Через полгода книга повестей и рассказов «Третий закон Ньютона» появилась в магазинах. Есть в ней и та памятная фотография. Больше мне вязаных шапочек никто не дарил.

И еще: в книжном коллекторе почему-то подумали, что Рекшан – это узбек. Большая часть тиража уехала в Узбекистан. Такая вот хохма, а не литература.

А теперь немного про деньги. Из них тоже складывалось счастье ленинградского писателя. Как известно, сейчас литературные гонорары сошли почти на нет. За исключением некоторых московских коммерческих авторов, мелькающих в телевизоре, производителей женских романов и популярных фэнтези, никто из достойных авторов прожить на литературный заработок не в состоянии. А вот как было дело в прежние ленинградские времена, которыми я успел воспользоваться.

Сумма гонорара зависела от объема произведения и тиража издаваемой книги. По договору с издательством авторский лист моей первой книги оценивался в двести пятьдесят рублей. Авторский лист равен сорока тысячам знаков, где-то двадцать четыре машинописные страницы. Объем той книги под названием «Третий закон Ньютона» составлял где-то восемнадцать авторских листов. Но это не все. Одним тиражом считались пятнадцать тысяч копий. А мне поставили тираж тридцать тысяч. В таком случае первоначальная сумма увеличивалась еще на шестьдесят процентов. Одним словом, начинающий автор Владимир Рекшан в два приема – аванс и окончательный расчет – отхватил пять с

половиной тысяч крепких советских рублей. На такие деньги можно было жить два года!

С падением социализма финансовый рай закончился, но хотя бы есть что вспомнить.

Кстати, поэтам платили построчно. Строчка могла стоить и рубль. И два с полтиной…

О том, как развивалась горбачевская перестройка политически, я вспоминать не стану. Об этом легко найти информацию в Интернете. Генеральный секретарь произносил правильные слова. Страна постепенно наэлектризовывалась. Проходили партконференции – на них боролись силы тьмы и света. Журнал «Огонек» начал разоблачать Сталина в пользу Ленина, а после добрался и до Владимира Ильича. «Огонек» провел как бы репрессии наоборот. Развенчивая одного исторического персонажа за другим, тогдашняя газетно-журнальная публицистика выбивала подпорки под исторической моралью Советского Союза. Без морали советская империя рухнула…

Но бог с ней, с моей литературой. Самый мощный звон в общественном движении масс задавала русская рок-музыка. И Ленинград тут занимал первое место.

Где-то в июне 1986 года банда «Санкт-Петербург» собралась сыграть в Шушарах. Это такой сельскохозяйственный поселок рядом с Петербургом. Мы приехали в местный зал и стали пробовать аппаратуру. Сразу после нас должен был выйти на сцену набирающий популярность «Аукцыон». Хотя основную музыку новой группы делал скромный Леня Федоров, в первую очередь всем запоминался долговязый Олег Гаркуша с набриолиненными височками, в коротковатых брюках, из-под которых белели носки. Он запоминался сразу и навсегда. Тогда в «Аукцыоне» еще пел Сергей Рогожин, в будущем известный исполнитель романсов и эстрадных песен. Перед настройкой тогдашний гитарист «Санкт-Петербурга» Сергей Болотников сказал:

– Из Уфы Юра Шевчук приехал. Можно он у нас в гримерке посидит?

Про Шевчука я не слышал, но как человек добрый ответил:

– Конечно. Пусть заходит.

Попробовав звук, пошли в гримерку. Там в углу сидел молодой мужчина в очках и с бородой.

Николай Иванович Корзинин, классический ленинградский барабанщик с лицом познавшего жизнь Александра Блока, тут же произнес:

– Почему посторонние в комнате?

Юра испуганно заулыбался. Я Колю осадил, и мы с Шевчуком познакомились. Затем я как-то оказался в компании, где Юра пел. Это было неожиданно здорово, пронзительно и свежо. Юру сопровождал его тогдашний покровитель Гена Зайцев, старый ленинградский рокер. Он помог Шевчуку найти в Ленинграде музыкантов для реинкарнации группы «ДДТ» на невских берегах. Попал в «ДДТ» и наш гитарист и скрипач Никита Зайцев. Только мы с Никитой сыграли супер-концерт в ДК железнодорожников, своеобразный камбэк, как его Шевчук к рукам прибрал. Энергия и талант провинциала завораживали. Музыканты соглашались с ним играть сразу же. Перестроечная ленинградская рок-музыка набирала всесоюзные обороты. В начале нового рок-клубовского сезона объявили концерт «ДДТ» на улице Рубинштейна. Я лично всех призывал идти, расхваливая Шевчука.

– Поет, как Род Стюарт! – нашел сомнительное сравнение.

А Гена Зайцев договаривал:

– Лучше Рода Стюарта.

Когда Юра запел «… Я церковь без креста…» – зал замер.

«ДДТ» убила всех наповал, практически сразу став первой группой города.

Дальнейшая история «ДДТ» хорошо известна. Но интересна вот какая бытовуха…

Прошли годы. Юра стал тем, кем стал. А похожий на Блока Николай Иванович Корзинин постепенно потерял позиции. Я его приглашал на записи, вытягивал на концерты, но годы, так сказать, брали свое. В 2000-м покинул нас Никита Зайцев. Через год отмечали годовщину печального события, собравшись днем на Охтинском кладбище.

– Владимир, – говорит мне вдова. – Принеси гитарку. Ведь вечером на студии «ДДТ» собираемся. Споем. Никитку еще раз вспомним.

– Да как-то… – Я кошусь на Шевчука, вспоминая пословицу-поговорку про то, как не стоит ехать в Тулу с самоваром. – Ну да ладно, – соглашаюсь, – мы же по-свойски. Без понтов. Не в телевизоре чай. А просто так можно и попеть.

Но просто так не получается. Я приволакиваю из машины гитару и достаю из чехла. Товарищ Юра сажает по правую руку во главе угла, то есть стола. Дюжина народу всего и тринадцатым Николай Иванович сидит, нахохлившись чуть в сторонке. Тайная явная вечеря. Я что-то такое пою басом и баритоном.

Юра сокрушенно кивает – да, мол, так вот и проходит наша жизнь. Но руку на гриф кладет ненавязчиво. Гитару у меня изымает. Начинает петь по-домашнему. Как умеет – круто, душевно, страстно, и тихо и громко, разные новые, похожие на

старые песни. Только это неважно, все равно каждый поет одну и ту же песню. Главное, чтобы она, первая, была хороша.

– Эх, что-то коньяк закончился!

Не успевает Юра закончить фразу, как кто-то стремительно вылетает в форточку и мгновенно возвращается обратно с армянским.

Время идет. Песни льются. Меня уже одолевают беспокойства – не расфигачит ли прославленный артист инструмент?

Наконец, Шевчук останавливается, разглядывает сидящих у стола и спрашивает:

– Может быть, уже хватит?

– Не-не-не! – машут руками собравшиеся.

Затем в паузе раздается грозная фраза сидящего чуть поодаль Николая Ивановича:

– Да уж надоело нах!

Юра сокрушенно мотает головой и испуганно смотрит на Колю.

В пространстве поминок происходят некоторые шевеления, и через пару минут под окнами останавливается такси. Николая Ивановича с поклонами и знаками почтения служащие рок-группы выводят под руки и транспортируют домой.

Еще через год собираемся вспоминать Никиту. Все те же и там же. Немного изменилась конфигурация стола. Под конец остаемся втроем – Шевчук, Корзинин и я. Юра врубает магнитофон и спрашивает:

– Вот записали концерт. Что скажете?

«ДДТ» в динамиках играло свою музыку.

– Ну? – Юра спрашивает меня, и я что-то невнятно говорю. Что я могу сказать! Не музыковед же. Музыка как музыка, дэдэтэшная, хорошая.

Юра врубает снова. Через какое-то время останавливает запись и, несколько робея, обращается к Николаю Ивановичу:

– А твое мнение? – в вопросе слышится настороженность.

Корзинин делает суровое лицо и отвечает, как расстреливает:

– Музыки нет ни хрена.

– А-а! – взвивается Юра. – Я же им говорил! Этим музыкантам! Надо придумывать, изобретать! А они!..

В этой были нет морали. Это просто парадокс. Взгляд на историю специфичен, а оценки человеческих деяний всегда условны.

Первый перестроечный фестиваль Ленинградского рок-клуба стал последним в тесном зале на улице Рубинштейна, 13. Летом 1986 года на рабочей окраине в ДК «Невский» уже прошла

общегородская вакханалия, на которой впервые отличился «Телевизор», еще через год рок-параличом Пятого фестиваля оказалась охвачена большая часть Петроградской стороны. Там и «Кино», и «Аквариум», и Башлачёв играли. Через год фестиваль прошел на Зимнем стадионе в самом центре города. Испугавшись собственной смелости, власть решила его запретить, ссылаясь на что-то противопожарное. Но Михаил Борзыкин поднял знамя борьбы против партократов. Под это знамя самоорганизовалась толпа и колонной пошла на Смольный. Партократы испугались и фестиваль разрешили. Думаю, это была наивысшая точка социальной истории ленинградской рок-музыки.

Сжатое советским застоем пространство стало раздвигаться. Мира стало больше. Вот еще одна правда из 1987 года…

Стоят в арке на улице Рубинштейна Джордж Гуницкий и Коля Михайлов, председатель рок-клуба.

– В чем дело, коллеги? – спрашиваю.

– Давай, ты тоже пригодишься. Сейчас «Скорпионы» приедут.

Для тех, кто не в курсе, скажу – так называлась популярная тогда западногерманская рок-группа.

Стоим. Ждем. Тайна офигенная. И вот от Пяти углов едут две тачки с затемненными стеклами. Теперь так бандиты ездят, а при Горбачеве это еще казалось диковинкой. Во дворе из тачек выходят огромные мулаты с рациями. За мулатами вываливает певун Клаус Майне, невысокий господин в кепочке, и другие музыканты с этакими русскими стерлядями. Один из мулатов приказывает мне:

– Ты тут пока машины посторожи.

Он меня, похоже, за охранника Гуницкого принял. Я послал мулата подальше, и он согласился. Тут и камера появилась, началась съемка. Мы поднялись по заплеванной лестнице на второй этаж. Народу, несмотря на тайну, набилось много. Мулат опять говорит мне:

– Скажи, чтобы все вышли.

– Да иди ты!

«Скорпионов» стали снимать в комнате рок-клуба. Те хлопали Гуницкого и Михайлова по плечам и спинам. Затем все спустились в зальчик. Сцена там метра четыре квадратных. Металлюги в зальчике вопят, крестами машут и пьют пиво. Тут опять охранник ко мне протискивается и говорит:

– Скажи, чтобы бутылки убрали.

Опять послал мулата, но он за бутылками в зал не сунулся. Гуницкий и Михайлов хотели со «Скорпионами» дружить, но те, сняв бесплатную массовку, сели в бандитские тачки и уехали. Мулат на прощанье еще что-то хотел сказать.

– Да пошел ты! – заорал я. – Бул шит! Фак офф! Мерд!

Но он не пошел, а поехал.

Гуницкий и Михайлов кричали вдогонку «Скорпионам»:

– Чтоб вы, гады, больше к нам не приезжали!

И в самом деле, «Скорпионы» больше в рок-клубе не появлялись.

Мир менялся. Перестройка многих сделала состоятельными «звездами». Улетели ввысь БГ, Шевчук, Кинчев, Курёхин, Цой. Когда в начале 90-х начался откат, то остались именно те, кого высоко забросило при Горбачеве.

Появилась и у меня возможность отличиться – я шанса не упустил.

Про рок-музыку писали все кому не лень, да и те, кому лень, – тоже. Вот, мол, появились парни с гитарами, они такие-сякие и замечательные, они наша совесть, не было такого никогда. А теперь есть…

Но ведь этот музыкальный жанр уже так давно укоренился в Ленинграде. Почти двадцать лет как бьются наши в электрические гитары. Короче, меня понесло. Я безостановочно записывал то, что помнил…

Тогда я снимал квартирку с круглой печкой в Ораниенбауме. Это пригород с дворцами. Знакомый литератор Николай Шадрунов там жил и топил углем на пирсе некое полувоенное строение. После газовой котельной на улице Герцена эта работа выглядела социальным падением. Но мне нужно было место, чтобы уединиться для воспоминаний. В итоге я написал художественно-документальный текст под названием «Кайф».

«Сарай» и город Бари

Читательский ажиотаж второй половины 80-х годов не с чем сравнить. Газетные тиражи били все мыслимые рекорды. Цифра в миллион экземпляров считалась заурядной. И толстые журналы шли нарасхват. Редакция ленинградской «Невы» располагалась в самом начале Невского проспекта. Это были роскошные залы на втором этаже с высоченными потолками, с зеркалами, с императорской лестницей. Через некоторое время после победы капитала над трудящимися помещение у журнала отобрали и переселили в тесные каморки…

В этой книге я вспоминаю эпоху, когда Ленинград был в два раза больше нынешнего Санкт-Петербурга. Замки на дворовых воротах и парадных дверях отсутствовали. Потенциально житель мог освоить гораздо большее пространство города, чем сейчас. Постсоветская публика, понятное дело, более склонна к хищению личного и общественного имущества, и против нее следует ставить запоры. Вот и двери редакции «Невы» в советские времена не закрывались. Несколько раз, заходя в редакцию, я видел цыган, продававших за стеклянными дверьми парадного подъезда пыжиковые шапки. Они заманивали туда прохожих провинциалов. Одно время у сотрудников редакции стали пропадать носильные вещи. Во время общего собрания в кабинете у главного редактора кто-то заходил и крал шляпы, или кепки, или уличные ботинки, или шарфы. Редакторы «Невы» предполагали, что это мстительное дело рук обиженных авторов.

Осенью 87-го главный редактор журнала Борис Николаевич Никольский прочитал рукопись моего художественно-документального романа «Кайф», пригласил на встречу, пожал руку и сказал:

– Мы ваш «Кайф» напечатаем!

Никольский – писатель сугубо советский, из отставных офицеров. Но у него хватило литературного чутья: он сумел понять актуальный пафос текста про советских рокеров.

В марте 88-го «Кайф» был опубликован тиражом в полмиллиона экземпляров и радостно принят читателями. Это был фактически первый большой и драматический текст о советских хиппарях и рокерах, о поколении Вудстока, о Ленинградском рок-клубе, о первых культовых покойниках.

Автор данного мемория опубликовал в итоге более двадцати книг, исполненных в разных литературных жанрах. Куда бы я ни приехал, везде найдется читатель. Но, как правило, все читали только «Кайф».

Успех публикации в «Неве» несколько вскружил голову, но не очень: опыт спортивной и музыкальной популярности сформировал знание о ее неустойчивости. При застойном социализме так называемые социальные лифты работали почти так же плохо, как и сейчас. Но в конце 80-х, когда рушились старые устои, можно было взлететь моментально. Вот, например, стремительно взошла звезда Геннадия Григорьева. В одной из главок я уже цитировал этого прирожденного поэта. Был он человеком восторженным, выпивающим, многие к нему относились несерьезно. Но он обладал ярким талантом – именно этим интересна литература, а не важностью поз и внушительностью титулов. Вот стихотворение-бестселлер Григорьева.

Сарай

Ах, какие были славные разборки:
во дворе под бабий визг и песий лай,
будоража наши сонные задворки,
дядя Миша перестраивал сарай.
Он по лесенке, по лесенке – все выше…
А в глазах такая вера и порыв!
С изумленьем обсуждали дядю Мишу
зазаборные усадьбы и дворы.
«Перестрою!» – он сказал. И перестроит.
Дядя Миша не бросал на ветер слов.
Слой за слоем отдирал он рубероид —
что-то около семидесяти слоев.
Он прямым и задушевным разговором
завоевывал дворовую толпу,
подковыривая гвозди гвоздодером,
поддевая монтировкою скобу.
Сверху вниз летели гайки, шпингалеты…
Как бы дядя Миша сам не рухнул вниз!
Снизу вверх летели разные советы…
В общем, цвел кругом махровый плюрализм.
Во дворе у нас, на полном на серьезе,
дядя Миша перестраивал сарай.
Дядя Боря, разойдясь, пригнал бульдозер.
Дед Егор ему как рявкнет: «Не замай!»
Дело сложное, к чему такие гонки?
И не каждому такое по уму…
Мы с Витьком глушили водку чуть в сторонке,
с интересом наблюдая, что к чему.
Вдруг стропила как пошли, просели – эх, мать!
Неужели план работ не разъяснен?
«Дядя Миша! Ты позволь, мы эту рухлядь
в четверть часа топорами разнесем!
Эй, ребята, кто ловчей и с топорами,
разомнемся, пощекочем монолит!»
Дядя Миша говорит: «Не трожь фундамент,
он еще четыре века простоит».
Мы б снесли все до основ, как говорится.
И построили бы сауну… сераль…
На худой конец, хотя бы психбольницу.
Дядя Миша перестраивал сарай…

Мы с дружком сидим по-тихому, бухаем…
В этом ихнем деле наше дело – край.
Все равно сарай останется сараем,
как он там ни перестраивай сарай.

Когда товарищ появлялся в обществе, начинались вскрики, требования стиха про сарай. Геннадий читал. И несколько лет катался как сыр в масле. Однажды после очередного карнавала в ресторане Дома писателей группа товарищей, возглавляемая Геннадием, преодолев вялое сопротивление дежурного, поднялась в кабинет секретаря правления А. Чепурова. На стене висел портрет генсека М. Горбачева. Литераторы, возмущенные проделками премьера Павлова с денежными купюрами, прилепили ко лбу перестройщика пятидесятирублевую бумажку и вонзили вилку. Еще два-три года назад такое представить было невозможно. Советский Союз катился в пропасть, а всем нам казалось, будто мы поднимаемся в какие-то перламутровые сферы.

Во время захвата кабинета руководителя Геннадий громко спрашивал подельников: «А где Рекшан? Почему с нами нет Рекшана?» Естественно, когда на следующий день ответственным лицам докладывали о происшествии, моя фамилия оказалась названной первой. Совет Дома писателей принял решение запретить участникам проникновения посещение писательского ресторана на полгода. Решение повесили на доску объявлений. Увидев его, я возмутился, написал свое и повесил рядом. Своим решением в ответ на несправедливость я запрещал посещение ресторана членам Совета дома. Туда входили седовласые члены Союза писателей и партократы местного разлива. Прожив десятилетия при строгом советском партикуляризме, они такого не ожидали и, кажется, испугались ответных репрессий.

В канун восхождения Михаила Горбачева на трон мне посчастливилось пообщаться с писателем Виктором Конецким. Этот блистательный остроумец зашел в комнату, где проходил прозаический семинар Евгения Кутузова. Обсуждали рукопись моей книги – дело ответственное. Виктор Викторович, видимо, никого не встретил в ресторане и теперь бродил по дому в поисках собутыльника. Короче, он произнес монолог о судьбе литератора, его тяготах, трепетности, упорстве, честности, пронзительности, о всякой прочей чуши, которую слушать не хотелось. А хотелось слушать, как высказываются о конкретном моем сочинении. Одним словом, обсуждение оказалось скомканным – все присутствующие сразу забыли про

малоизвестного В. Рекшана и стали внимать знаменитому В. Конецкому. После я мрачный спустился в ресторан и достал заготовленную на такой случай бутыль водки «Сибирская». Руководитель семинара Евгений Кутузов сел рядом. Появился и подсел к нам Виктор Конецкий. Он посмотрел на меня, по-своему оценил мою бороду и произнес:

– А вас бы я с такой бородой в Антарктиду не взял.

Я посмотрел на Конецкого, вспомнил о том, что он мне сорвал предприятие с карьерным умыслом, и ответил безапелляционно:

– Да идите вы в жопу с вашей Антарктидой.

Водку мы все-таки коллективно выпили…

Спустя годы я написал на свежую книгу Виктора Викторовича рецензию в одну из городских газет, где вскользь упомянул ту ленинградскую историю. Газеты к тому моменту уже перестали пользоваться популярностью, и я не думал, что Конецкий рецензию прочтет. Через некоторое время его чествовали в петербургском ПЕН-клубе на Думской улице. Там собралась довольно блистательная публика, включая Ахмадуллину и Мессерера из столицы. Кто-то подвел меня к писателю и представил. И вдруг Конецкий вскочил и стал обнимать:

– Каков хулиган! Послал меня в жопу! – восклицал Виктор Викторович. – А теперь написал! Каков молодец! Как я в молодости!

Когда писателя не стало, его вдова собрала книгу воспоминаний. Туда вошли мемуары в основном маститых сверстников. Но и меня настоятельно попросили предоставить свое воспоминание. Я согласился, хотя, кроме той «жопы», мне было практически нечего вспомнить.

Перестройка сделала мир большим. Постепенно народ стал прорываться за границу. Советские люди на несколько лет стали модными и желанными гостями на Западе.

Осенью 89-го в Ленинградском рок-клубе начались разговоры о поездке в Италию. И вот в декабре толпа человек в тридцать отправилась в город Бари, где местное прогрессивное человечество решило провести тематический фестиваль «Невский проспект». Добирались мы туда кто как сумел. Курёхин и президент рок-клуба Коля Михайлов улетели самолетом, а основной массив поехал поездом. За день до основной группы отвалил фотомастер Андрей «Вилли» Усов.

Лично я уже ездил в мир чистогана, выступая во Франции под спортивными знаменами Советского Союза. За нарушение протокола более меня на Запад не брали, и на Юго-Запад, и на Северо-Запад не брали. Вот, через двадцать один год прорвался…

Перед границей Старый Рокер, Анатолий Августович «Джордж» Гуницкий достал бутылку портвейна и предложил:

– Надо выпить перед расставанием.

Поезд стоял на узком мосту, окруженном колючей проволокой.

Мы чокнулись и сказали:

– Прощай, родная сторонка!

Еще несколько часов, – и вот он славный город Будапешт. Авангардный контрабасист Волков достал из каких-то потаенных карманов доллары и купил себе «Кэмел». Тут же набежали негры-спекулянты, и пришлось по грабительскому курсу обменять рубли на форинты. Мы не собирались тут задерживаться, но хотелось немедленно вкусить иностранной жизни. Пока вкушали, поезд на Рим, отходивший с соседнего перрона и в который следовало запрыгивать немедленно, уехал. Следующий отправлялся через сутки.

Будапешт – город красивый. Но в декабре в нем не жарко. Особенно если болтаться по улице утро, день, вечер и еще ночь. В метро я первый раз в своей жизни увидел нищих. Причем целую толпу, лежащую на полу. Скоро и мы стали почти как нищие. На вокзале не топили. А тут всем предстояло провести декабрьскую ночь и не замерзнуть! Негры-спекулянты лежали в одном из коридоров вповалку. В зале ожидания имелась одна, но очень большая и очень горячая батарея. Обняв ее, спал какой-то расхристанный плохо пахнущий гражданин мира. Мы с Джорджем присели на краешек скамейки, оккупированной пьяным, почувствовали колебания теплого воздуха. Появилась надежда выжить и добраться все-таки до теплой Италии.

– Бла-бла-бла-бла, – недовольно заворчал космополит и стал пинаться ногами.

Можно было сдаться и отправиться спать на пол к африканцам.

– Ну ты, урод! – с угрозой произнес я и сбросил космополита с теплой скамейки.

– Убью! – добавил Анатолий Августович. Пьяный понял, что не его взяла, поднялся и побрел к неграм…

Утром поезд покатил ленинградцев дальше. Скоро Венгрия кончилась и началась Югославия накануне гражданской войны.

Рано утром мы приезжаем в Рим – люльку европейской цивилизации. После долгой дороги нас несколько покачивает. Напротив вокзала посреди площади, по которой в несколько рядов несутся машины, что-то вроде скверика с монументом. Там нас должны встречать. Сутки до нас должны были встречать и Андрея Усова. Через неделю мы выпивали на Форуме из граненых

стаканчиков, взятых в Италию из Питера вместе с «маленькой». Выпивали за здравие Вечного города, за римское право. Вот что тогда рассказал Усов: «Я вышел из здания вокзала с чемоданом и сумкой. Дождался зеленого света и перешел площадь. Только я пошел к монументу на встречу, как набежала откуда-то толпа девок-малолеток. Цыганистые такие с виду. Они стали меня дергать за разные части тела и одежды. А я отмахивался. Они чего-то прощебетали и убежали. Поставил чемодан и стал поправлять одежду. Вижу – сумка открыта! Роюсь в ней – нет бумажника! В нем – паспорт и обратный билет! За секунду я понял, что стал международным бомжом. Оборачиваюсь и вижу, как девичья стайка бежит, перескакивая через машины. Бросаю чемодан нах и бегу за ними. Я же один год в университете итальянский изучал. Но тут – все слова забыл. Кричу только:

– Сеньоре! Пер фаворе!

Меня чуть не задавили. А они уже по узкой такой улочке несутся. Я за ними. Они сейчас во двор нырнут – фиг найдешь. Навстречу трое итальянских мужиков идут. Они поняли мои вопли и малолеток тормознули. Тут и я подбежал.

– Бла-бла-бла-бла! – вопят девицы.

– Бла-бла-бла! – кричат мужики.

– Паспорт, бла, ствиздили! – кричу я.

И минуты не прошло, как подлетает „воронок“ с решетками и из него выскакивают автоматчики. За автоматчиками лениво выходит что-то вроде местного сержанта. Все продолжают вопить, и я воплю:

– Я – русский! У меня, бла, паспорт свиздили и обратный билет. Сеньоре! Пер фаворе!

Все продолжали орать, а сержант крутил головой и ковырял в носу. Он наковырялся и произнес тихо так:

– Бла-бла.

Малолетки вздрогнули, а одна из них задрала юбку и вытащила из трусов мою паспортину с билетом. Мне вернули гражданство и социальное положение в обществе, а девку автоматчики схватили, бросили в „воронок“ и укатили. Мужики тоже отвалили. Я пошел к чемодану, думая, что и его ствиздили. Но он уцелел. Такая история…»

Теперь историей Усова никого не поразишь, но тогда до «гримас капитализма» нам еще предстояло прожить несколько лет. Тогда казалось, что в нынешнем капитализме предприниматель будет ходить в обнимку с пролетарием и вместе с ним нюхать фиалки…

В городе Бари тепло. Идет дождь. На некоторых стенах висят афиши с рекламой нашего фестиваля. Город Бари известен

мощами Николая Угодника, любимого русскими святого. Мы с Джорджем должны читать доклады в первый день фестиваля. На каменной лестнице сидело с дюжину нетрезвых нонконформистов из нашей делегации и прибившиеся к ним итальянцы. Я прочел несколько бодрых страниц и даже манифест «Метод социалистического идеализма», хитроумный текст которого я здесь не стану приводить. Джордж тоже что-то такое непростое говорил. Бедная переводчица с трудом переводила наши речи, и в итоге питерские нонконформисты все заснули, сморенные вином и теорией, а итальянцы убежали.

Мрачные тона несколько разбавил Курёхин, нашедший на окрестных пастбищах коня с конюхом, а в местном монастыре – хор монастырских девушек.

Гордые тем, что нас никто не понял, мы пошли с Джорджем после трапезы в ресторане в местную Ла-Скалу смотреть на «Популярную механику» итальянского разлива…

Из-за кулис доносился цокот копыт – это волновался конь Курёхина. Сначала Сергей Курёхин бил по клавишам рояля и ковырялся в его струнной пасти, затем в дыму появился Саша Ляпин с гитарой и стал извлекать из нее пригожие звуки. Затем они поиграли вместе. Постепенно появился хор монастырских девушек и запел. Курёхин прыгал перед девушками и дирижировал. Снова Ляпин играл один. Играли Курёхин с Ляпиным и пели монастырские девственницы.

Публика не сразу поняла, но постепенно врубилась. Уже смотрели на сцену с азартом, ожидая новых выкрутасов. И тут Курёхин взмахнул рукой и на сцену вышел конь. Размеры его были чудовищны. Коня за уздечку придерживал усатый итальянский крестьянин, впервые, похоже, как и конь, попавший в театр. Публика завизжала от счастья и ужаса. На сцену вышел Саша Титов с бас-гитарой, и ему помогли вскарабкаться на коня. Динамики забасили, конь возбудился и собрался прыгнуть в партер, но крестьянин его удержал. Вопили девственницы, а Курёхин ковырялся в зубах у рояля. В апофеозе каданса на сцену вылетел некрореалист Чернов с мертвым осьминогом в руках. Он зубами рвал мертвое морское тело, а куски глотал. Зал выл и рукоплескал. Некрореалист, наглотавшись мертвечины, убежал прочь и после долго блевал за кулисами…

На следующий день Курёхин беседовал с местным руководителем по имени Антонио:

– Я хочу в Риме. В Колизее! Чтобы тысячи гладиаторов. И пятнадцать роялей. Чтобы тигры ели христиан! Ты меня, Антонио, выведи на министра культуры.

– Не получится, – с сожалением объяснял Антонио, молодой

худощавый мужчина с аристократичными чертами лица. – Колизей – это культурный памятник. Там нельзя.

– Можно, можно. Ты только сведи.

На вечернем приеме у местного коммуниста нонконформисты сразу же выпили все запасы крепких напитков, а Анатолий Августович «Джордж» Гуницкий плясал вприсядку, высоко выбрасывая коленки. По дороге в гостиницу лучший мастер абсурда пытался крушить машины на обочинах, выражая так свой протест против общества потребления, а утром обнаружил в номере на потолке следы от своих ботинок.

– Выходит, что я ночью ходил по потолку, – удивился Джордж.

– Выходит, что ходил, – согласился я.

– Абсурд какой-то! – вздрогнул Гуницкий и предложил: – Давай-ка лучше займемся коммерцией.

Анатолий Августович привез в Италию с дюжину командирских часов, предполагая озолотиться. Но с часами, как выяснилось, нас в городе Бари не ждали. Джордж заходил в бакалейные лавки и с моей помощью предлагал часы. Работники лавок разглядывали циферблаты с нарисованными танками и красными звездами, пугались, но денег не давали.

Бродили мы, бродили и забрели в порт на рынок краденых вещей. Крали, видимо, в основном из машин, поскольку на вместительных лотках лежали предметы, которые обычно можно слямзить из тачки: кассеты, автомагнитолы, очки, часы… Ага, вот и часы!

Джордж подрулил к продавцу, мрачному громиле грузинского вида с наколкой на запястье «Не забуду мамо мио!» и достал свою командирскую дюжину. Всякая вещь на лотке стоила десять тысяч лир. Всякую ворованную продавец покупал за пять. Он посмотрел на товар Джорджа и сказал:

– Пять тысяч.

– Это же чертовски мало, – изумился Джордж, – это же настоящие командирские часы. Руссо, руссо! Пиф-паф!

На «пиф-паф» итальянец среагировал оригинальным образом. Он достал из-под прилавка кольт огромного размера и приставил его почему-то к моему лбу.

На стенах висят афиши с объявлением о концерте Рэя Чарльза. Этот старый чернокожий монстр, оказывается, еще выступает! С юности помню: «Он зы роуд, Джэк! Моно, моно, моно…»

В гостинице мы с Джорджом знакомимся с черным из бригады Рэя.

– Велл! – наконец говорит он. – Ай вил би вэйтин ю!

Подходите за два часа до начала. Я вас проведу на концерт.

Мы пришли с Джорджем за два часа, и наш новый приятель нас провел за кулисы. Там ходило много чернокожих музыкантов и музыкантш. На сцене кто-то играл на кларнете, однако старины Рэя Чарльза пока что не видно.

Пустой зал и пыльные кулисы выглядели довольно уныло, а предстояло тут околачиваться и путаться под ногами долгие два часа. К тому же в ресторане нас с Джорджем, кроме обильной еды, ждали «россо» и «бьянко». Мы решили свалить, а потом вернуться.

Возвращаясь, мурлыкали песни Рэя и ковыряли в зубах фирменными зубочистками, представляя, как сейчас насладимся блюзом, побратаемся с Чарльзом и вообще заживем припеваючи с этой самой минуты…

Возле служебного входа стоял наряд полиции и никого не пускал. Из-за наряда чернокожий администратор пожимал плечами и мотал головой. Пришлось идти восвояси в отель. Так мы Рэя Чарльза фактически пропили…

На обратном пути в городе Риме мы болтались целый день, а к вечеру меня разбила лихорадка, как Рафаэля. В Риме я запомнил только утро – мы с фотографами Усовым и Потаповым выпиваем на Форуме, а напротив Сан-Анжело негры писают в Тибр. Нет, помню еще, как мы с фотографами добрались до Ватикана, в соборе-махине Святого Петра разглядывали Микеланджело, а после заснули на стульях прямо посреди зала. Может, папу римского проспали, может – нет…

«Кайф»

Когда буржуазные аналитики начинают пугать население ужасами социализма, то, как правило, восклицают: «А помните, а помните! Пустые полки и талоны на водку! И очереди, очереди!» Насколько мне известно, голодомора в конце советских времен не было. А вот в 90-е многие голодали. Да, избыток денег на руках не соответствовал товарной массе. Но в памяти совсем не осталось кошмаров дефицита. А о том, что не помню, я и не стану рассказывать. Вспомню я лучше свой личный капитализм…

Но перед этим сделаю официальное заявление: Гдлян и Иванов! Иванов и Гдлян! Эти фамилии стучат в моем сердце. Вся страна внимала им, почти молилась. И шла голосовать, когда – забыл кто из них – избирался, кажется, в Верховный Совет! Иванов и Гдлян, насколько я помню, разоблачили узбекских аферистов. Это все были партийные номенклатурщики и их беспартийные сообщники. Почему мы все тогда так возбудились? Не знаю – это вопросы психологические, даже психиатрические. Иванов и Гдлян! Гдлян и Иванов! Это звучало на всю «империю зла». А теперь кто их помнит?..

История моего личного капитализма поучительна и полностью соответствует тексту монографии Владимира Ульянова-Ленина «Развитие капитализма в России». Самое веселое в моем нынешнем положении – это тот факт, что никто не сможет помешать мне ее рассказать.

Знакомлюсь с крупным и розовощеким мужчиной из издательства «Художественная литература». Зовут его Валера Лемесов.

– Я, – говорит он, – рок-фан, битломан, коллекционер. У меня есть пластинка группы «Ган», которой ни у кого нет.

– И я, – отвечаю, – фан и битломан. А нельзя ли у вас в издательстве книжку выпустить? Книжка называется «Кайф». Она в журнале «Нева» печаталась.

– Можно, – отвечает Валера, – но за свой счет.

– Не понял, – переспрашиваю. – За мой или за ваш?

– За твой.

– Интересно.

– Ничего интересного. Толстого и Чехова мы выпускаем за наш счет, а таких, как ты, – за их счет.

– То есть за мой?

– За твой.

– Но таких, как я, больше нет.

– Есть, есть! – смеется Валера. – В Греции все есть. А повесть

твою я читал. Хорошая вещь. Утверждаю как битломан…

Решил найти деньги и выпустить повесть в виде книги. Для начала решил занять у знакомых. Знакомые не дали. Всего следовало найти около четырех тысяч рублей. Довольно большие по тем временам деньги. Стала спрашивать жена у своих подружек. У тех, которые за богатыми мужьями. Мужья не дали подружкам, подружки не дали мне.

А деньги появились сами по себе.

Один новообразовавшийся театр получил от государства приличную сумму и решил заняться меценатством. Из театра позвонили и предложили денег. Сумму предполагалось вернуть в виде книжек. Потом театр поставил лишь один музыкальный спектакль и разорился. Юридического лица не стало, а физическим я подарил по книжке. Но до разорения еще было далеко. Как и до книжки. Появились деньги, но не было бумаги. Бумага тогда стоила дешево, только достать ее можно было… Нет, достать бумагу было нельзя, потому что… Проблема дефицита, партийной и антипартийной прессы. Перестройка уже захлебывалась, но еще не нахлебалась.

После долгих битв с типографиями, начальники которых жаждали взяток, книгу напечатали, и теперь предстояло ее продать.

Появился человек из Москвы. Появился человек из Ярославля. В Москву уехали сразу две тысячи, а в Ярославль тысяча экземпляров. Тираж книги составлял тринадцать с половиной тысяч экземпляров. Бестселлер по нынешним временам.

Прошли лето и осень, началась зима. В ледяную стужу позвонили из Москвы и Ярославля, предлагая приехать и забрать мани.

Морозным солнечным утром я вышел из вагона на перрон Ленинградского вокзала и, подгоняемый мелкобуржуазной алчностью, устремился на поиски музыкального магазина, торговавшего «Кайфом». Через час я нашел нужный мне дом и вошел во двор. Магазин находился, как я знал, на четвертом этаже.

Вот она – парадная! Но с парадной были проблемы. Вместо ступенек в нее вела ледяная горка. Просто падай и бейся лбом! Выделив мелкобуржуазный адреналин, я стал карабкаться, вцепившись в лед ногтями рук и чуть ли не ног. На втором этаже лед кончился, но началась болотная слякоть. На третьем этаже из трубы хлестала струя кипятка. Основные места, то есть места основного инстинкта, я не ошпарил, но куртку замочил. Далее я поднимался в тумане, выставив вперед руки, как слепой.

Оказался в коридоре. Услышал в тумане голос. В руки мне попалась голова бухгалтера или кассира.

– У нас труба лопнула, – бодро произнес молодой человек. – А вы Рекшан из Ленинграда?

– Да, – ответил. – Я – это он. Мне бы денег получить. Мне звонили.

– Надо найти сейф, – кивнул бухгалтер или кассир и исчез в тумане. Скоро из тумана вынырнул человек с сейфом и отдал четыре полиэтиленовых мешка, набитых бумажными деньгами, и еще кошелку с мелочью.

– Из-за аварии мы не успели обменять.

– Ничего страшного.

Я прошел обратно через пар, в нужном месте меня обдало кипятком, затем я миновал болото, поскользнулся и выкатился по ледяной горке в морозный день. Одежда моментально заледенела. Ледяной и богатый, я добрался до Ярославского вокзала и успел на поезд.

В общем вагоне я не выделялся в толпе своими мешками. Все что-нибудь да везли – набивные ситцы, дефицитные книги, ягнят и телят…

Уже начало темнеть, когда я оказался в Ярославле. Долго путался в улочках, пока нашел деревянный дом с дымящейся трубой. Здесь находилось местное издательство и книжный склад. В большой комнате я увидел каких-то расхристанных мужиков в волчьих шкурах, горилку на столах и этакую красивую местную стерлядь, сидевшую нога на ногу посреди мужиков, которые вились вокруг и пускали слюни.

За письменным столом восседал в странной позе, откинувшись в кресле с открытым ртом, нужный мне человек. Во рту ковырялся худощавый мужик в меховом жилете, по виду – библиотекарь.

– Дергайте! – крикнул издатель.

Оказывается, издателю вырывали зуб. Кто-то дернул дверь, и зуб, привязанный к двери веревочкой, вылетел. Раздались аплодисменты. Объявили тост за здоровые зубы. Все выпили, крякнули и уставились на меня.

– Чем имеем честь? – спросил издатель.

– Вот именно! – хихикнула стерлядь. – Чем вы честь имеете?

– Я, собственно говоря, автор книги «Кайф».

– Ах, да! Вы приехали за деньгами. Что ж, присаживайтесь. Будьте как дома.

Скоро принесли два мешка денег, и я убрался.

Может, это мода такая грядет – рассчитываться трешками? Сложно сказать. Я спрятал мешки в канаву возле вокзала, купил

билет до Питера. Потом, прихватив мешки, дождался поезда и долго ехал домой, прижимая наживу к сердцу.

Про Космического Прыгуна, про ленинградские рестораны

Советская власть сдавалась все больше. Железный занавес трещал по швам. Все больше соотечественников проникало в иные миры…

Весной 90-го я встретил в метро старого товарища Игоря Назарова. Мы с ним еще в 70-е постоянно соревновались на легкоатлетических стадионах. Роста мы одного, результаты у нас были одинаковые.

– Ты знаешь, что создана федерация ветеранов и скоро ты сможешь снова прыгать в высоту с разбега? – спросил Игорь.

– Как это так? – авансом обрадовался я.

– Легко, – сказал Игорь. – После сорокалетия ты попадаешь в младшую возрастную группу, сорок – сорок четыре года. Есть группы «сорок пять – сорок девять». И так далее – хоть в сто лет приходи и прыгай.

Я стал по утрам бегать кроссы внутри микрорайона, где жил, размахивать руками-ногами, нетерпеливо ожидая, когда исполнится сорок. Дебютные соревнования прошли успешно – страсть еще кипела внутри и хотелось побеждать. Выяснилось, что летом в Венгрии пройдет Кубок Европы среди ветеранов. Осталось только поехать и всех победить.

…Накануне зимой я уже проезжал через Венгрию, пропустив поезд в Рим и проведя на вокзале глупые сутки. Второй раз биться лбом о Будапешт было бы стыдно. Поэтому я взял с собой все: мини-раскладушку, плед, простыню, банки с консервами, растворимый кофе, кипятильник, сахар и шесть двухфоринтовых монет для телефона. Еще в сумке были тренировочный костюм, спортивные тапочки и надорванные шиповки. Когда-то в юные годы мои суперноги перебрасывали меня через планку на высоте в 2 метра 15 сантиметров. Теперь, частично изгнав из внутренностей тренировками никотин и алкоголь литературно-музыкальных буфетов, к сорокалетию я мог похвастаться результатом почти в 1 метр 90 сантиметров. Кто не понимает, тому бесполезно объяснять.

Загодя я получил вежливое приглашение на Чемпионат Европы. В нем, в частности, предлагалось оплатить расходы бундесмарками. Так же как и у других питерских ветеранов, марок у меня под рукой не оказалось, и мы почти распрощались с надеждой. Но тут пришло известие, что в виде исключения от советских готовы получить и в рублях. Сосчитал рубли – не

хватило. Отправился во Внешэкономбанк, который задолжал мне денег по договору с пражским издательством. В банке послали меня на три буквы, возможно, и на четыре. Я пошел куда послали, рассчитывая по дороге ограбить прохожих. Деньги, однако, нашлись, и я заплатил положенное, вовремя пришел на вокзал и с группой не молодых, но бодрых покатил на юг.

Львов: тепло, красивые женщины и митинги. В толпе видны лозунги типа «Хай живе КПСС на Чернобольской АС!» За Львовом поезд переваливает Карпаты, а там уже не наша земля. Перед таможней ветеранов бросало в озноб – все читали постановление об ограничении вывоза товаров, но все что-то везли, по русской неизобретательности упирая на водку…

Мы выходим из поезда. Я самый молодой среди этих серьезных мужей, директоров и доцентов, полковников и подполковников, среди этих достойных старушек с выправкой ворошиловских стрелков. Эх, вечная моя неразменная молодость!

Я лежал на раскладушке и смеялся:

– Где же ваши хреновые спонсоры?!

Бывший Директор, свернувшись в углу по-собачьи на спальном мешке, не унывал:

– Просто банк не произвел расчеты! Он просто не принял деньги! Возмутительно!

– Вот и отлично! – подал голос Энергичный Работяга. – Посмотрите на Полковника! Он спать собрался по стойке «смирно».

Полковник составил две парты, лег на спину, укрылся простыней, стал похож на мертвого и пожаловался:

– А я хотел бежать десять километров. Десять километров бежать в таких унизительных условиях!

За несколько часов до этого нас встретили на вокзале, посадили в трамвай, и мы «зайцем» переехали Дунай. Затем отвели в обычную среднюю школу и сказали: «Будете здесь жить». По школе уже бродили другие советские граждане, превращая учебные классы в лежбища. Отсоединившиеся, но еще не достигшие конвертируемости, обеспечивающей комфорт отелей-мотелей, прибалты вернулись временно в состав Московского царства. Отсутствие спальных принадлежностей компенсировалось обещанием кормить. Я рассчитывал на привезенные консервы, но в неразберихе попал на казенное довольствие.

Следующим утром предприимчивый народ рванул торговать на рынок. Я отдал знакомому свой продовольственный набор

вместе с кипятильником, рассчитывая на наживу, и отправился гулять из Буды в Пешт. День стоял знойный. Хотелось пить. Я пил из всякого «копытца» – фонтанов и фонтанчиков. Мочил голову, гулял и глазел по сторонам. И вдруг увидел на дне фонтана денежку в пять форинтов, протянул руку и ухватил. Теперь было с чего начинать жизнь.

Вечером возле школы крепкая ветеранская женщина наяривала на трехрядке, а несколько пожилых пар резвилось возле нее. «Нормальный сумасшедший дом, – подумалось мне. – Чувство родины не должно покидать нас!» За реализованные консервы и кипятильник я получил деньги и уже по-настоящему почувствовал почву под ногами.

На следующий день мне предстояло состязаться с сорокалетними сверстниками. Только после многокилометровых прогулок по жаре я уже толком не помню, в какую сторону бежать и какой ногой отталкиваться. Находясь на грани солнечного удара, я все-таки разглядел и запомнил Валерия Брумеля. Он для спорта все равно что Гагарин для космоса. Не было у меня в юности большего кумира. Меня даже знакомят с Брумелем, представляя как журналиста, на что он отвечает, хотя я и не просил, что на интервью у него нет свободного времени…

После «Непшстадиона», опустошенный недавней схваткой с жарой, возвращаюсь в спецприемник школы и вижу фанерную стрелку на стене. Один переводчик с финно-угорских языков обучил в Питере двум словам: «шор» и «бор». На стрелке начертано «Бор», то есть «Вино»… На родине тогда буйствовал алкогольный дефицит, и я устремился по направлению, указанному стрелкой. «Бор» находился в подвале. В прохладной тишине скучающий продавец в кожаном фартуке прямо из бочки накачал в полиэтиленовый баллон 1,5 литра мускателя за восемьдесят форинтов. 1,5 литра для меня многовато, но почти каждому человеку хочется всего и сразу.

Возле школы на парапете газона сидит и скучает Космический Прыгун.

– Добрый день, – говорю.

– Добрый день, – отвечает. – А что это у тебя такое?

– А это у меня сухой венгерский «бор» мускатель. Венгерские же «боры» по праву считаются одними из лучших в Европе.

– Что ж, я готов дать тебе интервью. Ты же просил!

– Конечно! – восклицаю я и начинаю брать интервью, в течение которого мы, пользуясь своим местонахождением, несколько раз совершаем антидефицитные демарши.

– Для меня это цирк. Шапито! Клоунада какая-та, – говорит интервьюируемый по поводу ветеранских соревнований. – Я же

профессионал. Космический Прыгун! Видишь часы?

Космический Прыгун снимает часы. На оборотной стороне дарственная надпись по-английски.

– Голландская королева подарила. Нет, английская! Может, мне часами торговать? Я – пур мен. Нищий! Меня почетным гостем пригласили, а форинтов не дали. Вчера из шведской газеты подходит – можно интервью? Мое интервью двести долларов стоит.

Мы уже в пятый раз идем в «Бор», а Космический Прыгун говорит по дороге просто так, ему, я вижу, скучно со мной, но одному, похоже, еще скучней:

– Тут один три «Хольстена» взял, а после заявляет мне: «Кто ты такой?» Он – кооператор, двадцать тыщ в месяц клепает, а у меня пенсия еле-еле на хлеб. Но я-то Космический Прыгун, а он в финал на Токийской Олимпиаде не попал. Он мне все про купленное пиво, а я ему говорю: «Тебя в Москве на кол посадят, бензином обольют и подожгут рэкетиры, а меня в Америку зовут лекции читать. Лекция – пять тысяч долларов».

– Какой гад! – кричу и плачу. – Как он смел так Космическому Прыгуну!

– Они мне все завидовали. Всегда. Даже Тер-Ованесян. Всегда мечтали, что б плохо. Кому они теперь нужны? Мне на приеме вчера: «Вы и в Финляндии будете почетным гостем». И футболки дали. Три штуки.

После мы в общаге поглощаем «бор». Затем Прыгун дремлет в кресле, а я ухожу прочь и, плохо соображая, таскаюсь полночи по чужому городу в поисках школы…

Сон мой крепок и обилен, на грани кошмара. В полдень я выхожу из школы. На парапете сидит Космический Прыгун и по-приятельски улыбается.

– Привет, – говорит. – Ты же вчера хотел интервью взять. Надо было мне со шведа двести долларов взять, да не взял. Но ты не швед! Это факт. Тут один дед просится поговорить. Ему капиталисты форинтов надавали на память. Все должно быть честно, вчера – ты, сегодня – я…

Дед оказался фантастический: шестидесятичетырехлетний Николай, демократ и радикал из Костромы. Он завоевал две серебряные медали в беге среди сверстников и теперь мог себе позволить.

В «Боре» нас встречали как постоянных клиентов. После второго захода я стал беспокоиться за демократа Николая. Он кричал на весь этаж общежития, размахивая стаканом:

– Мы говорим «нет» консерваторам! Мы говорим «да» рынку и частной собственности! Мы говорим «нет» административно-

командной системе! В горкоме мне говорят: «Тебя, Коля, пора в сумасшедший дом». Но мы говорим: «Нет, этот номер не пройдет!» И тогда я возглавил митинг и призывал по радио…

К Космическому Прыгуну в комнату заглянул Эгидус, симпатичный журналист из Литвы.

– Мы говорим «да» свободной Литве! Мы говорим: «Нет, они не пройдут!» – орал дедушка и сжимал кулак возле уха, как Бертольд Брехт.

Столько всего уникального копится в жизни, словно деньги в копилке. Затем почему-то жизнь, будто керамическую свинью с прорезью для денег на спине, шарах о стенку… Растираю пальцы и думаю, как хорошо планировать будущее на семьдесят, восемьдесят и более лет. В Венгрии я на бегающе-прыгающих дедов насмотрелся, захотел стать таким же и через год отправился в Турку на Чемпионат мира. Перед тем я напечатал в московском «Огоньке» веселый очерк о будапештской эпопее, не зная еще, какую культовую ненависть заработал им в среде ветеранских чиновников. Как водится, новое дело обросло разными деятелями – организаторами заграничных туров, а тут какой-то лезет со своими шутками… В Турку у меня уже денег никаких не было, и я решил посвятить себя покорению спортивных вершин. Опять мы жили в местной школе, ночуя на спортивных матах. По соседству жили еще более бедные индусы. Но они не верили. Они помнили Советский Союз времен «хинди – руси – пхай-пхай». При встрече в умывальниках, заметив в твоей руке бритву, индус протягивал руки и говорил вежливее цыгана: «Помощь! Помощь!» «Идите в жопу!» – отвечала обедневшая Россия. Часть ветеранов приплыла в Турку на корабле, и остальные, кто заплатил в России, должны были получить талоны и право кормиться на судне… Отстоял небольшую очередь и назвал фамилию. Двое мужчин и две женщины пристально уставились на меня. В остановившемся и замолкшем пространстве один из них, до неприличия лысый, со странной фамилией Чебурашкин, произнес на всякий случай, подразумевая во мне возможного ревизора, краткую речь-отчет:

– За истекший период нашей Федерацией проделана большая работа. За двенадцать месяцев истекшего года организовано более двухсот пятидесяти стартов. В них приняли участие около трех тысяч человек в возрасте сорок – пятьдесят лет, восемьсот человек в возрасте шестьдесят – семьдесят лет, триста участников в возрасте семидесяти пяти, пятьдесят в возрасте восьмидесяти, четырнадцать в возрасте до восьмидесяти пяти и один прыгун с шестом в возрасте девяносто два года. Всего в Федерации состоит шестьдесят семь процентов мужчин и тридцать три процента

женщин. За отчетный период по естественным причинам из Федерации выбыло почти четыреста человек, зато вступило около тысячи…

На стадионе ко мне подошла здоровенная тетка и, хлопнув по плечу ладонью молотобойца, сказала по-матерински:

– Правильно ты нас всех пропечатал. Так нам и надо.

Не ожидая такой популярности, я инстинктивно стал избегать Космического Прыгуна, которого иногда видел на спортивной арене. Но в один из дней мы столкнулись лицом к лицу – он вгляделся в меня с чуть большим, чем в Будапеште, интересом и произнес:

– Говорят, ты написал где-то… В журнале? Написал, что поил меня три дня.

Я только пожал плечами.

– Было дело – поил, – согласился мой кумир. – Ничего, я тебя тоже напою. Тут у меня друг – мэр Турку. У него дома полный холодильник пива. Отправимся к нему завтра.

Я согласился хоть завтра, хоть сегодня. Пару раз после встречал Космического Прыгуна, старался сделать так, чтобы он меня заметил. Но он не заметил и к мэру Турку не взял. Потерпев поражение в пьянстве, я полностью отдался спорту и в итоге занял седьмое место среди сверстников. В мире!

После заболел позвоночник, и пришлось поползать несколько месяцев на четвереньках. Затем я как-то утерял все спортивные связи, восстановив их только недавно, когда стукнуло за шестьдесят. Снова стал выступать на ветеранских первенствах. Потому что страсть еще кипит внутри. Только это совсем другая история.

Общественно-политическое бурление перестройки многие факты быта загнало в дальние уголки памяти. Увлекшись яркими событиями своей богемно-спортивной биографии, повествователь в последних главах мало касается физиологии ленинградского существования. Воспользуюсь свидетельством товарища.

Один мой старый приятель, сверстник, ныне ученый, богослов и автор устных романов, выведший математическую формулу справедливости, в середине 70-х закончил престижный факультет Политехнического института. Желание заниматься наукой в научно-исследовательском институте, куда приятеля распределили после защиты диплома, натолкнулось на знакомую многим рутину. Хотелось полета духа, а в результате дипломированный специалист работал на овощебазе на переборке моркови или занимался иными совсем не научными делами. Хотелось прямо и сейчас, а получалось нескоро и не поймешь что. Да и зарплата сто рублей в месяц, на которую живи

с женой как хочешь… Спустя годы свой тогдашний мелкобуржуазный протест приятель обычно облекает в такую форму:

– Я учился много лет! Я был успешен, получив диплом признанного в большом мире высшего учебного заведения! И я даже не мог себе купить пальто!

– Задолбал ты всех этим пальто! Ты разве в пальто ходил? Все старались себе достать американские военные куртки, – отвечаю я.

– Про пальто я говорю метафорически, – заявляет сверстник.

Несостоявшийся физик ушел из научно-исследовательского института и в итоге стал официантом. Предлагаемый текст автор написал с его слов.

В Советском Союзе тогдашнее Министерство торговли выпускало журнал «Общественное питание». В нем имелся раздел «Ресторанное дело». В дореволюционном Петербурге, как сообщал журнал в одной из статей, ресторанов на Невском проспекте было больше, чем в брежневском (или романовском, если вспомнить фамилию председателя областного комитета партии) Ленинграде. Ресторанами не считались разные чебуречные, сосисочные, пивные бары. В новых районах вроде Купчино подобные очаги досугового времяпрепровождения практически отсутствовали. Дефицит создавал напряжение на застольном уровне жизни. Чтобы попасть в ленинградский ресторан, следовало проявить ухищрение или финансовую изворотливость. Перед входными дверями ресторана вечером стояла очередь. За стеклянными дверями находился швейцар. Он смотрел на алчущих хмуро. На стеклянных дверях обычно красовалась табличка: «Свободных мест нет». Но если человек хотел попасть в ресторан, то это можно было сделать очень просто, сделав предварительный заказ. Не принимались заказы на вечера государственных праздников и Новый год. Тут следовало побеспокоиться за неделю. В стандартном случае следовало прийти в ресторан накануне или днем и заплатить в кассу тридцать процентов от общей суммы выбранного меню. Средний чек на человека составлял порядка десяти рублей. Но у нас, как известно, гастрономическо-алкогольное веселье часто носит спонтанный характер. Более примитивный способ попадания – подкуп швейцара. Ставка зависела от класса ресторана и величины очереди. В малопрестижных заведениях швейцар брал рубль, где-то брали трешку, а куда-то можно было и за пятерку не попасть. А как осуществлялось чудо, спросите вы, когда в ресторанном зале объективно все места оказывались занятыми? Ответ прост: в каждом ресторане имелись резервные столы и

стулья. В крайнем случае, официанты могли накрыть скатертью и письменный стол. Другой прием – официант брал что-то в буфете, апельсины, допустим, в вазе, салаты, сервировал стол и никого за него до поры не сажал. Но за это явное нарушение, нарвавшись на проверку, можно было и работу потерять. Хотя ловкий халдей обычно говорил, что это предварительный заказ, показывая оплаченные им же чеки. По сути дела, официанты и повара составляли криминальную компанию на групповой поруке. Все являлись членами своеобразной банды со своей моралью. Имелась и четкая иерархия. Опытные посетители выработали свой трюк. Если компания хотела беспрепятственно попасть в ресторан, то часов в пять вечера делегировался кто-то один. Человек занимал столик, подошедшему официанту делал заказ на несколько человек, говоря: «Принесите мне все в семь часов, а я пока кофейку попью». Чаще всего так поступали студенты.

Официально в советском ресторане крепкие напитки продавались посетителям только с горячим блюдом и не более ста граммов в одно жало. Под жалом имелся в виду пьющий рот посетителя. Дабы получить больше в это самое жало, следовало официанта материально заинтересовать.

В конце каждой смены рядовой работник общепита отдавал часть денег метрдотелю, своему боссу. Обычно сумма равнялась десяти рублям. Когда кому-то из халдеев приваливала богатая компания и навар с нее явно превышал обычный доход, халдей засылал метру и больше. Каждую смену официант давал посудомойкам от рубля до трех. Эту мзду централизованно собирал бригадир официантов. В смену, длившуюся двенадцать часов, работник что-то ел, приобретая пищу на кухне по ресторанным ценам. После смены возвращаться домой обычно приходилось на такси – как правило, халдеи на метро или автобус не успевали. Зарплата рядового работника общепита была вполне приличная – до трехсот рублей. Однако из нее вычитали стоимость битой посуды. Работник был обязан следить за алкогольным состоянием посетителя и не давать напиваться. А хулиганов следовало сдавать в милицию. В месяц приходилось выплачивать от двадцати до тридцати рублей. Если сосчитать расходы, то станет ясно – большая часть зарплаты официанта уходила в чужие руки. Почему же многие стремились на эту странную работу? Она заранее предполагала криминальные приемы. Приходившие с намерением работать честно в расчете лишь на чаевые не задерживались – чаевые составляли не главную часть дохода.

В официанты советские люди шли за длинным рублем и получали его несколькими способами. Среднестатистический

ленинградский халдей на излете коммунистических времен имел в ресторане на руки в месяц где-то до тысячи рублей. Понимая всю условность средней цифры, все-таки станем исходить из нее. Сумма, конечно, огромная, если сравнивать с советскими зарплатами. Остается лишь описать основные приемы передовиков меню и подноса.

За посадку гостей брали обычно десять рублей за стол. В том случае, конечно, когда свободных мест не было. А их почти никогда и не было. Принципиально важная информация: ни в буфете, ни на кухне ничего не разбавляли и не довешивали. Там всегда имелась левая продукция. Она поставлялась с баз и реализовывалась в ресторане по ресторанной цене. Буфетчик, продававший алкоголь, искал способ продать свою продукцию. Наценка в ресторане, допустим, на коньяк и водку равнялась ста процентам. Эту разницу и старались положить в карман, продавая сорокаградусное. Конечно, частично реализовывали и казенную продукцию. Принесенный для криминальной продажи алкоголь буфетчик у себя не держал. Часто в буфете сидел как бы приятель буфетчика. На самом деле этот человек по мере необходимости приносил бутылки из припаркованной машины. Их содержимое в буфете переливали в казенные бутылки и выносили ленинградцам по двойной цене.

На кухне мухлевали с мясом, продавая более дешевые сорта за максимальные деньги. Это называлось пересортицей. Буфетчики и кухонные работники «отстегивали» часть прибыли руководству. Система была ступенчатая, каждый платил непосредственному начальнику.

Но вернемся к официантам. Они обманывали посетителей следующим образом. Существовал такой профессиональный термин – «обман по технике». Гость ресторана заказывает одно блюдо, а ему приносят более дешевое. Из одного эскалопа можно сделать два антрекота. Официант получает на кухне блюдо, выносит в зал, ставит на сервировочный стол, достает пустую тарелку, перекладывает, мухлюя. Ловкость рук и никакого мошенничества. Технические приемы передавались ученикам, приходившим на работу. Ведь нового официанта фактически принимали в банду. От точности работы новичка зависела устойчивость ресторанного бандформирования.

Творчески мыслящие официанты придумывали собственные блюда. Курица, допустим, по-японски! Посетителям говорилось про экспериментальное горячее блюдо, проходящее испытание. Объяснялось – это, мол, вареная курица с сыром, приготовленная по токийскому рецепту. Многие соглашались попробовать. Официант брал обычную вареную курицу за рубль пятьдесят, к

ней прикладывал сыр копеек за пятьдесят, втыкал сверху какую-нибудь петрушку. И выносился подобный гастрономический шедевр в блюде необычной формы. То, что стоило два рубля, продавалось за три. Если постоянно изобретать такие фокусы, то в месяц набегало в карман фантазера довольно прилично.

Еще про алкоголь. Крепкие напитки проносили в графине. Поддатые ленинградцы часто просили добавки. Халдей советовал брать не бутылку, – многовато будет! – а триста граммов. И приносил в графине двести пятьдесят. Чистый обман без выкрутасов. Еще практиковалась пересортица с вином. Проще говоря, вместо заказанного дорогого вина приносили более дешевое. Или, уверяя, что закончился дешевый коньяк, вместо дорогого приносили все тот же дешевый.

Официанты-женщины с шутками и прибаутками выклянчивали в подарок шоколадку. Хмельные мужчины радостно соглашались, шоколадка вписывалась в счет, а на самом деле бралась у буфетчика взаймы. За вечер такие шоколадки складывались в серьезный улов.

Официант-мужчина, «подружившись» с клиентами, просил налить полтинник или сотку коньяка, мотивируя просьбу тем, что, мол, накануне погулял с другом и надо опохмелиться. Выпившая компания с пониманием соглашалась, официант говорил, что он не может пить на работе в открытую, что правда. Он, якобы, выпьет в буфете, а выпитое включит в счет…

Таким образом мастера советского общепита обдирали граждан социалистического государства.

Хочется напомнить современнику: в советские времена алкогольные напитки стоили очень дорого, если сравнивать тогдашние цены с нынешними.

По правилу, каждое блюдо должно выноситься индивидуально, но, чаще всего, всякие салаты и прочие закуски компаниям веселящихся приносили в общей тарелке или вазе. Ресторанная теория гласила – порция должна быть такой, чтобы ее хватило! В столовках, где обычно днем питались ленинградцы, нормы отличались в меньшую сторону. Поэтому, когда в общей вазе официанты не доносили продукта, никто не замечал.

При расчетах с клиентами следовало получить чаевые или нагло обсчитать подвыпивших посетителей.

Теперь о ресторанном рейтинге. Лучшим рестораном, куда заходили разные партийные работники, академики, представители высших слоев рабочего класса, народные депутаты и прочая элита советского общества, следует назвать «Петровский зал» гостиницы «Ленинград». Он находился на ее последнем этаже. Под названием «Санкт-Петербург» эта гостиница и теперь

стоит на Неве с видом на революционный крейсер «Аврора». Кухня, обслуживание, сервировка тут считались лучшими в городе. Второе место – это знаменитая «Крыша» гостиницы «Европейская». Третье место – гостиница «Прибалтийская». Четвертое условное место – «Астория». Далее рангом пониже, но на одном уровне: ресторан «Кавказский» на углу Невского проспекта и Казанской улицы, отличавшийся прекрасной кухней, но довольно тесный. Еще следует назвать ресторан «Садко» напротив Думы. Отличная кухня была в «Баку» на Садовой улице в сотне метров от Невского. В ресторане «Метрополь» на той же Садовой, но напротив Гостиного Двора, готовили отличные горячие закуски. Одним из лучших считался ресторан в ленинградском аэропорту.

С середины 80-х общая картина изменилась. Появились кооператоры разных мастей, в том числе и кооперативные рестораны. Неожиданно разбогатевшие ловкачи демонстративно денег не считали, шикуя напропалую. Возникли сложности с алкогольной продукцией, порожденные знаменитым указом Горбачева. В кооперативных ресторанах разрешили клиентам приносить вино-водочную продукцию с собой. Под это разрешение в ресторанах в открытую стала гулять левая продукция.

В итоге вспомню правду: шальные деньги, получаемые халдеями, мало кому принесли счастье. Многие официанты сами начинали пить, спивались, иногда доходили до прямой уголовщины. Человек, рассказавший мне о специфике ленинградского ресторанного дела, сам отсидел за разбой шесть лет.

Закончив главу, я позвонил товарищу и между делом сказал:

– Поскольку тут произносятся вещи малоприятные, я твою фамилию называть не стану.

– Как так! – возмутился источник информации. – Назови обязательно! Фамилию, имя и отчество! Уланов Олег Николаевич.

Маленькая Земля

Неторопливо, отвлекаясь на мелочи жизни (ведь из мелочей всякая жизнь и складывается; да и о чем, как не о жизни, мы тут ведем речь?), книга движется к концу. В 1991 году в моем ленинградском времени случились два важных события – общественное и личное.

В апреле в огромном павильоне Ленэкспо, что на Васильевском острове, прошла выставка «Реалии Русского Рока». Ее совместно с Ленинградским рок-клубом проводил кооператив, при этом же клубе созданный. Финансовый механизм мне не известен. Но тут важны не деньги – сама выставка удалась на славу, став своеобразным фестивалем победителей. Русский рок достиг райских вершин, толпы ломились на концерты, многие музыканты поехали по миру, зарабатывая буржуазные деньги.

Выставочный павильон был разбит на стеклянные отсеки. Каждая заметная группа сама заполняла своеобразные витрины экспонатами. «Аквариум», помню, уставил стеклянные полки пустыми бутылками от иностранных вин. Главным дизайнером выставки был Володя Лемехов, барабанщик звездного состава банды «Санкт-Петербург». Ему помогал брат Сергей. Увидев пустую посуду «Аквариума», Серега предложил:

– А мы поставим одну, но полную. Они как бы выдохлись, а мы еще полны сил.

– И сколько полная простоит? – справедливо поинтересовался я.

– Ни бэ! – ответил друг.

Естественным образом каждый день бутылка выпивалась, и мне приходилось привозить новую.

«Гражданин Целин родился в середине сороковых в США в семье советского дипломата. Мальчик узнал рок-н-ролл и стал его энтузиастом. В 1957 году ему удалось в Мемфисе поговорить с самим Элвисом Пресли и получить благословение. Будучи студентом Колумбийского университета, Целин организовал биг-бэнд „Хот Дог“. „Горячие собаки“ пользовались успехом у студентов, но в начале 60-х семья Целиных вернулась в СССР. Здсь рок-н-ролл продолжился. Труба Целина отличалась пронзительной мелодичностью, он частенько садился и за клавиши. Сочинял Целин песни на английском языке, и многие из них впоследствии приписывались британским группам „Холлис“, „Трогс“ или „Ярдбердс“. Записей не сохранилось. Одно время к творчеству „первопроходца“ обратилась фирма

„Мелодия“, планируя записать и выпустить двойной альбом…»

Такая статья под фотографиями висела в самом начале выставки. Сочинил текст я. Сергей Лемехов притащил коллегу, довольно помятого господина, и предложил устроить мистификацию. Целина, совсем не музыканта, сняли с трубой и бас-гитарой. Фотографию отпечатали, стилизовав под старую. По ней невозможно было определить возраст немолодой, отчасти уже дряблой фотомодели. Чтобы канонизировать Целина, мы его сняли рядом с битломаном Васиным. Целин как бы благославлял Васина на битл-подвиг.

Я видел, как журналисты переписывали информацию со стенда. Когда-нибудь она войдет в музыкальные энциклопедии.

Через полгода распался Советский Союз. Началось то, что началось. Часть экспонатов, хранившихся в рок-клубе на Рубинштейна, 13, музыканты разобрали по домам. Большая часть пропала. А ведь это был готовый музей, который автору данной печали приходится сейчас воссоздавать по крупицам.

Весной 1991 года раздается звонок. Я поднимаю трубку и слышу корректный мужской голос. Спрашивают меня.

– Да, – отвечаю, – это я и есть.

– Тогда скажите… Имеются ли у вас родственники в Соединенных Штатах?

Делаю паузу.

– В Соединенных? – переспрашиваю и тут же отвечаю довольно туманно. – Как бы… это вам объяснить…

Ничего я про родственников не знаю, но отказываться почему-то не спешу.

Тогда голос в трубке заявляет, что у него для меня есть письмо. Других с такой же фамилией, именем и профессией он в Питере не нашел.

– Еще бы! – ставлю я в разговоре гордую точку.

Вешаю трубку и звоню брату.

– Брат Саша, – интересуюсь, – что это за семейная тайна, в которую меня не посвятили?

– А в чем дело? – смеется в трубку брат.

– Есть ли у нас родственники за океаном? Может, у отца дети внебрачные? Он же во время войны плавал на американском корабле.

– Но команда была наша.

– Тогда поехали к отцу.

Приезжаем к отцу. Начинаем пытать Ольгерда Петровича, и вот что он нам заявляет:

– Да. У моего отца были братья и сестры. Где они все – не

знаю. Но двое братьев еще до революции, кажется, отправились за океан. Я об этом почти ничего не знал. Поэтому и не говорил. К тому же я всю жизнь проработал на секретном кораблестроительном предприятии!

– Нет проблем, папа! Мы понимаем!

Получив письмо, я перевел его на русский и вот что узнал: в Соединенных Штатах живут трое моих кузенов, которые всегда знали, что в Прибалтике или в России у них есть родня. Но вот недавно в одной из библиотек Питер Рекшан наткнулся на книжку Владимира Рекшана из России. Называется книга странно – «Кайф». Такого слова в словаре нет. Но это неважно. Важно другое – они нашли родственников и горят желанием приехать в Россию…

Жена всю эту историю выслушала с недоверием.

– Не может быть, – сказала она с завистью.

– Что тут такого! – взмахиваю рукой небрежно. – Вот если б родня на Луне объявилась… Тогда – да.

В конце июля 91-го прилетели двое кузенов из Мичигана – Питер и Джеймс. Большие и с родинками на носах. Почти как я. Только по-русски не говорят. Стал я с ними дружить, гулять по Питеру, показывать укромные местечки. Всякие обеды у родителей, Эрмитаж, «Лебединое озеро»…

Кстати, о балете. Утром 19 августа звонит приятель. Бормочу в трубку о том, что выпивал накануне, сплю еще.

– Какой сон! – орет приятель в трубку. – В городе танки!

– Какие еще танки? Стихи, что ли, японские?

Есть у них такие. Из пяти строчек…

– Путч!

Кузены спят в соседней комнате. Включаю телевизор на кухне. Появляется голова генерала Самсонова и говорит о том, что нельзя. Оказывается, нельзя заниматься порнографией. И еще снимать нельзя на видеокамеры. Что нельзя? Порнографию? А почему? Не понял ничего. Потом «Лебединое озеро» началось.

На кухню вышли кузены, стали пить кофе. Каждые пять минут звонил телефон и разные люди рассказывали мне про Горбачева и Пуго.

– Что-то случилось? Уатс хаппенд? – спросил мичиганский Петя.

– Все в порядке! – успокоил я родню. – Нет проблем. И Горбачева нет.

Кузены вздрогнули и переглянулись. Они все поняли.

– Нам надо позвонить в американское консульство, – сказал Джеймс и позвонил.

В консульстве им посоветовали сидеть дома. Но не сиделось.

Я сделал дырочку в сумке и, готовый к подвигу за дело демократии, положил в нее видеокамеру Джеймса. Питер тем временем листал справочник, позвонил куда-то, сказал:

– Через шесть часов из Хельсинки вылетает самолет. Можем успеть.

– У нас так не делается, – ответил я. – Так вдруг через границу не проскочим. Нам придется остаться.

– Тогда и мы останемся, – решили кузены.

Тем временем путч продолжался. Прошел он весело, с концертом на Дворцовой площади. Только в Москве возбужденные граждане лезли под танки с Ростроповичем во главе. Тот размахивал автоматом, призывая людей погибать за буржуазные ценности. По крайней мере, такую «автоматную» фотографию напечатали в газете. Странно, что только троих человек задавили в столице. В Питере пострадал всего один – сломал ногу, упав с баррикады.

Затем Советский Союз распался и Ельцин унизил Горбачева. Второй отдал первому ключи от столицы, а мы тем временем стояли в очередях за говяжьими костями. Если были кости, то, выходит, было и мясо. Было – да сплыло. Сплывшее мясо решил вернуть Гайдар…

В мировой прессе писали о голоде в обновленной России. Американские кузены прислали посылочку с продовольственным набором: баночка меда с Сейшельских островов, перец, соль, спички, несколько рулонов фольги. Голод и наши проблемы они понимали по-американски: не в чем печь окорока, нечем их солить и перчить. Но все равно посылочка вышла милой.

История с появлением американских братанов расширила кругозор. Все живут, в основном, одинаково. Когда узнаешь о разных семейных перипетиях с разводами, карьерными поползновениями, родительским трепетом о судьбе детей…

На фоне нынешнего антиамериканизма хочу сказать: те американцы, с которыми мне приходилось общаться, были классными, ответственными за свои слова людьми, более сентиментальными, чем мы. Они умеют лучше организовать дело. Зато мы более артистичны и циничны…

Одним словом, дабы не страдать от невротических комплексов, следует просто уважать достоинства других народов, тем усиливая градус уважения к достоинствам своим.

Эпилог. Исчезающий город

12 июня 1991 года жители Ленинграда участвовали в выборах президента России и мэра города. Одновременно прошел и референдум о возвращении городу первоначального имени – Санкт-Петербург. Из пришедших голосовать 54 % поддержали отказ от Ленинграда. Интересно, что то голосование абсолютно не запомнилось! Какая погода, какие мысли, где располагался мой участок? Да и ходил ли я? Бросал ли бюллетень в урну? И самое главное – за что проголосовал? Ничего не помню – это абсолютная правда. Происходящее в стране и городе не воспринималось серьезно: казалось, идет какая-та игра, коллективный психоз на уровне массового сознания. Люди постоянно сбивались в толпы, куда-то шли, что-то требовали по воле, похоже, незримых космических сил. Провалом странного путча немедленно воспользовалась буржуазия. 6 сентября 1991 года по решению Верховного Совета еще СССР Санкт-Петербург стал юридическим фактом. И это событие никак не запомнилось. Пришлось даже лезть в Интернет за уточнением даты.

Думаю, в 90 годы, когда шел передел советского имущества со стрельбой и бомбометанием, городу называться Ленинградом было бы просто неприлично.

Ленинград исчезал не сразу, как и Советский Союз. Да он до конца и не исчез – так и в социалистические времена проступала сквозь бедноватый уклад быта имперская столица.

Заканчивать книги в чем-то сложнее, чем начинать. Очень важно правильно сконструировать фигуру речи, которая станет эмоциональным резюме и которую читатель навсегда зафиксирует в памяти.

Скажем так…

Мне пришлось поездить по миру, но так получилось, что нигде я не задерживался более чем на месяц-другой. И всякий раз, оказавшись дома, я замечал изменения вокруг. Для того и уезжаешь, чтобы вернуться.

Получилось не совсем то, что нужно. Попробую еще раз…

Одним словом, в славном городе Париже лежит себе незакопанный в землю Наполеон и никому не мешает. В тамошнем городе бесчисленное количество улиц, площадей и мостов, названных в честь королей, их министров, врагов королей социалистов, врагов тех и других – анархистов, и т. д., и т. п. Париж впитывает имена и времена, как губка, и тем замечателен. На бульваре Монпарнас работают по сю пору кафе с памятными для истории искусств названиями «Клозери де Лилл», «Ротонда»,

«Ля Куполь», на бульваре Сен-Жермен напротив одноименной церквухи трудится кафе «Флор», где в 60 годы прошлого века кипела и бурлила богемная жизнь… Сейчас в перечисленных заведениях сидят богатые туристы из-за океана и чувствуют себя кто Модильяни, кто Хемингуэем, кто Сартром, а кто и (не дай бог!) Гертрудой Стайн.

У нас же все не так. В этой противоположности скрыт свой шарм. Рок-клуб из дома № 13 по улице Рубинштейна выселили за долги. Оно и справедливо, поскольку рок-клуб давно сдох. Сдох когда-то популярный ресторан Дома журналистов, сдохла жизнь в Доме актеров, сдохла знаменитая разливуха «Соломон», половина моего поколения сдохла или еле волочит ноги. Сгорел Дом писателей, но это отдельная хохма…

Когда-то совсем давно, в начале зимы 73 года, находясь в студенческом академическом отпуске, я устроился в метро ночным тоннельным рабочим. Там и вкалывал полгода на перегоне «Маяковская – Гостиный Двор». Этот своеобразный подземный Невский достоин отдельной песни. И вот какая странная история вспомнилась во время корпения над книгой «Ленинградское время»… В середине 90-х на одной из радиостанций я выпустил несколько десятков музыкальных программ под общим названием «Джинсовое радио». В одной из передач, вспоминая ту работу в метро, я выдумал басню: иду, мол, однажды пустынным тоннелем, перекинув обрезную доску через плечо, и вдруг мне навстречу из темноты выходит такой же волосатый и джинсовый парень. Мы приветствуем друг друга, я говорю незнакомцу:

– Мне нравится группа «Прокл Харум».

А парень отвечает:

– А я люблю «Джетро Талл», – и скрывается во мгле тоннеля.

История – чистая выдумка! А тут телефонный звонок. Незнакомый мужчина представляется, что-то такое бормочет про свои литературные опыты, а в конце разговора сообщает:

– Я слушал вашу передачу. Тот человек, которого вы встретили в тоннеле несколько десятилетий тому назад, это я…

Выше я вспоминал Париж, в котором берегут имена и места, связанные с именами. В моем городе все по-другому. И это тоже хорошо, поскольку Петербург – это не окно в Европу, а дорога в Азию. От моря по Невскому к Московскому вокзалу и далее в азиатские недра… У каждого поколения свой Ленинград – Петербург – он медленно и неукоснительно проваливается в топи, из которых вырос. Он есть еще, и его уже нет. Иду по городу и всматриваюсь в лица. Они новые, их много, других и счастливых. Все меньше встречаешь знакомых, все более потерты они и

эфемерны. Но и это хорошо. Мой Ленинград уйдет вместе со мной, унесет свои название и имена. Зато и никто другой им уже без меня не воспользуется.